

Драмы

Игра

Драматическая сцена

Игорный дом в Париже 1813 года.

Граф — претендент на престол Майорки.

Старый роялист. Каролина.

Берта.

Толпа играющих.

Граф

Не смейте трогать Каролину,

Сатир проклятый.

Роялист

Ай да граф!

Да вы похожи на картину,

Ахилла позу переняв.

Граф

Молчите! в вас иссякла вера,

И лжив язык, и дух ваш нем,

Вы, друг проклятого Вольтера,

Смеяться рады надо всем.

Не вам любить ее. Вы сгнили,

А я, я верую в мечту...

Роялист

Да, красоту Бурбонских лилий

Я выше лилий Бога чту.

Но ваши дерзкие проказы

Не стоят шпаги остря,

Вы нищий, я ей дал алмазы,

Она не ваша, а моя.

Граф

Прелестница из всех прелестниц,

Оставь его, я все прощу.

Каролина

Но он мне заплатил за месяц,

И платья я не, возвращу.

Граф

Ну, значит, нам осталось биться!

Сегодня ж, сударь, на дуэль.

Роялист

Я слишком стар, мой храбрый рыцарь,

И отклоняю ваш картель.

Но вижу, вы склонны к азарту

И, чтоб увидеть, чья возьмет,

Поставим счастье на карту,

Когда позволит банкOMET.

Я дам вам ставкой Каролину,

Посмейте молвить, что я скуп,

А вы хотя бы половину

Цены ее прекрасных губ.

Граф

Идет! Я ставлю трон Майорки

И мною собранную рать,

С которой, словно коршун зоркий,

Я царства б мог завоевать.

Как будет странно, страшно, сладко

К столу зеленому припасть

И знать, что эта вот десятка

Мне даст любовь, иль вырвет власть.

Каролина

Скажите, вы такой богатый?

Тогда я рада слушать вас...

Граф

Увы, отцовский меч и латы —

Всё, что имею я сейчас.

Роялист

Ага, трудна дорога к раю!

Ну будет, если вы не трус,

Молчите все, я начинаю.

(Мечет карты).

Девятка, тройка, двойка, туз.

Берта

О, что ты делаешь, несчастный?

Как исполняешь свой обет?

Роялист

Восьмерка, дама и валет.

Берта

Как рог побед, как вестник чуда,

Ты быть обязан... О, позволь

Мне увести тебя отсюда...

Роялист

Король, валет, опять король.

Берта

Бежим скорей, бежим со мною

Туда, где, голову подняв,

Орел кричит привет герою...

Роялист

Десятка ваша бита, граф.

(Граф хватается за голову).

Каролина

Я этого не ожидала,

Так проиграть! какой позор!

О чем она ему шептала,

Орел и светоч, что за вздор?

Роялист

Ну полно, юноша, оправьтесь,

Ваш лоб в поту, ваш взор померк,

Вы завтра ж будете заправский

В дому нотариуса клерк,

Легко зачесывать височки,

Крестьянам письма сочинять,

Глазеть в окно хозяйской дочки,

Когда она ложится спать,

Писать стихи и на кларнете

Играть — завиднейший удел...

(Граф выхватывает пистолет и стреляется).

Берта

А, вот он в огнезарном свете!

Он всё нашел, о чем скорбел!

Актеон

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Кадм, царь, строитель Фив.

Эхион, его слуга и друг.

Актеон, сын Кадма.

Агава, жена Эхиона.

Диана.

Крокале, Ранис, Хиале, нимфы Дианы.

Трое юношей, спутники Актеона.

Три пса, преследующие Актеона.

Место действия — долина Гаргафии, покрытая темным кипарисовым лесом. В глубине — пещера аркой. Направо — светлый источник бежит по зеленой лужайке. Наступает вечер. Входят Кадм и Эхион.

Кадм

Сюда, Эхион, налево! Здесь

Вчера я выломал камень,

Выломал, но не весь,

Он был опутан корнями.

До ночи я не управился — стар!

Холодно было и сыро,

С единорогом лягался кентавр,

Блеяли в чаще сатиры.

А ты всё силен, драконий зуб,

Силен, как прежде, счастливый.

С тобою донесу я упрямый уступ

В наши юные Фивы.

(Начинают ворочать камень)

Где же Агава?

Эхион

Жена?

Кадм

Да.

Эхион

Черные руки ломает дриадам.

Кадм

Рубит деревья?

Эхион

Рубит.

Кадм

Для храма?

Эхион

Для храма.

Кадм (насмешливо)

А храм кому, мой старый дракон?

Эхион

Тебе, господин.

Кадм (со смехом)

Нет.

Эхион

Ну, так не знаю.

Кадм

Нам не выломать камня.

Эхион

Выломать... с песней.

Кадм (поет, выворачивая камень)

Отдай мне глыбу, земля! земля!

Я внесу ее к небу, земля! земля!

И она будет в храме, земля! земля!

Бога чествовать с нами, земля! земля!

Я сказал, ты исполни, слышишь, земля?

Иль испробуешь молний Зевса, земля!

Туша проклятая, кит глухой,

Баба упрямая, ты не хочешь земля?

Эхион (поет тотчас вслед за Кадмом)

Белая кровь дракона, черное тело.

Господин приказал приняться за дело.

Зубы дракона, нас было много,

Мы дрались долго, и убито много,

Живые — люди, мертвые — камни.

Мы больше не будем драться.

Земля, помоги мне

Приподнять брата.

Камень поддается; работающие стирают пот и садятся отдыхать; входит Агава.

Агава

Здрассте, мужчины.

Эхион

Здравствуй, жена.

Кадм

Женщина, здравствуй.

Агава

Где же

Мальчики? Актеон

Или Пентей?

Кадм

Их нет.

Агава (насмешливо)

Всё те же.

Значит, на рынке Пентей

Дуракам диктует законы.

Значит, гоняют зверей

В долине псы Актеона.

А вам, старикам — ничего,

Как только ломать эту гору!

Для вас дороже всего

Еще непостроенный город.

Кадм (с важностью)

Ты, женщина, нас не поймешь.

Агава

Может быть!

Но только и я целый день как в угаре.

(таинственно)

Чтоб мальчикам было где время убить,

Построила я лупанарий.

Актеон (кричит за сценой)

Сюда, товарищи, за этой чашей

Звучат людские голоса,

Они врываются всё чаще, чаще

В темно-дремучие мои леса.

О, я непрошеным носы отрежу,

Чтоб не распугивали дичь.

Скорей, товарищи, хватай...

(Входя, замечает присутствующих)

Я брежу.

Отец, простишь мне мой дерзкий клич?

Кадм (недовольно)

Как, ты, Актеон? Но сегодня тебя я

Поставил следить за прокладкой канала,

А ты всё оставил, медведя гоняя.

Рабов разбежалось, должно быть, не мало.

Актеон (со смущением)

Отец, я виновен.

Кадм (к нему и к вошедшим юношам)

Ну, полно, к работе!

Болтать будем после мы. Этот камень —

На площадь Судилища вы снесете,

(насмешливо)

Даже вашими белыми руками.

Актеон (подходя к камню)

О, боги, он грязен!

Эхион

Лягушка грязнее!

Актеон

И как он тяжел!

Агава

Мог бы быть тяжелее.

Актеон (вопросительно)

Отец?

Кадм

Замолчи, он для храма.

Я вижу, как встанет он гордо и прямо.

Актеон

Нет, я его не понесу.

Довольно, лопнуло терпенье.

Я для охоты здесь в лесу,

Не перетаскивать камня.

Кади (спокойно)

Не хочешь?

Актеон

Нет.

Кадм (еще спокойнее)

Так будь счастлив,

Как травы, может быть как звери.

(С внезапной торжественностью)

Но дух твой не создан по образу Фив,
Семибашенных, белых, будущих Фив,
И к богам тебе заперты двери!
Эхион (Актеону)

Дитя, я многого не понимаю,
Но слушай, когда говорит господин...
А я тебе рыжего львенка поймаю
В пещере, которую знаю один.
Агава (Актеону, с другой стороны)

Скорее, ведь камень совсем не тяжелый,
Его бы, пожалуй, одна я снесла.
Тащи его в город... а город веселый,
Сирийских танцовщиц я там припасла.
Актеон отрицательно качает головой.
Кадм (резко Эхиону, указывая на камень)

Берись!
Эхион (покорно, наклоняясь)

Берусь.
Актеон

Отец, прости,
Мне грустно, что такой ты сирий,
Но руки должен я блюсти
Для лука, девушек и лиры.
И разве надобен богам,
В их радостях разнообразных,
Тобою выстроенный храм
Из плит уродливых и грязных?!
За темной тучею Зевес
Блаженство вечное находит.
Громы, падая с небес,
На небо никогда не всходят.
Золотокудрый Аполлон

Блестит, великолепно-юный,

Но им не плуг изобретен,

А звонко-плачущие струны.

А Геба розовая. Пан,

А синеглазая Паллада,

Они не любят наших стран,

И ничего им здесь не надо.

А если надо, то — родник,

Лепечущий темно и странно,

Павлина — Гебе, и тростник,

Чтоб флейту вырезать — для Пана.

Поверь, их знает только тот,

Кто знает лес, лучей отливы,

И бог вовеки не сойдет

В твои безрадостные Фивы.

Кадм, Эхион и Агава с трудом выносят камень.

Первый юноша

Вот здорово.

Второй юноша

Им так и надо.

Третий юноша

Какой ты умный, Актеон!

Так говорить — одна отрада.

Как жаль, что я не обучен.

Актеон

Идите, товарищи, в этот вечер

Мне хочется быть одному.

Мы славно охотились; до новой встречи!

Постойте, я вас обниму.

(Обнимает их поочередно).

Первый юноша

Спать завалюсь.

Второй юноша

Напьюсь.

Третий юноша

Вот ловко:

И спать и пить — равно уныло.

(Таинственно)

Агава, старая чертовка,

Здесь про танцовщиц говорила.

Актеон (слегка хмурясь)

Идите же.

(Юноши уходят. Актеон один).

Как хорошо вокруг!

Так синевато-бледен теплый воздух,

Так чудно-неожидан каждый звук,

Как будто он рождается на звездах.

Луна стоит безмолвно в вышине,

Исполнена девической тревоги,

И в голубой полощутся волне

Серебряные, маленькие ноги.

Я вижу чуть открытый красный рот,

Мученье наше и отраду нашу,

И розовые груди... А живот

Похож на опрокинутую чашу.

Ни облачка... Она совсем одна

И кажется такою беззащитной,

Что отрок пробуждается от сна,

Неопытный еще, но любопытный.

Я лягу здесь, под этот мудрый вяз,

Ведь хоть молчит, но знает он о многом.

Я буду спать, не закрывая глаз,

И, может быть, проснись на утро богом.

Ложится. За сценой слышно, как перекликаются серебряные голоса охотящихся девушек.

Голоса охотниц

Аллали.

Аллали.

Кто вдали?

Это лань

Аллали.

Аллали.

Стрелой повали,

На горло стань.

Аллали.

Аллали.

Псы повели,

Бежит, бежит...

...Теперь лежит,

Аллали,

В пыли.

Входит Диана в костюме охотницы; за нею нимфы.

Крокале

Кто всех усталей?

Ранис

Хиале.

Хиале (обиженно)

А косы у кого расплелись?

Крокале (со смехом)

У Ранис.

Ранис

Ну да, но я первой увидела лань.

Хиале

А я повернула ее у платана,

О, если б не я, то она...

Крокале

Перестань!

Открыла, настигла, убила Диана.

Диана (медленно, скандируя)

Время нам ноги омыть, расстегните ремни у сандалий,

Сбросьте легкую ткань с ваших измученных плеч.

Девушки помогают ей раздеваться и болтают между собой.

Всех ты искусней, Ранис; распусти мне, пожалуйста, косы,

Простоволосой, как ты, в чистый войду я ручей.

Ранис

Я встретила Ио. Бедняжка!

Бежит, а оса над ней.

Крокале

Быть Зевсом любимой — тяжело.

Хиале (со вздохом)

А Марсом — еще тяжелей.

Ранис (недоверчиво)

Как, Марс тебя любит?

Хиале

В труппы

За мной он зашел далеко.

Ранис и Крокале (с интересом)

Настиг?

Хиале (скромно)

Нет, конечно.

Крокале

Еще бы,

Сознаться всем не легко.

В это время Актеон поднимается, протягивает руки к Диане и говорит, восторженно, как в бреду.

Актеон

Я знал, что она придет,

Я знал, что я тоже бог,

И мне лишь губ этих мед,

Иного я пить не мог.

И мне снега этих рук,

Алмазы светлых очей,

И мне этот сладкий звук

Ее неспешных речей.

Отец мой не смертный... Мать,

Наверно любил Зевес

И сыну решил он дать

Женой усладу небес.

Большие звезды горят,

Земная печаль — как дым,

Я знаю, я стал крылат,

Мой лук, он стал золотым.

Поднимает свой лук, тот ломается

и падает с сухим треском. Актеон

смотрит на него с удивлением.

Крокале

Подруги, человек!

Ранис

Скорей,

Стеною станем вокруг богини

И бедной наготой своей

Прикроем вечные святыни.

Крокале

Дерзкий!

Хиале

Я изнемогаю,

От стыда горя...

Кто это?

Ранис

Его я знаю,

Кадма сын, царя.

Диана

Нет, ты ошиблась, Ранис, то не сын благородного Кадма,

Смертный не может зреть светлой моей наготы.

(К Актеону)

Будь, чем ты должен быть!

(Актеон откидывается и, когда выпрямляется, видно, что у него голова оленя).

Успокойтесь, смотрите, подруги,

Это — добыча стрелы, это — пугливый олень,

(Исчезает вместе с нимфами)

Актеон (один, озирается чутко и неловко)

Кажется, здесь были люди.

А какая вкусная трава,

Какая холодная вода,

Мне хочется здесь пастись.

Но что я говорю?

Я человек, я Актеон...

Нет, я олень, только олень,

Иль это сонные чары?

Появляются странные существа с собачьими головами. Актеон мечется в ужасе, они набегают на него.

Первый (вкрадчиво и зловеще)

Ты помнишь пламенные губы,
Перед тобой они, гляди,
Прильни, целуй, кусай их грубо...

Актеон

О, пощади, о, пощади!

Второй (так же)

Ты помнишь грудь, как плод созрелый,
Перед тобой она, гляди,
Сожми ее рукою смелой...

Актеон

О, пощади, о, пощади!

Третий (так же)

Ты помнишь ослабевший пояс,
Перед тобою он, гляди,
Сорви его, не беспокоясь...

Актеон

О, пощади, о, пощади!

Все трое (вместе)

Беги, сок жил твоих отравлен,
Но ты склоняешься, дрожишь,
Ты нашей воле предоставлен
И никуда не убежишь.

Актеон мечется еще немного, потом падает, остальные разбегаются. Немного погодя входят Эхион и Агава.

Агава (зовет)

Сыночек, сыночек, иди с нами,
В доме тепло, а здесь сыро.

(Замечает лежащего, наклоняется к нему и отшатывается)

А сыночек-то в шерсти и с рогами,

Хуже самого последнего сатира.

Дитя Аллаха

Картина первая

Пустыня. Закат солнца.

Дервиш (молится)

Благословен Аллах, создавший

Солнцеворот с зимой и летом

И в мраке ночи указавший

Пути планетам и кометам,

Как блещет звездная дорога,

Где для проворного стрельца

Он выпускает козерога,

Овна и тучного тельца!

Велик Аллах, создавший сушу

И океан вокруг создавший,

Мою колеблемую душу

Соблазнами не искушавший,

Я стар, я беден, я незнатен,

Но я люблю тебя, Аллах,

И мне не виден, мне не внятен

Мир, утопающий в грехах.

Пери (входит)

Ты — дервиш, первый в нашей вере?

Ты сыплешь мудрость, как цветы?

Дервиш

А кто ты, девушка?

Пери

Я — Пери.

Дервиш

Небесная, откуда ты?

Пери

Я, пролетая летом птицы
За самой дальней из планет,
Нашла подкову кобылицы,
Которой правил Магомет.
Дервиш

Стопы твои за то целую!
Да будет жизнь твоя светла!
Пери

Я ту подкову золотую
Аллаху верно отнесла
И так сказала: «Я упрямо,
Творец, молю у ног твоих —
Пусти меня к сынам Адама,
Стать милой лучшего из них»
И сделал он меня свободной,
Но, чтобы не ошиблась я,
Дана звездой путеводной
Мне мудрость дивная твоя.
Все семь небес и все четыре
Стихии ведомы тебе:
Скажи, кто первый в этом мире,
Да вверюсь я его судьбе.
Дервиш

Дитя мое, молю, не требуй
Уроков мудрости моей:
Я предался душою небу,
Бегу мятущихся людей.
Но я тебе, ребенку Бога,
— Да славится Его лицо —
Дам белого единорога
И Соломоново кольцо.
Они — плоды моих молений,
Я в новолунье их достал

Ценою многих искушений,

Смотря в магический кристалл.

Покорный только чистой деве

И сам небесной чистоты,

Единорог ужасен в гневе

Для недостойных красоты.

Кольцо с молитвою Господней

На палец милому надень,

И, если слаб он, в преисподней

Еще одна заплачет тень.

Теперь прощай, но знай — повсюду

Я счастья твоего кузнец.

Пери

Твоих щедрот я не забуду,

Благодарю тебя, отец.

(Дервиш передает единорога и кольцо, сам удаляется; проходят верблюды, на одном сидит юноша, рядом идет раб).

Юноша

Как я пустыню ненавижу,

Пески, миражи и бурьян!

Раб

Ты видишь девушку?

Юноша

Я вижу,

Остановите караван.

Скорей несите винограду,

Шербет и фиников в меду!

О, девушка, я шел к Багдаду

И, видишь, больше не иду.

Пери

Ты — лучший из сынов Адама?

Юноша

О да, для неги и любви.

Взгляни на взор, смотрящий прямо,

На губы красные мои.

Пери

Ты царь?

Юноша

Для девушек.

Пери

Ты воин?

Юноша

Когда сражаюсь с бурдюком.

Пери

Певец, быть может?

Юноша

Я достоин,

Клянусь, назваться и певцом.

Ведь лютня дочери эмира,

Свирель пастушки молодой,

Гречанки золотая лира

Звучат, взволнованные мной.

От Басры до Бени-Алема,

Поверь, ты не найдешь гарема,

Где не вздыхали бы с тоскою

О ночи сладостной со мною.

Я знаю головокруженье,

Какое дарит наслажденье

Между собой переплетенным

И очарованным влюбленным.

И знаю я слова нежнее,

Чем ветер в розовой аллее,

Слова нежданной и чудесней

Ручья и соловьиной песни.

Твои беспомощные руки,

Пугливые, как серны, очи,

Я знаю, ищут сладкой муки,

Хотят безмолвия и ночи.

Раб

Прикажешь приготовить ложе?

Пери

Любовь, так вот она любовь!

Юноша

Ответь мне, милая, ну, что же?

(Рабу)

Дурак, конечно приготовь!

Пери

Как в сердце усмирить тревогу?

Мне кажется, что я люблю...

Я белому единорогу

Передаю судьбу мою.

(Единорог убивает юношу).

Юноша (умирая)

Жестокая, я умираю!

И странный звон, и все в огне...

Уйди, тебя я проклиная!

Леила нежная, ко мне...

Пери

Что стало с ним? Недвижно тело,

Глаза погасли, кровь течет...

Ах, этого ли я хотела?

Я думала ль, что он умрет?

(Раб уносит труп; появляется бедуин на коне).

Бедуин

Я слышал запах свежей крови

И я погнал сюда коня.

О, нет судьбы моей суровой!

Сражались здесь — и без меня.

Где бой был, девушка?

Пери

Ты воин?

Бедуин

Война — единый мой закон.

Пери (про себя)

Быть может, он меня достоин:

Он горд, отважен и силен.

Бедуин

Не ты ль была добычей боя?

О, если так, то ты моя!

По праву первого героя

Тобой владею ныне я.

Пери

Ты с девицей грубым быть не можешь,

И честным браком да будет наш.

Какой ты выкуп мне предложишь,

Какой подарок брачный дашь?

Бедуин

Дам славу. Слаще жизни слава

На многолюдных площадях,

Когда проходишь величаво

И все склоняются во прах.

Иль в бездне аравийской ночи,

Когда раздастся львиный рев,

И ты на льва подымешь очи,

И очи вдруг опустит лев.

Я словно царь! Где захочу я,

Там и раскину свой шатер,

В садах эмировых кочуя

И на вершинах диких гор.

Ко мне приходят бедуины,

Бойцы, какими горд Багдад,

Ужасные приходят джины...

И месс мой пьет, и меч мой рад.

Пери

А если вдруг архангел Божий

За мной иль за тобой придет,

Как защитишься ты?

Бедуин

Он тоже

Окровавленный упадет.

(Появляется Искандер).

Искандер

Хвастливый воин попугаю

Подобен. Я сильнее был,

А больше глаз не поднимаю,

И это сделал Азраил.

Пери

Мне страшно.

Бедуин

Кто ты, тень?

Искандер

Искандер

Меня зовет твоя страна,

Но ведают об Александре

И западные племена.

Дана мне тихая могила

И горестное торжество,

Но смертный сон мой возмутило

Твое пустое хвастовство.

Иди, смотри, как убивают

Ничтожных древние бойцы.

Бедуин

Я посмотрю, как умирают

Второю смертью мертвецы.

(Бьются. Бедуин падает).

Пери

Ты — первый в мире?

Искандер

Данник мрака,

Последний я, как он теперь.

В грязи живущая собака

Нас двух достойнее, поверь.

(Уходит, унося труп).

Пери

Он только что был солнцем страсти,

И вот его уносят тело...

Ужели вестницей несчастий

Я в этот странный мир слетела?..

(Появляется охота; пролетают сокола, пробегают гепарды, выезжают халиф и астролог).

Калиф

Не ты ли — лебедь, за которой

Мои помчались сокола,

И не тебя ль гепардов свора,
Как серну, бешено гнала?
Не, ты прекрасней серн проворных
И величавей лебедей
Под мягкими волнами черных,
Разбросанных твоих кудрей.
Астролог

Мне благосклонная планета,
О пери, сан открыла твой.
Но встань: потомок Магомета,
Калиф, беседует с тобой.
Пери

Ты — первый в мире?
Калиф

Цвет рубина,
Не первым быть бы я не мог:
Ведь тем, кто лучше господина,
Приносят шелковый шнурок.
Астролог

Созвездья утверждают явно,
Что солнце мира — наш калиф.
Калиф

Мой добрый астролог исправно
Мне льстит, подарок получив.
Но правда, блеск моей печати
Дарует смерть и торжество,
Таких богатств, красавиц, рати,
Я знаю, нет ни у кого.
А ты подобна изумруду,
И я люблю тебя одну,
Дочь дяди моего забуду,
Диван, охоту и войну,
Мы будем слушать ветер горный

С высоких каменных террас,

Смотреть на город, нам покорный,

На мир, живущий ради нас.

Пери

Не надо больше испытаний!

Калифа я не погублю.

Калиф

Что говоришь ты, дочь желаний?

Пери

Я повинюсь и люблю.

(Появляется единорог).

Астролог

О звезды, я боюсь!

Калиф

Что кто?

Пери

Уйди, ужасный зверь, не тронь!

(Единорог склоняется перед конем калифа).

Астролог

От кобылицы Магомета

Калифа происходит конь.

Калиф

Дай губы, милая! Как розы

Шираза, твой пылает рот.

Дай руки белые, как козы

Памирских снеговых высот.

Но что? Сапфир огромный, цельный

Сияет, вправленный в кольцо...

Пери

Молчи! Кольцо мое смертельно!

Не смей смотреть, закрой лицо!

Мне дервиш дал его сегодня,

Промолвил: «Милому надень,

И, если слаб он, в преисподней

Еще одна заплачет тень».

Калиф

Надень кольцо мне.

Пери

Умоляю,

Что будет, если ты умрешь?

Астролог

Планеты...

Калиф

Я повелеваю!

Пери

Старик, быть может, молвил ложь...

(Передает кольцо калифу; тот падает).

Пери

И он, и он — во тьме безмерной...

Нет, встань, ты должен, я хочу...

Астролог

Я от наследника, наверно,

Подарок новый получу.

(Уносит труп).

Пери

Я в этот мир сошла для плена
Сладчайшего любви земной,
А смерть, как злобная гиена,
Повсюду крадетсЯ за мной.
Надежда, мысль о наслажденьи,
Все обмануло, все ушло...
О, только б заслужить прощенье
Мне за содеянное зло,
Чтоб, возвратясь в сады Аллаха,
Не говорить, краснея, ложь...

Дервиш (входя)

Вставай, иди за мной без страна,
Ты все поймешь и все найдешь.

Картина вторая

Улица Багдада. На заднем плане терраса дворца.

Входят Пери и дервиш.

Пери

Устала я. Вожатый строгий,
не это ли конец пути?

Мои израненные ноги

Не в силах далее идти.

Дервиш

Ты пожелала искупления,

Перед грехом своим дрожа,

И каждое твое веление

Твой раб исполнит, госпожа.

О бедная, тебя я выдам

Твоим безжалостным врагам,

Их оскорбленьям, их обидам,

На муку горькую и срам.

(Проходят старуха и кади).

Старуха

Привет тебе, мой добрый кади.

Кади

Привет ответный.

Старуха

Говорят,

Что скоро будет здесь, в Багдаде,

Великолепнейший Синдбад;

С ним двести золоченых барок,

Каких еще не видел мир.

Кади

Он, верно, кади даст подарок!

Старуха

А я пойду к нему на пир.

Дервиш (старухе)

О, госпожа моя, слетела

Печаль на блеск твоих седин,

Как птица хищная.

Старуха

В чем дело?

Дервиш

Твой нежный, твой прекрасный сын...

Старуха

Его нашли в чужом гареме,

Побили? Как довольна я!

Он издевался надо всеми...

Дервиш

Он умер, госпожа моя.

Старуха

Ты шутишь, дервиш, я не верю!

Дервиш

Он шёл к Багдаду и в пути

Пустынному попался зверю...

Никто не мог его спасти.

Старуха

А караван?

Дервиш

Его умелый

Слуга до города довёл.

Старуха

И все верблюды целы?

Дервиш

Целы.

Старуха

Ну, слава... Нет! О бездна зол!

Мой сын, он так любил фисташки

И франкских молодых рабынь!

Ты не привез его рубашки,

Пучка травы из тех пустынь?

Кади

Не плачь так громко, Бога ради,

Подумай, караван твой цел,

И ты цела.

Старуха

О, добрый Кади

Ты мудрость взял себе в удел.

Но как я буду одинокой

В расцвете сорока трех лет?

Мой муж — больной и кривобокий,

И стар, как время, наш сосед.

У одного видны все ребра,

Другой мешка с овсом тучней...

Когда не ты, мой кади добрый,

То я останусь без детей.

Ты крепок, как орешек твердый...

Кади (отступая)

О нет! Я много перенес.

Старуха

Как роза, пышет нос твой гордый...

Кади (отступая)

Мой нос — обыкновенный нос.

Старуха

Я хороша?

Кади (отступая)

Была когда-то.

Старуха

И взор мой светится.

Кади (отступая)

Бог с ним!

Старуха

О кади, кади, я богата...

Кади (останавливается)

Мы после переговоров.

Дервиш

О мертвом вспомни, дочь позора!

Святая месть зовет теперь.

(Указывая на пери)

Ты видишь девушку, которой

Повиновался дикий зверь.

Старуха

Как, и она теперь в Багдаде

И не боится никого?

Хватай ее, мой добрый кади,

Убийцу сына моего!

Кади

Страшна злодейке будет кара,

Клянусь моею бородой:

Пятьсот три палочных удара,

(В сторону)

А перед казнью ночь со мной.

(Появляется шейх).

Дервиш

Почтенный шейх, откинь суровость,

Склони ко мне твой важный взгляд!

Печальную ты знаешь новость

О том, что твой скончался брат?

Шейх

Что говоришь ты, вестник горя?

Мой брат, могучий бедуин...

Дервиш

Его зарезал, с ним заспоря,

Какой-то странный паладин.

Шейх

Пускай его проказа сгложет!

Нет, я сперва его убью...

Дервиш

Почтенный шейх, никто не может

С ним, сильным, справиться в бою.

Шейх

Ответь, я вне себя от гнева,

Чьего он рода, кто такой?

Дервиш

Его рукой владела дева,

Стоящая перед тобой.

Шейх

О мечь! О кровь! О духи ночи!

Я разъяренный лев, я слон!

Но что? Мои не видят очи,

Я черным гневом ослеплен...

Дервиш

Вон там. Ее уводит кади.

Шейх

А, нет! Отмщенье только мне!

Пусти, собака!

Кади

Мы в Багдаде,

А не в разбойничьей стране.

Шейх

Я — шейх пустыни и не смею

С тобою, жирным, говорить!

(Бьет его. Кади и старуха убегают).

Но что я буду делать с нею?

Я не могу ее убить.

На шею девушек прекрасных

Не опускаются мечи.

Дервиш

Почтенный шейх, оплот несчастных,

Позволь сказать мне...

Шейх

Замолчи!

Ты, девушка... Молчит... И ясно,

И нежно смотрит, как любовь...

Ответь!.. Нема... Она прекрасна,

Но между нами встала кровь.

Я и люблю, и ненавижу,

И замираю от стыда.

Дервиш

О, господин мой!

(Появляется пират).

Шейх

Что я вижу?

Пират Али! Спешి сюда!

Привет тебе, товарищ старый,

Купи невольницу мою.

Пират

Полны невольниц все базары,

Но сто червонцев я даю.

Шейх

Четыреста. Она из рода

Высокого наверняка.

Пират

Ах, мало ценится порода

Рабыни или бедняка.

Я не Синдбад, отец богатства,

Что возвращается сюда.

Я беден.

Шейх

Ну, во имя братства,

Бери за триста.

Пират

Двести, да.

Шейх

О, блеск груди молочно-белых,

О, тяжесть бедер молодых!

Пират

На итальянских каравеллах

Я находил и не таких.

Шейх

Но там ты дрался.

Пират

Что мне драка?

Так, удовольствие одно,

Зато все даром.

Шейх

Духи мрака!

Бери за двести, все равно.

(Сын калифа появляется на террасе).

Дервиш

О, повелитель правоверных,

Я падаю к твоим ногам.

Сын Калифа

Да ты святой не из примерных,

Коль странствуешь по городам.

Дервиш

О, горе!

Сын Калифа

Где? Скажи мне прямо!

Мука на рынке дорога?

Иль городскому каймакаму

Друзья наставили рога?

Дервиш

Ты шутишь, светлый?

Сын Калифа

Иль жениться

На склоне лет задумал ты

И не найдешь нигде девицы

Тебя достойной красоты?

Дервиш

Калиф, отец твой...

Сын Калифа

Знаю, знаю!

Я роздал треть моей казны

За эту весть.

Дервиш

Я продолжаю,

Внимать и сильные должны.

Сын Калифа

Как алчны эти астрологи,
Шуты, монахи, мудрецы!
Чревовещатели и йоги —
Такие скучные глупцы!
Дервиш

Убийца кто?
Сын Калифа

Не все равно ли?
Кольцо.
Дервиш

Как речь твоя грешна!
Кольцо — пособник и не боле,
Кольцом владела вот она.
Сын Калифа

С ней важный шейх, моряк почтенный,
Она, — их, кажется, раба.
Ты палок хочешь, о смиренный,
Или позорного столба?
Дервиш

Ее готов продать пирату
Разбойник старый, бедуин,
А власть и право на расплату,
Калиф, имеешь ты один.
Сын Калифа

Ну, хорошо, я рассердился.
Хотя в Багдаде говорят,
Я гневен, что не возвратился
До этих пор мой друг, Сиидбад.
Эй, кто там! Евнухи! Бегите,
Ведите девушку сюда,
Кто с ней, тех на кол, да смотрите,

Вы ей не сделайте вреда.

(Два евнуха сбегают с террасы).

Пират

Как, стража? Я на днях феску

Разбил у этого дворца.

Бежим скорей!

Шейх

Товарищ руку!

И я вчера убил купца.

(Убегают. Стража уводит Пери).

Дервиш

Как я приду к небесной двери,

И что скажу Царю Высот,

Когда мне вверенная Пери

Позорной смертью умрет?

(К сыну калифа)

Скажи, что сделаешь ты с нею,

Не слишком будешь ли суров?

Сын Калифа

Дам ожерелье ей на шею

Из розоватых жемчугов.

Дам камень, вынесенный грифом

С алмазных россыпей луны.

Из-за нее я стал калифом

И господином всей страны.

Дервиш

Как добр ты!

Сын Калифа

Но, в пример народу,

Мой суд и благ и справедлив:

Ее тотчас же. бросят в воду,

И будет отомщен калиф.

(Скрывается. Появляется Синдбад).

Синдбад

Уж год как, родину покинув,

Я с песней обошел моря,

И полон мой корабль рубинов,

Даров цейлонского царя.

Я был вельможею Непала,

Убил морского старика,

И птицу Рок во тьме поймала

Искусная моя рука.

Я торговал за облаками

И в океанской глубине,

Где люди с рыбьими хвостами,

Как божеству, молились мне.

Далеко за полярным кругом,

В пещере джинов ледяной

Проклятый Эблис был мне другом,

А джинша страшная — женой.

О, камни белого Багдада!

О, сладкий запах чеснока!

Смеются губы, сердце радо,

Для всех щедра моя рука.

(Евнухи выводят Пери; появляется глашатай).

Глашатай

Привет вам, граждане Багдада,

Синдбад вернулся наконец!

Идите все на пир Синдбада,

Во вновь отстроенный дворец!

(Уходит).

1-й евнух

Брось девушку, идем, приятель!

2-й евнух

Боюсь калифа, не пойду!

1-й евнух

А птичьи головы в томате!

А бадиджаны, рис в меду!

(Убегают; пробегают Кади старуха).

Кади

Он мечет пригоршни рубинов

В толпящийся кругом народ.

Старуха

С собой привез он исполинов,

Один особенно урод.

(Пробегают; появляются шейх и пират).

Пират

Идти к Синдбаду! Что он мелет?

А стража, судьи!

Шейх

Все равно!

Скорей! Там всех рабынь поделят

И выпьют лучшее вино.

(Уходят; появляются сын калифа и астролог).

Сын Калифа

К Синдбаду! Ах, с его рассказом

Сравнится ль болтовня твоя?!

Астролог

Я просветлю вином мой разум.

(Проходят).

2-й евнух

Пожалуй, побегу и я.

(Убегает).

Дервиш

Они забыли отомщенье,

Непостоянны и во зле,

Скажи, какое искупленье

Найдешь ты, Пери, на земле?

Пери

Печаль земная быстротечна

И улетает словно дым,

Не мертвецы томятся вечно

Под тяжким сводом гробовым.

Картина третья

Сад Гафиза. Утро. Купы роз и жасминов. Большие птицы.

Гафиз

Великий Хизр, отец садов,

В одеждах, как листва, зеленых,

Хранитель звонких родников,

Цветов и трав на пестрых склонах,

На мутно-белых небесах

Раскинул огненную ризу...

Вот солнце! И судил Аллах

О солнце ликовать Гафизу,

Сюда, Коралловая Сеть,

Цветок Граната, Блеск Зарницы,

Дух Muskusa, я буду петь,

А вы мне отвечайте, птицы.

(Поет)

Фазанокрылый, знойный шар

Зажег пожар в небесных долах.

Птицы

Мудрец живет в тени чинар,

Лаская отроков веселых.

Гафиз

Зажег пожар в небесных долах

Царь пурпурный и золотой.

Птицы

Лаская отроков веселых,

Мудрец подьмет кубок свой.

Гафиз

Царь пурпурный и золотой

Описан в чашечках тюльпанов.

Птицы

Мудрец подьмет кубок свой,

Ответный слыша звон стаканов,

Гафиз

Описан в чашечках тюльпанов

Его надир, его зенит.

Птицы

Ответный слыша звон стаканов,

Мудрец поет и говорит.

Гафиз

Его надир, его зенит

Собой граничит воздух тонкий.

Птицы

Мудрец поет и говорит,
Смеется, внемлет лютне звонкой.

Гафиз

Собой граничит воздух тонкий,
Сгорают солнце-серафим.

Птицы

Смеется, внемлет лютне звонкой,
Нагая дева перед ним.

Гафиз

Сгорают солнце-серафим
Для верного, для иноверца.

Птицы

Нагая дева перед ним,
Его обрадовано сердце.

Гафиз

Для верного, для иноверца
Шумит спасительный пожар.

Птицы

Его обрадовано сердце,
фазанокрылый знойный шар.
(Входят Пери и дервиш).

Пери

Не это ль рай для чистых душ,
Заветные Господни кущи?
Кто этот величавый муж,
Так изумительно поющий?
Как кудри черные сплелись
С гирляндой роз багряно-красных!

Дервиш

Пчела Шираза, князь Гафиз,
Наставник юных и прекрасных.
Пери

О дервиш, убежим скорей,
К чему мне радость этой встречи,
иногда я бремя трех смертей
На слабые взвалила плечи,
И три ужасные лица
Мне усмежаются из гроба?

Дервиш

Аллах — защитник пришлеца.
Гафиз (оборачивается)

Входите и садитесь оба.
Ты плачешь, девушка? О чем~
В саду Гафиза слез не надо,
И ты озарена лучом,
Как розы и жасмины сада.
Я тоже дервиш, но давно
Я изменил свое служенье:
Мои дары Творцу — вино,
Молитвы — песнь о наслажденьи.

Дервиш

О, Сердце Веры, князь Гафиз,
Ты увидишь пери пред собою.
Она сошла из рая вниз,
Стать лучшего из нас женою.
И трое сильных, молодых
Из-за нее лежат в могиле.
Раскаянье и скорбь за них
Ей в сердце когти запустили.
Я твердо знаю, что помочь

Лишь ты, Язык Чудес, ей можешь.

Пускай меня покроет ночь,

Когда и ты ей не поможешь.

Гафиз

Кого же первым увела

Смерть в переходы лабиринта?

Пери

Красавца с голосом орла,

С лицом нежнее гиацинта.

Гафиз (читает заклинание)

Крыло лучей, в стекло ночей

Ударь, ударь, стекло разбейся!

Алмазный свет, сапфирный свет

И свет рубиновый, развейся!

Я фениксом, я птицей Рок,

Я алконостом вещим кличу:

Отдай мне юношу-цветок,

О ночь, отдай свою добычу!

(Появляется юноша с крылатой девушкой Эль-Анка).

Юноша

Никто не разлучит нас двух,

Эль-Анка, дева-совершенство!

(К Гафизу):

Напрасно ты мой вырвал дух

Из белоснежных рук блаженства.

Гафиз

Блаженство мыслимо ль в нови?

Юноша

Такие там пылают светы,

Колеса пламени, лучи,

Каких не ведают поэты.

Гафиз

Быть может, ты теперь в раю?

Юноша

Не счесть обителей господних,

И душу радуют мою

Восторги дальних преисподних.

Гафиз (указывая на пери)

Скажи, о ней жалеешь ты?

Юноша

Могу ль тебе я не дивиться?

Ведь не сравнятся и цветы

С моею новою царицей.

Эль-Анка, девушка глубин,

Пускай увидят чужестранцы

В лучах сверкающий рубин,

Твои пленительные танцы.

(Эль-Анка танцует).

Пери

Меня прощаешь ты?

Юноша

За что?

За то, что мир мой дивно светел?

За то, что из земных никто

Такую девушку не встретил?

Одна есть просьба у меня:

Проси умильно и приятно,

Чтоб в область белого огня

Графиз пустил меня обратно.

Пери

Пусти его.

Гафиз

Иди.

(Юноша и Эль-Анка уходят).

Один,

Сама ты видела, доволен.

Пери

Увы! Свирепый бедуин

В аду и мукой ада болен.

Гафиз (читает заклинание)

Пади расплавленным свинцом,

Моя отточенная воля,

В страну, забытую Творцом,

На льдистое ночное поле!

Пройди его, иди туда,

Где опрокинулась долина,

Иди и приведи сюда

Неистового бедуина!

(Появляется бедуин).

Бедуин

Мне душно, обессилен я

Напорам воздуха земного,

Закон иного бытия

Волшебное разбило слово.

Гафиз

Откуда ты, о страх теней?

Бедуин

Я в черной пропасти блуждаю,

Рогатых львов, крылатых змей,

Орлов железных поражаю.

Они спускаются с высот,

Необычайны и ужасны,

И кровь зеленая течет,

Она пьянее крови красной.

Гафиз

Скажи, печальны мертвецы?

Земную радость любит всякий.

Бедуин

И яростней меня бойцы

Скитаются в том страшном мраке.

Я зрел хромца Тимура там,

Немврода в шкуре леопарда,

Масрура, равного царям,

И Сердце Львиное, Ричарда.

Как рок я выбрал бы иной?

Нет, мне мила моя обитель,

И сам Искандер там со мной,

Мой господин и победитель.

Пери

А я? Скажи, что делать мне?

Как исцелиться от печали?

Бедуин

Живи, чтобы во всей стране

О подвигах моих узнали.

Прекрасна жизнь моя была,

А смерть светла и величава,

Чтобы моя везде прошла,

Как знамена Омара, слава.

(Скрывается).

Гафиз

Ты видишь, и второй счастлив,

Он не расстанется с могилой.

Пери

А третий, благостный калиф,

Лишенный царства с жизнью милой?

Гафиз (читает заклинание)

Живое слово, устремись

Туда, где зарождение слова,

Ни внутрь, ни вглубь, ни вширь, а ввысь,

Ты, сила старая, за новой!

Как молния летит на кедр,

Как гриф бросается на грифа,

Пускай из звездносиних недр

Сойдет на землю дух калифа!

(Появляется ангел).

Как! Ангел смерти!

Пери

Брат святой!

Гафиз

Земля, простишь с твоим поэтом!

Ангел

Я прихожу не за тобой,

Я — вестник, посланный с ответом.

Ты дух калифа вызвать мнил:

Его ничто не беспокоит,

Источник райский Эльзебил

Забвеньем мира сердце поит.

Он отдыхает на луне,

Вдыхает звезд благоуханье,

Над ним в слепящей вышине

Немолчны клики и бряцанья.

Неслыханное торжество

Вкушает в небе дух-скиталец,
Аллах поставил на него
Своей ноги четвертый палец.
О нет, он не придет на зов,
Его он даже не услышит.
Я рек. Собрание мудрецов
Пускай слова мои запишет.
Сестра, облекшаяся в плоть,
Их распевать заставь поэта,
Чтоб знали люди, как Господь
Взыскал потомка Магомета.
(Скрывается).

Пери

Как кров приветный кипарис
Дарует птице перелетной,
Так и меня, о, князь Гафиз,
Ты снова сделал беззаботной.
Ты петь меня научишь. Пусть
Я новые узнаю песни!
Пленительно взывает грусть,
Но радость говорит чудесней.

Гафиз

Глазами, полными огня,
Я в сердце сладостно ужален.
О пери, пожалей меня,
Я счастлив был, а стал печален.

(Поет)

Твои глаза как два агата, пери!
Твои уста красней граната, пери!
Прекрасней нет от древнею Китая
До западного калифата Пери,
Я первый в мире, и в садах Эдема
Меня любила ты когда-то, пери.

Но ты бледна, молчишь, не смотришь, разве

Любовью больше не богата пери?

За мудрость, за стихи его, Гафизу

Ужель дана не будет плата — пери?

Блаженство с нею всех блаженств желанней,

И горше всех утрат утрата пери.

Но я не дерзкий нищий, я влюбленный,

Что скажешь, то исполню свято, пери.

Пери (поет)

Зачем печально так поет ГаФиз?

Иль даром мудрецом слывет Гафиз?

Какую девушку не опьянит

Твоих речей сладчайший мед, Гафиз?

Бледна ли я? И ангелы бледны,

Когда по струнам лютни бьет Гафиз.

Молчу? Молчат смущенные уста,

А сердце громче бурных вод, Гафиз.

Я не смотрю? Но солнце ли слепит,

Как тайн язык, чудес оплот, Гафиз?

Средь райских радостей, средь мук земли

Я знала — этот час придет, Гафиз.

Перед тобой стоит твоя раба,

Веди ее под твой намет, Гафиз.

Дервиш

Постой, перед моим Творцом

Я нерадивым не предстану.

Единорогом и кольцом

Тебя испытывать я стану.

Тогда лишь я увижу сам,

Что ни единый не сравнится

С тобой...

Гафиз

Какой ужасный гам

Вдруг подняли смешные птицы!

(Подлетает птица).

Ты что, Гранатовый Цветок?

Птицы

Гафиз, в Алпахе просиявший,

Вернулся твой единорог,

Три дня тому назад пропавший.

И он вступает на крыльцо,

Неся на золоченом роге

То Соломоново кольцо,

Что ты хранил в своем чертоге.

Гафиз

Я рад, я все о нем скучал.

Пусть не боится он расплаты.

К тому же он кольцо достал,

Потерянное мной когда-то.

Но тише, будет торжества!

(К дервишу)

Ты говорил об испытаньи,

Отец?

Дервиш

Забудь мои слова,

Целую след твой на прощанье.

(Уходит).

Гафиз (к Пери)

Ты словно слиток золотой,

Расплавленный в шумящих горнах,

И грудь под легкой пеленой

Свежее пены речек горных.

Твои глаза блестят, губя,

Твое дыханье слаще нарда...

Пери

Ты телу, ждущему тебя,
Страшнее льва и леопарда.
Для бледных губ ужасен ты,
Ты весь, как меч, разящий с силой,
Ты пламя, жгущее цветы,
И ты возьмешь меня, о милый!

Занавес

Гондла

Вместо предисловия

В Исландии, на этом далеком северном острове, принадлежащем скорее Новому, чем Старому, свету, столкнулись в IX веке две оригинальные, нам одинаково-чуждые культуры — норманнская и кельтская. Там, почти под северным полярным кругом, встретились скандинавские воины-викинги и ирландские монахи-отшельники, одни вооруженные — мечом и боевым топором, другие — монашеским посохом и священной книгой.

Эта случайная встреча предопределила, казалось, всю дальнейшую историю острова: историю духовной борьбы меча с Евангелием, которое Переродило мощных морских королей IX века в мирных собирателей гагачьего пуха, рыбаков и пастухов наших дней.

С.Н. Сыромятников

Первобытный германец возмущает нас своей беспредметной грубостью, этой любовью ко злу, которая делает его умным и сильным только для ненависти и вреда. Богатырь кельтский, напротив, в своих странных уклонениях всегда руководился привычками благоволения и живого сочувствия к слабым. Это чувство — одно из самых глубоких народов кельтских, они имели жалость даже к самому Иуде...

Ренан

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Старый Конунг, один из исландских властителей.

Снорре, Груббе — его ярлы.

Лаге (сын Гер-Педера), Аhti — молодые исландцы.

Гондла, ирландский королевич на воспитании у Конунга.

Лера, она же Лаик, знатная исландская девушка.

Ирландские воины.

Рабы.

Действие происходит в Исландии в IX веке

Действие первое

Широкий полутемный коридор рядом с пиршественной залой; несколько окон и дверь в спальню Леры. Поздно.

Сцена первая

Конунг, Снорре, Груббе, Лаге, Аhti выходят из пиршественной залы.

Конунг

Выпит досуха кубок венчальный,

Съеден дочиста свадебный бык,

Отчего ж вы сидели печальны

На торжественном пире владык?

Снорре, Груббе, полярные волки,

Лаге, Ахти, волчата мои,

Что за странные слышал я толки

Пред лицом венценосной любви?

Вы шептались о клятве, о мести,

О короне с чужой головы,

О Гер-Педере... даже к невесте

Подходили угрюмыми вы.

Лаге

У невесты мерцающий взгляд

Был так горько порой затуманен...

Ахти

Что ж! жених некрасив и горбат,

И к тому же еще христианин.

Груббе

Не такого бы ей жениха

Мы среди юношей наших сыскали...

Снорре

Пусть покорна она и тиха,

Но печальнее мы не видали.

Конунг

Вы не любите Гондлы, я знаю,

Может быть, даже сам не люблю,

Но не Гондле я Леру вручаю,

А Ирландии всей королю.

С каждым годом становится туже

Крепкий узел, сжимающий нас,

Слишком злобны норвежские мужи,

У шотландца завистливый глаз.

Даже скрелинги, псы, а не волки,

Нападая ночью порой,

Истребили за морем поселки,

Обретенные некогда мной.

Над своими нас манит победа,
Каждый род ополчился на род,
Нападает сосед на соседа,
Брат на брата с дубиной идет.
Над Исландией тучи нависли,
И она бы погибла, но я
Небывалое дело замыслил —
Дать свободной стране короля.
Там, в Ирландии, жены, как луны,
Мужи ясны, в единстве святом,
Ибо скальдов певучие струны
Не нахвалятся их королем.
Осмотрительно, мудро и тонко
Я давал наставленья послам,
Чтоб оттуда достать лебеденка
Благородного выводка нам.
И Гер-Педер, моряк именитый,
На холодный исландский утес
Из Ирландии, лавром увитой,
Королевского сына привез.
Гондла вырос, и ныне венчают
Гондлу с Лерой Спаситель и Тор,
Это волки союз заключают
С лебедями спокойных озер.
Две страны под единой державой,
Два могучих орлиных крыла
Устремятся за громкою славой
Непреклонною волей орла.
Груббе

Только кровь в нем, о Конунг, не наша,
Слаб в бою он и в играх ленив...
Снорре

Но Ирландия — полная чаша
Виноградников, пастбищ и нив.
(Конунг уходит).

Сцена вторая

Снорре, Груббе, Лаге, Аhti (хохочут).

Лаге

Гондла! Гондла, властитель великий!

Аhti

Ну наделал Гер-Гедер хлопот!

Снорре

Не признаем его мы владыкой,

Но может быть признает народ.

Аhti

А когда мы откроем народу

Все, что знаем об этом щенке,

Кто такой он, какого он роду,

Где он будет, в дворце иль реке?

Груббе

Гондлу сжить нам пора бы со света,

Что нам конунг, ведь мы в стороне,

Надоела история эта

Подменных мальчишек и мне.

Лаге

Конунг стар,

Снорре

Вы же знаете, дети,

Что страшней не найти никого,

Если б даже десятки столетий

Навалились на плечи его.

Он походкой неспешной, чугунной

Сорок тысяч датчан раздавил

И, единственный в целой подлунной,

На таинственный полюс ступил.

Никогда вы его не могли бы

О пощаде за ложь умолить,

Пусть сожрали Гер-Педера рыбы,

Старый Снорре надеется жить.

Лаге

А безумье сегодняшней свадьбы!

Мы ведь знаем, кто Лерина мать...

Снорре, может быть, это сказать бы?

Снорре

И об этом нам надо молчать.

Груббе

Яд помог бы нам в нашей заботе,

Так чтоб в смерть перешло забытье.

Лаге

И бывает еще: на охоте

Не туда попадает копьё.

Ахти

Нет, я шутку придумал другую:

Гондла все-таки духом высок,

Нанесем ему рану такую

Прямо в сердце, чтоб встать он не мог.

Только Лера окажется в спальне

И погасит огонь ночника,

Я беседой искусной и дальней

Задержу жениха простака,

Этим временем Лаге к невесте

Проберется и будет молчать,

Женский стыд с боязливостью вместе

Не дадут ей обмана понять.

И для Гондлы, вы знаете сами,

Станет мир тяжелее тюрьмы...

Над союзом волков с лебедями

Нахохочемся досыта мы.

Снорре

Верно! Этой обиды не может

Самый низкий мужчина снести.

Груббе

Если душу подобное гложет,

То от смерти ее не спасти.

Лаге

И наверное милая Лера

Свой смирить догадается гнев,

Ведь еще не бывало примера,

Чтоб пленяли горбатые дев.

Ахти

Чу, идут! Расходитесь скорее,

Лаге здесь, остальные сюда!

Груббе

Лет хоть на тридцать будь я свежее,

Я бы с Лаге поспорил тогда.

(Скрываются).

Сцена третья

Входят Гондла и Лера.

Гондла

Лера, Лера, надменная дева,

Ты как прежде бежишь от меня!

Лера

Я боюсь, как небесного гнева,

Глаз твоих голубого огня.

Гондла

Ты боишься? Возможно ли это?

Ведь не ты ли бывала всегда

Весела, как могучее лето,

И вольна, как морская вода?

И не ты ли охоты водила

На своем вороном скакуне

И цветов никогда не дарила,

Никогда, одинокому, мне?

Лера

Вспоминаешь ты Леру дневную,

Что от солнца бывает пьяна,

А печальную Лаик ночную

Знает только седая луна.

Гондла

Лаик... странное, сладкое имя...

Лера

Так звала меня некогда мать,

Из Ирландии родом. Такими

Именами не здесь называть!

Гондла

Это имя мне дивно знакомо,

И такая знакомая ты,

И такая на сердце истома

От сверканья твоей красоты!

Ты не любишь меня, ты смеялась

Над уродливым Гондлой всегда...

Лера

Но когда я одна оставалась,

Я так горько рыдала тогда.

Для чего-то слепыми ночами

Уверяла лукавая мгла,

Что не горб у тебя за плечами —

Два серебряно-белых крыла,
И что родина наша не эта
Ненавистная сердцу тюрьма,
А страна, где зеленое лето
Никогда не сменяет зима.
Днем все иначе. Боги неволят
Леру быть и веселой и злой,
Ликовать, если рубят и колят,
И смеяться над Лаик ночной.
Гондла

Дорогая, какое безумье,
Огневое безумье любовь!
Где вы, долгие годы раздумья,
Чуть запела горячая кровь!
Что мне гордая Лера дневная
На огромном вспененном коне,
Ты не Лера, ты девочка Лаик,
Одинокая в этой стране.
Лера

Как ты бледен и смотришь, маня...
Неужели ты любишь меня?
Гондла

Я так вольно и сладко люблю,
Словно отдал себя кораблю,
А с тобой я еще не слыхал,
Как шумит набегающий вал.
И совсем не морские слова
Ты сказала с волшебной тоской,
Я внимал им, но понял едва,
Я услышал в них ветер морской.
Значит, правда открылась святым,
Что за бредами в нашей крови
И за миром, за миром земным
Есть свободное море любви.

Серафимы стоят у руля

Пестропарусных легких ладей,

А вдали зеленеет земля

В снеговой белизне лебедей.

Сердце слышит, как плещет вода,

Сердце бьется, как птица в руке,

Там Мария, Морская Звезда,

На высоком стоит маяке.

Лера

Ты бледнеешь опять, ты дрожишь...

Что с тобой, королевич мой белый?

Ты прекрасен, когда говоришь,

Ты как Бальдер, бросающий стрелы.

Гондла

Ночь летит и летит на закат,

Ночи летние песни короче,

Вон, за окнами совы кружат,

Эти тихие горлинки ночи.

Ах, к таинственной спальне твоей

Я сегодня пройду за тобою,

И любимая станет моей,

Самой близкой и самой родною.

Лера

Только, милый, не сразу входи,

Умоляю тебя, подожди,

Это глупое сердце в груди,

Что боится еще, пощади.

(Скрывается за дверью, входит Аhti).

Сцена четвертая

Гондла и Аhti

Аhti

Королевич, большую услугу

Ты бы мог мне теперь оказать...

Гондла

Это Ахти? Старинному другу,

Другу детства готов я внимать.

Помнишь, между рябин, по дорожке

Мы взбегали на каменный вал,

Ты так часто мне ставил подножки,

Я срывался, а ты хохотал.

(Лаге у него за спиной прокрадывается к Лере).

Ахти (смеется)

Это Лаге.

Гондла

Конечно, и Лаге.

Он со мной был особенно груб.

Как дивился его я отваге

И улыбке насмешливых губ!

Быстроглазый, большой, смуглолицый,

Всех красивей, сильней и смелей,

Он казался мне хищною птицей,

Ты же — волком исландских полей.

Странно! Был я и хилый и дикий,

Всех боялся и плакал всегда,

А над сильными буду владыкой,

И невеста моя, как звезда.

Ахти

В день, когда ты получишь державу

И властителем станешь вполне,

Ты наверно устроишь облаву

Небывалую в нашей стране?

Гондла

Я люблю, чтоб спокойно бродили

Серны в рощах, щипля зелена;

Слишком долго и злобно травили,

Точно дикую серну, меня.

Ахти

Ну, тогда ты поднимешь дружину

И войною пойдешь на датчан?

Хорошо королевскому сыну

Опорожнить на поле колчан.

Гондла

Ахти, мальчик жестокий и глупый,

Знай, что больше не будет войны,

Для чего безобразные трупы

На коврах многоцветных весны?

Ахти

Понял. Все мы узнаем на деле,

Что отраднo веселье одно,

Что милы и седые метели,

Если женщины пенят вино.

Гондла

Все вы, сильны, красивы и прямы,

За горбатым пойдете за мной,

Чтобы строить высокие храмы

Над грозящей очам крутизной.

Слышу, слышу, как льется победный,

Мерный благовест с диких высот,

То не колокол гулкий и медный —

Лебединое сердце поет.

Поднимаются тонкие шпили

(Их не ведали наши отцы) —

Лебединых сверкающих крылий

Устремленные в небо концы.

И окажется правдой поверье,

Что земля хороша и свята,

Что она — золотое преддверье

Огнезарного Дома Христа.

(Как бы очнувшись)

Ты просил о какой-то услуге?

Ахти

Ты уже оказал мне ее.

Что же медлишь нести ты к подруге

Лебединое сердце свое?

(Уходит смеясь. Гондла медленно входит к Лере. Шум. Гондла и Лаге вылетают, сцепившись. В дверях Лера в ночной одежде закрывает лицо руками. Вбегают Снорре, Груббе и Ахти).

Сцена пятая

Гондла, Лера, Снорре, Груббе, Лаге, Ахти.

Лаге

Как? Ты думаешь драться со мною,

Хочешь силу изведать мою,

Так прощайся, цыпленок, с землею,

Потому что тебя я убью.

(Бросает Гондлу на пол; его удерживают).

Гондла

Где он, где он, мой камень надгробный?

Как ты в спальню невесты проник?

Кто ты? Волк ненавистный и злобный

Иль мой собственный страшный двойник?

Лаге

Ночью кошки и черные серы,

А отважным удачливый путь!

Что за нежные губы у Леры

И какая высокая грудь!

Снорре

Гондла умер.

Лера

Любимый, любимый,
Я не вынесу этих скорбей,
Ты живи, небесами хранимый,
А меня пожалей и убей...
Гондла (вдруг поднимаясь).

Нет, я часто пугался пустого,
И сейчас это, может быть, бред,
Старый конунг последнего слова
Не сказал, многознающий, нет!
Боль найдет неожиданной тучей
И, как туча, рассеется боль —
Гондла умер? Нет, Гондла живучий,
Гондла ваш перед Богом король!

Действие второе

Двор замка, освещенный воткнутыми в стену факелами. Ночь еще продолжается.

Сцена первая

Конунг сидит в креслах; по обе стороны от него Снорре и Груббе; напротив Лаге и Ахти, и отдельно от них Гондла.

Конунг

Разве может быть суд пред рассветом?

Солнце — лучший свидетель судьи,

Королевич, подумав об этом,

Отложи обвиненья твои.

Гондла

Как сумели бы стать правосудней

Правосудные вечно уста!

Словно солнце июльских полудней,

Засияет моя правота.

Насмеявшись над правдой нетленной

И законом исландской земли,

Над моею короной священной

Дерзко руку враги занесли.

Я, как раненый лебедь в овраге,
Мне и муки и смерти больней,
Что сегодня насмешливый Лаге
Спал с прекрасной невестой моей.
Ненавистный, он брата ей ближе,
Он один ее видел нагой...
Защити же меня, защити же,
О могучий, от пытки такой.
Пусть не ведает мщенье предела:
Привяжи его к конским хвостам,
Чтоб его ненасытное тело
Разметалось по острым кустам.
А потом запрети для примера
Даже имя его называть,
Чтобы я и несчастная Лера
Друг на друга посмели, взирать.
Конунг (к Лаге)

Что ты скажешь в, свое оправданье,
Человек неправдивый и злой,
И какого ты ждешь наказанья
За поступок неслыханный твой?
Лаге

Государь, я с простыми словами
Появляюсь пред взором судей,
Нас недаром прозвали волками
Здесь, в отчизне твоей и моей.
Что для девушки Гондла? Из меди
Сердце Леры, и голос как рог,
Я же часто косматых медведей
Для нее поднимал из берлог.
Что я сделал, то сделал по праву,
Гондла слаб, я и смел и силен,
Нашим предкам бессмертную славу
Этот волчий доставил закон.
Конунг (к Снорре и Груббе)

Ярлы, ум ваш и ясени зорок,
Так судите ж обиду и боль,
Позабыв, и что Лаге вам дорог
И что Гондла ирландский король.
Снорре

Повелось по старинным обычаям:
Если двое полюбят одну,
То, не внемля причудам девичьим,
Начинают друг с другом войну.
Груббе

Это верно! Так было и будет,
Как о правде другой ни кричи!
Если люди людей не рассудят,
Их наверно рассудят мечи.
Конунг

Гондла, слышал решение такое?
Справедливым считаю и я,
Что выходит герой на героя
И копье не бежит от копья.
Мы твоей подивимся отваге,
Лера доблесть оценит твою,
Если Лаге, могучего Лаге,
Ты повергнешь в открытом бою.
Крепче стой! Я пред всеми отвечу
За огонь в королевской крови.
Неудержно бросается в сечу,
Кто достоин девичьей любви.
Помню, утром сияла пустыня,
Где Марстана я бросил в песок,
Сердце дрогнуло, словно богиня
Протянула мне вспененный рог.
А когда вместе с Эйриком Красным
Я норвежцев погнал ввечеру,
День казался мне столь же прекрасным,

Как на самом роскошном пиру.

Гондла

Конунг, судьи, вы знаете...

Конунг

Что же?

Гондла

Я горбат, вы забыли про то.

По закону калеку не может

К поединку принудить никто.

Конунг

Дело бранное дивно и чудно,

Смерть бежит от стремящихся в бой,

Почему же бывает так трудно

Трусу панцирь надеть боевой?

Гондла

К правосудью, судья, к правосудью!

Удержи эту лживую речь,

Или я королевскою грудью

Упаду на отточенный меч.

Поединок бессмыслен, а славу

Получает в народе простом

Царь, кладущий копье и державу

Покрывающий крепким щитом.

Конунг

Не любовник, не царь и не воин...

Бьется ль сердце в подобной груди?

Ты короны своей недостоин,

Мы тебя не хотим. Уходи.

(Выходит).

Гондла (ему вслед)

Волк, и с поступью легкою, волчьей!

Я воды у него попросил,

Он же уксусом, смертною желчью,

Мой запекшийся рот оросил.

Сцена вторая

Те же без Конунга

Гондла

Ярлы, к вам обращается правый,

Обвиненный в неправом суде,

Не теряйте прадедовской славы,

Вновь ее не найдете нигде.

Осужденный судебным решением,

Опрокинутый вражьем мечом,

Эгиль голову выкупил пеньем,

Пред норвежским представ королем.

Лютню мне! Лебединые саги

Вам о роде моем я спою,

Если знает такие же Лаге,

Жизнь и честь отнимите мою.

Груббе

Ты не знаешь, какого ты рода,

Несуразный птенец и смешной,

Поливают у нас огороды

Королевскою кровью такой.

Лаге

Где ты принцев видал, чтоб умели

Лишь судиться, играть и рыдать,

Опоздали к девичьей постели

И меча не посмели поднять?

Снорре

Удивил бы тебя я безмерно,

Рассказавши о роде твоём,

Если б ведал, что конунг наверно

Никогда не узнает о том.

Гондла

Лютню, лютню! Исчезнет злословье,

Как ночного тумана струи,

Лишь польются мои славословья,

Лебединые песни мои.

Ахти (протягивая лютню)

Эта лютня всегда приносила

Славу самым плохим игрокам,

В ней сокрыта волшебная сила

Сердце радовать даже волкам.

Гондла (играет и пробует петь)

Разгорается звездное пламя...

Нет, не то! На морском берегу...

Ах, слова не идут мне на память,

Я играю, а петь не могу.

Ахти

Ну, теперь мы увидим потеху!

Эта лютня из финской страны,

Эту лютню сложили для смеху,

На забаву волкам колдуны.

Знай же: где бы ты ни был, несчастный,

В поле, в доме ли с лютней такой,

Ты повсюду услышишь ужасный,

Волчий, тихий, пугающий вой.

Будут волки ходить за тобою

И в глаза тебе зорко глядеть,

Чтобы, занятый дивной игрою,

Ты не мог, ты не смел ослабеть.

Но когда-нибудь ты ослабеешь,

Дрогнешь, лютню опустишь чуть-чуть

И, смятенный, уже не успеешь

Ни вскричать, ни взглянуть, ни вздохнуть.

Волки жаждали этого часа,

Он назначен им был искони,

Лебединого сладкого мяса

Так давно не терзали они.

(Слышен волчий вой. Гондла в ужасе убегает, продолжая играть. Остальные прислушиваются).

Лаге

Ты уверен ли в лютне?

Ахти

Еще бы!

Хоть двойное заклятье на ней,

Но от волчьей, от алчущей злобы

Никогда не уйдет дуралей.

Сцена третья

Те же без Гондлы.

Лаге

Что за диво? Неясные звуки

И тревожат меня и томят.

Снорре

Я как будто проснулся от скуки

И чему-то мучительно рад.

Груббе

Этот Гондла придумает вечно,

Как ему стариков огорчить.

Ахти

Я доволен собой бесконечно,

Но зато не могу не завывать.

(Воет: все переглядываются).

Снорре

Брат, ты слышишь? Качается вереск,
Пахнет кровью прохлада лугов.

Груббе

Серый брат мой, ты слышишь? На берег
Вышли козы, боятся волков.

Снорре

Под пушистою шерстью вольнее
Бьется сердце пустынных владык.

Груббе

Зубы белые ранят больнее
Крепкой стали рогатин и пик.

Лаге

Надоели мне эти кафтаны!
Что не станем мы сами собой?

Побежим, побежим на поляны,
Окропленные свежей росой.

Ахти

Задохнемся от радостной злости,

Будем выть в опустелых полях,

Вырывать позабытые кости

На высоких могильных холмах.

Груббе

Гондлу выследим. Лаге нагонит,

Снорре с Ахти наскочат сам-друг.

Ахти

Но не прежде чем лютню уронит,

Гондла лютню уронит из рук.

(Убегают, входит Гондла, играя)

Сцена четвертая

Гондла один.

Гондла

Обманули меня. Насмеялись
Над горбатым своим королем.
А когда-то друзьями казались,
Дом их был мой единственный дом.
Вой все ближе, унылый, грозящий,
Гаснет взор, костенеет рука,
Сердце бьется тревожней и чаще,
И такая, такая тоска!
Но зачем я стою у порога,
Если прямо среди дымных полей
Для меня протянулась дорога
К лебединой отчизне моей?
Только стану на берег зеленый,
Крикну: лебеди, где вы? Я тут! —
Колокольные ясные звоны
Нежно сердце мое разобьют.
И, не слушая волчьей угрозы,
Буду близкими я погребен,
Чтоб из губ моих выросли розы,
Из груди многолиственный клен.
А потом лебединая стая
Будет петь надо мною всегда
Про печальную девочку Лаик,
Что моей не была никогда.
(Хочет уйти. Вбегает Лера).

Сцена пятая

Гондла и Лера

Лера

Гондла, Гондла, меня оскорбляли,
Угрожали держать взаперти,

Я свивалась узлом от печали,

Но к тебе не могла не прийти.

Гондла

Ты пришла? Разве ты не слыхала?

Я изгнанник, я всеми травим,

А одна диадема пристала

Ослепительным кудрям твоим.

Лера

Я пока еще Лаик, не Лера,

Я верна обещаньям любви,

Хоть рассветное небо и серо,

Зажигая безумье в крови.

Ах, коснись меня нежной рукою,

Защити от меня же самой,

Не возлюбленной, только сестрою,

Я ведь смею идти за тобой.

(Опускается перед ним на колени. Гондла поднимает ее)

Гондла

Ты улыбка Господня. Мы оба

Из великой семьи лебедей.

Для тебя я восстал бы из гроба,

За тебя я прощаю людей.

Лера

Ты не знаешь про новое горе:

Мы от гибели были близки,

Я заметила когти у Снорре,

А у Груббе большие клыки.

Все они собрались в ожиданьи;

Помнишь, в старый заброшенный ров,

Там колдун говорил заклинанья,

Чтоб совсем превратить их в волков.

Красной кровью наполнены чаши,

Что-то варится в медных котлах...

Унеси меня к родине нашей

На своих лебединых крылах.

Действие третье

Глухой лес. Июльский полдень.

Сцена первая

Входят Лера и Гондла с лютней.

По-прежнему в отдалении слышен волчий вой.

Лера

С добела раскаленного неба

Словно льются потоки огня...

Ты не взял ни орехов, ни хлеба

И голодной оставил меня.

Гондла

Лаик...

Лера

Нет, называй меня Лерой,

Я живу на земле, не в гробу,

Счастье меряю полною мерой

И за горло хватаю судьбу.

Гондла

Счастья мера, а муки безмерность —

Вот вся жизнь; но я жив, не таю,

Чтоб узнать благородную верность,

Лебединую нежность твою.

Лера

Королевич, условиться надо:

Я не буду твоей никогда,

Между нами навеки преграда

Из девичьего встала стыда,

Нет, я буду могучей, спокойной,
Рассудительной, честной женой
И царицей, короны достойной,
Над твоею великой страной.
Да, царицей! Ты слабый, ты хилый,
Утомлен и тревожен всегда,
А мои непочатые силы
Королевского ищут труда.

Гондла

Я согласен. Пусть Лера дневная
Управляет на троне моем,
С ненаглядною девочкой Лаик
Ночью будем мы плакать вдвоем.
Лера

Только солнце опустится в море
И наступит таинственный час,
За дверьми на тяжелом затворе
Лаик будет сокрыта от глаз.

Гондла

Ты жестока ко мне. Ты не видишь,
Я уже не похож на людей,
Неужели ты так же обидишь
И веселых моих лебедей?
Лера

Королевич, поверь, что не хуже
Твоего будет царство мое,
Ведь в Ирландии сильные мужи.
И в руках их могуче копье.
Я приду к ним, как лебедь кровавый,
Напою их бессмертным вином
Боевой ослепительной славы
И заставлю мечтать об одном, —
Чтобы кровь пламенела повсюду,

Чтобы села вставали в огне...

Я сама, как валкирия, буду

Перед строем летать на коне.

Гондла

Лера! Нет... что сказать ты хотела?

Вспомни, лебеди верят в Христа...

Горе, если для черного дела

Лебединая кровь пролита.

Лера

Там увидим. А солнце все злее,

Отдохнуть нам, пожалуй, пора.

Гондла

Я воды принесу посвежее

И посуше ветвей для костра.

(Уходит).

Сцена вторая

Лера и Лаге, который входит.

Лаге

Лера.

Лера

Дерзкий, ты можешь? Ты смеешь?

Лаге

Да, я смею. Тебя я люблю.

Лера

Дай мне меч твой, дай меч мне скорее,

И тебя я сейчас заколю.

Лаге

Если хочешь, возьми. Мне не внове

Забавляться опасной игрой.

Солнцу летнему хочется крови,

В нас вселяет безумие зной.

Лера

Злобный волк!

Лаге

Мне приятны проклятья,

Жизнь дешевле твоей красоты,

И в последнем предсмертном объятьи

Будешь сжата, единая, ты.

Лера

Что ты хочешь?

Лаге

От Леры и боли.

Лера

Ты меня не любил, ты был груб.

Лаге

Да, тебя не любил я, доколе

Я твоих не почувствовал губ.

Не забыть твоего поцелуя,

Пусть я волк, ты — волчица моя,

И тебя никогда не пушу я

Ни в какие иные края.

Лера

Уходи.

Лаге

Я уйду, но с тобою.

Лера

Гондла может вернуться.

Лаге

Ну что ж?

Иль для Гондлы ты стала рабою,

За горбатым повсюду пойдешь?

Лера

Я жена королевича. Смело

Перед всеми скажу я о том,

И корона Ирландии целой

Наградит мою верность потом.

Лаге

Не отвечу на это ни слова,

Хоть и многое мог бы сказать.

Только муж ли тебе он? Другого

Ты тогда не могла б обнимать.

Лера

Лаге, Лаге, какими словами,

Как меня оскорбить ты готов?

Лаге

Лера, все, что случается с нами,

Происходит по воле богов.

Сильный Тор опьянил меня страстью,

Фрея в спальню твою привела,

Волк Фенрир с угрожающей пастью

Сторожил, как моей ты была.

Пусть уйдешь ты далеко, пусть кинешь

Небожителей наших и нас,

Но из памяти разве ты вынешь

Тот жестокий и сладостный час?

Лера

Ты был страшен тогда; мне казалось,

Что огонь пожирает меня.

Лаге

Ты смотрела и ты улыбалась

Веселей и страшнее огня.

Лера

Выжди, Лаге, позволь воцариться

Мне в богатой и сильной стране

И тогда, как кочующий рыцарь,

Приходи откровенно ко мне.

Лаге

Да, но ты поцелуешь сначала,

Поцелуешь меня, как тогда...

Лера

Нет, не надо.

Лаге

Ведь ты обещала...

Лера, помнишь ли прошлое?

Лера (целуя его)

Да.

(Входит Гондла)

Сцена третья

Лера, Лаге, Гондла, потом Груббе.

Гондла

Лаге? Лаге опять? На колени!

Я король, пресмыкайся, змея!

Лера

Нам не надо твоих повелений,

Ведь корона моя не твоя.

Гондла (не слушая)

Вот теперь-то добыюсь я ответа

От тебя, возмутившийся раб!

Лаге

Посмотрю, как ты сделаешь это;

Мы в лесу, я с мечом и не слаб.

Гондла

Честь мою не унижу я спором,

Лютню брошу, себя погубя,

И падет небывалым позором

Королевская кровь на тебя.

Лера (к Лаге)

Уходи же!

Лаге

Но ты обманулась,

Никаких здесь властителей нет!

Эта шутка и так затянулась

На пятнадцать без малого лет.

Гондла

Что за ложь?

Лера

Я понять бы хотела...

Лаге (указывая на входящего Груббе)

Груббе все рассказать вам готов,

Очевидец нелепого дела

На одном из старинных судов.

Груббе

Расскажу. Что отрадней былого

Для такого, как я, старика?

Лере в пользу пойдет это слово
И вдобавок унизит щенка.
Помню, помню, как злилась пучина,
Мы с Гер-Педером рвали волну,
Увозя королевского сына
Из Ирландии в волчью страну.
Сам король отпустил лебеденка,
Но Гер-Педер, затейник пустой,
Взял с собой и другого ребенка,
Некрасивого, крови простой.
С ним за это поспорил бы каждый,
Но Гер-Педер был друг мне, не лгу,
Мы варили кита не однажды
С ним, на Страшном живя Берегу.
С нами ехал и маленький Лаге,
Сын любимый Гер-Педера, он
Раз делил с королевичем флаги,
Поднял ссору и, вмиг обозлен,
Бросил бедного мальчика в море. —
И беде не сумели помочь
Ни Гер-Педер, ни я и ни Снорре,
Потому что надвинулась ночь.
До утра бушевала пучина,
И Гер-Педер молчал до утра, —
Все он видел, как голову сына
Отсекает удар топора.
А на утро сказал: лебеденка
Все равно мы теперь не вернем,
Так давайте, другого ребенка
Королевичем мы назовем.
Он молил нас, и мы согласились
Неразумного Лаге спасти,
Дальше поплыли, ветры бесились,
Как гуляки, у нас на пути.
Связки молний пылали на небе,
И до тучи доплескивал вал;
Мы гадали по книге, и жребий

На Гер-Педера трижды упал.

И его мы швырнули в пучину,

Но сперва поклялись перед ним,

Что подложному царскому сыну

Мы жестоко за все отомстим.

Гондла (быстро)

Кто отец мой?

Груббе

Бродячий, ничтожный

Скальд, забыли теперь про него.

Гондла

Кто же мать моя?

Груббе

Нет, осторожно,

Больше я не скажу ничего

(к Лере)

Вот, короной венчан шутовскою,

Он поднять не осмелится глаз.

Лера

Груббе, Лаге, оставьте со мною

Эту... этого... Гондлу сейчас

(Груббе и Лаге выходят).

Сцена четвертая

Лера и Гондла

Лера

Что же, друг? Ты обманно назвался

Королевичем? Значит, ты вор?

Ты корону мне дать обещался,

А даешь только боль и позор.

Полно! Есть и глумлению мера,
Не превысит ее человек!
Иль ты думал, что глупая Лера,
Как развратница, любит калек?
Что рожденной отцом благородным
Так уж лестно покинуть свой дом
И повсюду идти за негодным
Нищим, может быть, даже рабом?
Где же лютня? Играй. Так уныло
Воют колки в полях и лесах,
Я тебя до сих пор не убила,
Потому что мне дорог твой страх.
Но ничто не бывает, ты знаешь,
Окончательным, даже беда...
Например: если ты утверждаешь,
Что король ты и был им всегда, —
Кто помеха тебе в этом деле?
Снорре, Груббе? Их можно убрать.
Лаге с нами. Мы б верно сумели
Властелинами заново стать.

Гондла

Там, в стране, только духам известной,
Заждались короля своего,
Мой венец не земной, а небесный,
Лаик, терны — алмазы его.
Лера

Так? Ну, помни обет мой веселый:
Чуть погаснет на западе луч,
Лаик будет за дверью тяжелой,
И у Лаге окажется ключ.
Он войдет к ней, ее он измучит
Ненасытным желаньем мужским.
Он ее наслаждаться научит,
И смирится она перед ним.
И на месте тоскующей Лаик

Будет Лера и ночью и днем,

Неустанно тебя проклиная,

Называя трусливым щенком.

(Кричит)

Где вы, сильные, волки, не люди?

Пусть же когти пустынных владык

Вырвут низкое сердце из груди,

Из гортани лукавый язык.

(Показываются Снорре, Груббе, Лаге, Ахти).

Вот смотрите, он голову клонит.

Кто убьет его, будет мне друг...

Ахти

Но не прежде, чем лютню уронит,

Гондла лютню уронит из рук.

Сцена пятая

Лера, Гондла, Снорре, Груббе, Лаге, Ахти.

Лера

Сладко мне улыбнуться героям!

Груббе

Не бывало подобной жары,

Жилы словно наполнены зноем,

И в глазах огневые шары.

Снорре

Мы оленя убили, тяжелый,

Словно лошадь, достанет на всех.

Ахти

Я же браги хмельной и веселой

Захватил полуведерный мех.

(Все, кроме Гондлы, садятся)

Лаге

Гондла, живо костер! Поднимаю

Первый кубок за Леру мою.

Снорре, Груббе и Ахти

Пьем за Леру мы все!

Лера

Принимаю

И за Лаге могучего пью.

Ахти (втаскивая оленью тушу)

Вот олень. Жира, жира-то сколько!

Ну, волкам не пропасть без еды.

Лаге

Сердце — Лере.

Ахти

Конечно, но только

Прежде вымою. Гондла, воды!

Лаге

Ах, вино мне удвоило силы.

Лера

Я любовью и солнцем пьяна,

Этой ночью не правда ли, милый,

Ты придешь ко мне?

Лаге (обнимая ее)

Гондла, вина!

Снорре, Груббе и Ахти

Гондла, музыки! Лютня такая

Для чего у тебя, нелюдим?

Целый день проведешь ты играя,

А под вечер тебя мы съедем.

Лаге (наклоняясь к Лере)

Как мучительно рот мой находит

Твой кровавый, смеющийся рот!

Лера

Посмотрите, горбатый уходит.

Ахти

Ну, далеко от нас не уйдет.

Действие четвертое

Лес на берегу моря. Большие утесы. Вечер.

Сцена первая

Гондла один, потом отряд ирландцев с Вождем во главе.

Гондла

Не пойму, это солнце на небе,

Или боль просияла моя?

Не пойму, человек или лебедь,

Лебедь с сердцем проколотым я?

Нет, я царь этих дебрей суровых,

И меня коронует Христос

Диадемою листьев кленовых

И росю обрызганных роз.

О, когда бы враги посмотрели,

Как мне кланялась эта скала,

Как молили меня эти ели

Защитить их от всякого зла!

Если сан мой признала природа,

То они ли поспорят о том,

О царе лебединого рода

И с проколотым сердцем притом?

(Входят ирландцы)

Вождь

Словно место недавних пожарищ,

Этот лес иль убийств потайных...

Как пройти нам к проселку, товарищ?

Закружились мы в дебрях твоих.

Гондла

Что хотите вы делать в поселке,

Люди-лебеди, братья мои?

Там живут беспощадные волки,

Осквернители милой любви.

Вождь

Он безумный, не будем смеяться

И с собою его уведем.

(К Гондле)

Знай, нам нужно в поселок пробраться

За своим молодым королем.

Гондла

Я король ваш.

Вождь

Он вовсе безумный.

Гондла

Что, скажите, в родимой стране

Так же ль трубы архангелов шумны,

Звезды так же ль глубоко на дне?

Что Георгий? В заоблачных долах

С Пантелеймоном друг и сейчас?

Двое юношей знатных, веселых,

Утешители ангельских глаз.

Магдалина от скорби предвечной

Отдохнула ли львиной душой?

Брат Христов Иоанн? Он, конечно,

Апокалипсис пишет второй.

Вождь

Бедный ум, возалкавший о чуде,

Все мы молимся этим святым,

Но, простые ирландские люди,

Никогда не входили мы к ним.

(Выходят Снорре, Груббе, Лаге, Ахти).

Сцена вторая

Гондла, Вождь, ирландские воины, Снорре, Груббе, Лаге, Ахти.

Ахти

Гондла, что же ты бродишь лентяем,

Почему эта лютня молчит?

Груббе

Мы немедля тебя растерзаем.

Лаге

Иль играй, или будешь убит.

Гондла

Нет, я больше волкам не играю,

Я живу в огнезарном раю,

Не допрыгнуть вам к этому раю,

Только лютню возьмите свою.

(Кидает к их ногам лютню. Они бросаются на него).

Вождь (ирландцам)

Братья, вступимся, он христианин

И наверно из нашей страны.

(Ирландцы отбрасывают исландцев)

Снорре

Горе нам!

Груббе

Я повержен.

Лаге

Я ранен.

Ахти

Лебединые клювы сильны.

Вождь

Вы хорьки, вы трусливые души,

На безумного бросились вы:

Разве мало вам крыс и лягушек,

Что хотите его головы!

Снорре

Этот юноша, бледный и странный,

Был судим справедливым судом

И был изгнан. Назвался обманно

Он Ирландии всей королем.

Вождь

Как, не он ли к исландским равнинам

Был когда-то от нас увезен,

Чтобы выросши стать господином

Над союзом обоих племен?

Груббе

Не товарищ булыжник орешку!

Двух младенцев Гер-Педер увез,

Королевич погиб, и в насмешку

Королевичем назван был пес.

Вождь (к Гондле)

Государь, мы тебя не узнали,

Не суди же покорных рабов,

Но скажи, чтобы мы разметали

Этих низких и злобных волков.

Гондла

Я король в небесах, я изведаль,

Полюбил огнекрылую боль,

Но вам истину Груббе поведал,

Что в Ирландии я не король.

Вождь

Наступили тяжелые годы,

Как утратили мы короля,

И за призраком легкой свободы

Погналась неразумно земля.

Мы наскучили шумом бесплодным,

И был выбран тогда наконец

Королем на собраньи народном

Вольный скальд, твой великий отец.

Он нам дал небывалую славу

И, когда наконец опочил,

Пурпур мантии, скипетр, державу

Он тебе передать поручил.

(Надевает на Гондлу мантию, передает ему скипетр и державу)

Груббе

Мы еще не слышали об этом.

Лаге

Значит все-таки Гондла король,

И корона пронизана светом

На кудрях его черных, как смоль.

Ахти

Ах, двойному заклатью покорный,

Музыкальный магический ход

Или к гибели страшной и черной

Или к славе звенящей ведет.

(Входит Конунг)

Сцена третья

Те же и Конунг.

Конунг

Гондла здесь? Не отправился в море?

Не утратили мы короля?

Так зачем же вещало мне горе

Сердце, старое сердце, боля?

Дождь над замком пролился кровавый,

Плавал в воздухе столб огневой,

Перед дверью орел величавый

Пал, растерзанный черной совой.

Эти страшные знаменья ясно

Говорят неземным языком,

Что невинный был изгнан напрасно

И судим был неправым судом.

Гондла

Нет, я звездный король и надзвездный,

Что земле я и что мне земля?

Лебедям короли бесполезны,

И не надо волкам короля!

Груббе

Королевич, старинные были

Затуманили наши умы,

Мы тебя беспощадно травили

И о правде не ведали мы.

Ты был мальчиком, ныне стал мужем,

И корона, корона — твоя,

Мы тебе так охотно послужим

Острием боевого копья.

Ахти

Правда, Ахти не сыщешь лукавей,
Но прошу о пощаде и я,
Вспомни, Гондла, к короне и славе
Привела тебя лютня моя.
Под знаменами станет твоими
Вся ночная громада волков,
И, клянусь, с лебедями такими
Даже я подружиться готов.
Лаге

Ты мне друга и брата милее,
Я не знаю и сам почему,
Ты как будто славнейших славнее
И уже непостижен уму.
Если скажешь: в нелепое веруй! —
Тотчас волю исполню твою.
Никогда не увижу я Леру,
Если хочешь, себя я убью.
Снорре

Гондла, Гондла, на все преступленья
Королевскую милость пролей,
Знай, ты можешь простить оскорбленье,
Нанесенное Лере твоей.
Брат с сестрой — вы. Морские пираты
Вашу мать в этот край завезли,
Для нее и Гер-Педер когда-то
Взял тебя из ирландской земли.
Все, я помню, она тосковала
И грустила она день и ночь,
Все, я помню, крестить умоляла
Здесь от волка рожденную дочь.
Королевич, подумай, что б стало,
Если б Лера твоею была.
Наша злоба вас двух сохраняла
От богам нестерпимого зла.
Вождь

Поднимается ветер вечерний,
За утесами видно луну,
И по морю из ртути и черни
Мы отправимся в нашу страну.
Не прощают, мы ведаем сами,
За такие обиды и боль,
Хоть союза волков с лебедями
И хотел наш покойный король.

Гондла

Совершилось, я в царской порфире,
Три алмаза в короне горят,
О любви, о прощеньи, о мире
Предо мною враги говорят.
Неужели отныне я стану
Властелином на двух островах,
Улыбаясь в лицо океану,
Что их держит на крепких стеблях?
Или просто к стране лебединой,
К милым кленам и розам уйду,
На знакомые сердцу равнины,
О которых я плакал в бреду?
Нет! Мне тягостно, жалко чего-то,
Я о чем-то великом забыл,
И, как черная птица, забота
Грусть навеяла взмахами крыл.
(Показывается Лера; прячущаяся за деревьями)

Сцена четвертая

Теже и Лера

Вождь

Странный лес, всюду шорохи, стоны,
Словно духи в нем бродят всегда;
Вон в траве промелькнуло зеленой...

Это женщина... женщина, да!

(Выводит Леру за руку)

Конунг

Это Лера?

Ахти

Я требую казни!

Лера милою Гондлы была,

А смеялась над ним без боязни,

С нами ела и с Лаге пила.

Груббе

Если женщина мужа не любит,

Эту женщину должно убить!

Снорре

Всякий радостно злую погубит,

Только... Гондлу бы надо спросить.

Лера (простирая руки к Гондле)

Брат, жених, я тебя умоляю,

Отправляйся с твоими людьми

К лебединому, к белому раю

И корону, корону прими.

А меня, бесконечно чужую

Мысли, сердцу и сну твоему,

Посади меня в башню глухую,

Брось в глубокую яму-тюрьму,

Только так, чтоб вечерней порою

Я слыхала, как молишься ты.

Будет звездами, солнцем, луною

Этот звук для моей слепоты.

Гондла

Вспомнил, вспомнил. Сиянье во взоре,

Небо в лунной волшебной крови

И взволнованный голос, и море,

Да, свободное море любви!

Новый мир, неожиданно милый,

Целый мир открывается нам,

Чтоб земля, как корабль светлокрылый,

Поплыла по спокойным водам.

(Берет у вождя меч и поднимает его рукоятью вверх).

Лера, Конунг и волки, сегодня,

В день, когда увенчали меня,

Я крещу вас во имя Господне,

Как наследников Вечного Дня.

Белым лилиям райского сада

Будет странно увидеть волков...

Конунг (отступая)

Нет, нам нового бога не надо!

Снорре, Груббе и Ахти

Мы не выдадим старых богов.

Гондла

Вы колеблетесь? Лаик, скорее!

Лаик, слышишь архангельский хор?

Лера

Ах, мне Бальдера жалко и Фреи,

И мне страшен властительный Тор.

Гондла

Вы отринули таинство Божье,

Вы любить отказались Христа,

Да, я знаю, вам нужно подножье

Для его пресвятого креста.

(Ставит меч себе на грудь)

Вот оно. Я вином благодати

Опьянился и к смерти готов,
Я монета, которой Создатель
Покупает спасенье толков
(Закалывается)

Лаик, Лаик, какое бессилье!
Я одну тебя, Лаик, любил...
Надо мною шумящие крылья
Налетающих ангельских сил.
(Умирает).

Сцена пятая
Те же перед трупом Гондлы.

Вождь (склоняясь над трупом)

Меч пришелся по жизненной жиле,
И ему не поднять головы!
(К исландцам)

Одного лебеденка убили,
А другого замучили вы.
(Поднимая меч рукоятью вверх)

Подходите, Христовой любовью
Я крещу, ненавидящих, вас,
Ведь не даром невинною кровью
Этот меч обагрился сейчас.
(Исландцы подходят один за другим, целуя рукоять меча).

Конунг

Гондла добыл великую славу
И великую дал нам печаль.
Снорре

Да, к его костяному составу
Подмешала природа и сталь.

Груббе

Я не видел, чтоб так умирали

В час, когда было все торжеством.

Лаге

Наши боги поспорят едва ли

С покоряющим смерть божеством.

Ахти (прячась за других).

Нет мне страшны заветия эти

И в небесный не хочется дом,

Я пожалуй десяток столетий

Проживу и земным колдовством.

(Скрывается).

Вождь (к Лере)

Что же, девушка? Ты отступила?

Ты не хочешь Нетленного Дня?

Лера

Только Гондлу я в жизни любила,

Только Гондла окрестит меня.

Вождь

Гондла умер.

Лера

Вы знаете сами,

Смерти нет в небесах голубых,

В небесах снеговыми губами

Он коснется до жарких моих.

Он — жених мой, и нежный и страстный,

Брат, склонивший задумчиво взор,

Он — король величавый и властный,

Белый лебедь родимых озер.

Да, он мой, ненавистный, любимый,

Мне сказавший однажды: люблю! —

Люди, лебеди, иль серафимы,

Приведите к утесам ладью.

Труп сложите в нее осторожно,

Легкий парус надуетса сам)

Нас дорогой помчав невозможной

По ночным у широким волнам.

Я одна с королевичем сяду

И руля я не брошу, пока

Хлещет ветер морскую громаду

И по небу плывут облака.

Так уйдем мы от смерти, от жизни

— Брат мой, слышишь ли речи мои? —

К неземной, к лебединой отчизне

По свободному морю любви.

Отравленная туника

Трагедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Имр, арабский поэт

Юстиниан, император Византии

Феодора, императрица

Зоя, дочь Юстиниана

Царь Трапезондский

Евнух, доверенное лицо Императора

Время действия — начало VI столетия по Р.Х.

Место действия — зала Константинопольского дворца.

Действие происходит в течение 24 часов; между 3-м и 4-м действиями проходит ночь.

Действие первое

Сцена первая

(Имр и Евнух)

Евнух

Ты Имр из Кинда, кажется? Случалось

И мне слышать о племени твоём.

Оно живёт не в кесарских владеньях,

Не в золотой руке Юстиниана,

Но всё-таки достаточно известно,

Чтоб я решился выслушать тебя.

Имр

О, господин, несчастье и измены —

Вот всё, что видела моя заря.

Родился я к востоку от Йемена

В семействе Годжра, Киндского царя.

Но слишком дорогим я стал народу

И должен был бежать, и много лет

Ел хлеб чужой и пил чужую воду,

Перед чужим шатром шептал привет.

Я сделался поэтом, чтоб ласкали

Меня эмиры, шейхи и муллы,

И песни, мною спетые, летали

По всей стране, как римские орлы.

И как-то вечером на состязаньи

Певец из племени Бену-Ассад

(Как ненавистно мне это названье!)

Запел и на меня направил взгляд:

«Был Годжр из Кинда воин очень сильный,

И сильно плачет Годжрова жена...».

Я понял все, увидел столб могильный

И умертвил на месте крикуна,

Домой я моего погнал верблюда

И мчался восемь дней и наконец

Увидел: вместо башен камней груда,

Обрывки шкур в загоне для овец.

Тогда я, словно раненая птица,
К Константинополю направил путь.
Я думал: Кесарь может согласиться,
Несчастному поможет как-нибудь.
Шесть тысяч копий, да четыре луков,
Да две людей, приученных к мечу,
Да сколько надо для отрядов вьюков,
Я попросить у Кесаря хочу.

Евнух

Зачем же Кесарь вмешиваться будет
В пустые распри чуждых нам народов,
Какую славу или прибыль может
Он получить от этих малых войн?

Имр

Когда Бену-Ассад, народ коварный,
Давно заслуженную примет часть,
То вся страна, навеки благодарна,
Клянусь, признает кесареву власть.

Евнух

Не знаю я, как отнесется Кесарь
К завоеваньям часто ненадежным,
Порою трудным и всегда ненужным,
Но доложу. Быть может, ты слышал,
Что начали мы преобразование
Всех императорских постановлений
В один обширный, полный свод законов,
Дабы никто в народе не страшился
Ни яда языка, ни злых коварств.
К чему же нам теперь завоеванья?
Но всё ж я доложу. Однако, прежде
Ответь мне правду, ты не манихей?
Как помышляешь ты о Воплощеньи?

Имр

В пустыне думать некогда о Боге,

Там битвы, львы и зыбкие пески,

Но я однажды видел у дороги,

Как черный камень молят старики.

Евнух

Ну что ж! Язычник может быть крещен,

Еретика исправит лишь железо.

Ты знаешь, для похода нужен вождь,

Доместик пеших воинов и конных,

Знакомый и с народом и с пустыней,

Во всем покорный кесаревой воле ...

Что если бы мы выбрали тебя?

Имр

С тех пор как я, бродяга безрассудный,

Узнал о том, что мой отец убит,

Я вечно слышу сердцем голос чудный,

Который мне о мщеньи говорит.

И этот голос, пламенем пропитан,

В толпе и битве заглушил бы всех,

Как будто тот, кому принадлежит он,

Одет в броню и леопардов мех.

Я клялся не носить духов в фиоле,

Не есть свежины и не пить вина,

И не касаться женщины, доколе

Моя обида не отомщена.

Евнух

Зачем же ты приехал в Византию,

Смешной дикарь? Таких, как здесь, духов

Из мускуса, из розового масла,

Из амбры, и раздавленных левкоев,

Ты не найдешь от стран гиперборейских

До смертоносной Суматры и Явы.

На наших празднествах едят быков,

Оливками и медом начиненных,

И перепелок маленьких и нежных,

И вкусных, вкусных, как блаженство рая.

Мы запиваем их вином заветным,

Что от тысячелетий сохранило

Лишь крепость дивную да ароматность

И стало черным и густым, как деготь.

А женщины! Но здесь остановлюсь,

Затем что я принадлежу к священству —

Скажу одно: когда ты сдержишь клятву,

Ты будешь самым стойким из людей,

И мы пошлем тебя тогда не только

В Аравию, а в Индию и даже

К великому и славному Китаю.

(Выходит. Входит Зоя).

Сцена вторая

(Имр и Зоя)

Зоя

Скажи, не ты ли мой учитель новый,

Прибывший с юга, чтоб меня наставить

В дидактике и тайных свойствах трав?

Имр

Ты, девушка, ошиблась, я другому

Тебя сумел бы лучше научить:

Подкрадываться к вражескому дому

И факел тлеющий в траве влачить;

На белого, как молоко, верблюда

Вскочив, часами пожирать пески,

Да в бухте Джедды у морского уда

Ударом ловким выпустить кишки.

Я б страсти научил тебя беспечной,

Да песням об истоме милых глаз

И радости ночной, но их, конечно,

И пела и слыхала ты не раз.

Зоя

Ах, кроме наставлений и обеден,

Я ничего не слышала, ты первый

Заговорил со мною о любви.

Имр

Как, и тебя еще не целовали,

И никого не целовала ты?

Зоя

Я целовала гладкие каменья,

Которые выбрасывало море,

Я целовала лепестки жасмина,

Который вырос под моим окошком.

Когда мне становилось очень больно,

Тогда свои я целовала руки,

Меня ж с тех пор, как мать моя скончалась,

Никто ни разу не поцеловал.

Имр

Но сколько лет тебе?

Зоя

Уже тринадцать.

Имр

У нас в твои лета выходят замуж

Или любовников заводят. Помню

Одну мою любовь я...

Зоя

Расскажи!

Имр

Плеяды в небе, как на женском платье

Алмазы, были полными огня,

Дозорами ее бродили братья

И каждый мыслил умертвить меня.

А я прокрался к ней подобно змею.

Она уже разделась, чтобы лечь,
И молвила: «Не буду я твоею,
Зачем не хочешь ты открытых встреч?»
Но всё ж пошла со мною, мы влачили
Цветную ткань, чтоб замести следы.
Так мы пришли туда, где белых лилий
Вставали чаши посреди воды.
Там голову ее я взял руками,
Она руками стан мой обвила.
Как жарок рот ее, с ее грудями
Сравнятся блеском только зеркала,
Глаза пугливы, как глаза газели,
Стоящей над детенышем своим,
И запах мускуса в моей постели,
Дурманящий, с тех пор неистребим.
...Но что с тобою? Почему ты плачешь?

Зоя

Оставь меня, ведь мне не говорили,
Что у меня глаза, как у газели,
Что жарок рот мой, что с моею грудью
Сравнятся блеском только зеркала!

Имр

Клянусь, со дня, когда я стал мужчиной,
Я не встречал еще таких, как ты,
Я не видал еще такой невинной,
Такой победоносной красоты.
Я клятву дал и изменить не смею,
Но ты огнем прошла в моей судьбе,
Уже не можешь ты не быть моею,
Я отомщу и возвращусь к тебе.

Зоя

Не знаешь ты, кто я.

Имр

Останься всё же.

Пусть ты из Рима, я ж простой араб,

Но это не препятствие... быть может,

Отец твой слишком знатен, он сатрап?

Так знай...

Зоя

Я — Зоя, дочь Юстиниана,

(Имр выпускает ее. Зоя выходит. Входит Феодора).

Сцена третья

(Имр и Феодора)

Феодора

Вот это хорошо! Теперь я знаю,

Зачем приехал ты в Константинополь,

Лирический поэт, ужасный мститель,

Надменно давший клятву воздержанья.

Мы всем должны служить тебе, ты просишь

И войска, и девичьих поцелуев.

Что ж ты молчишь? Ответь! Куда речистей.

Ты с падчерицей был моей сейчас.

Имр

И стены здесь имеют уши. Детям

Известно это, я же позабыл

И вот молчу, затем что перед этим,

Быть может, слишком много, говорил.

Феодора

Напрасно! Я тебе не враг, я даже

Тебе забавную открою новость,

Что Зоя мной просватана недавно

За Трапезондского царя. Доволен?

Имр

Я, госпожа, не весел и не грустен:

О дочери ли Кесаря помыслить

Осмелится кочующий араб?

Феодора

Быть может, данная тобою клятва

Негаданно приглась тебе по нраву,

Быть может, перестал ты быть мужчиной,

И женских ласк твое не хочет тело?

Имр

Когда о женщине я вспомню вдруг,

Мне кажется, меня как будто душат,

В глазах темно, в ушах неясный звук,

И сердце бьется медленней и глуше.

Феодора

Так в чем же дело? Трапезондский царь,

Конечно, полководец знаменитый,

Правитель мудрый и любовник нежный,

Но с Зоєю он так всегда застенчив,

Как будто он, а не она, невеста.

А девушкам, ты сам отлично знаешь,

По песне судя, нравится другое.

Имр

Ужели, госпожа, сказать ты хочешь,

Что в жены мне дадут царевну Зою?

Феодора

Ну нет, не в жены, что ты перед ней?

А так! И я, пожалуй, помогла бы.

Здесь во дворце пустых немало комнат

С бухарскими и смирнскими коврами,

В саду лужаек с мягкой травой,

Стеной прикрытых от нескромных взглядов,

А у тебя и голод по объятьям,

И стройный стан, и холеные руки,

Певучий говор, пышные сравненья,

Неотразимые для сердца дев.

Ну что ж, согласен?

Имр

Госпожа, я вижу.

Что хочешь ты испытывать меня.

Феодора

Я так и знала, ты мне не поверил,

Но так как ты мне нужен, я открою

Тебе причину замыслов моих.

Однажды эта дерзкая девчонка,

Когда ее ударила я плеткой,

Вдруг побледнела, выпрямилась гордо

И назвала в присутствии служанок

Меня, императрицу Византии,

Александрийской уличной блудницей,

А я на трон не для того вступила,

Чтобы прощать такие оскорбления.

Пускай она окажется сама

Блудницею, и Трапезондский царь

Откажет опозоренной невесте!

Имр

Прости мне, госпожа моя: с тех пор,

Как я пленяю дев моим напевом,

Моя любовь не горе и позор,

А мир и радость приносила девам.

Феодора

Да страсть твоя, как новое вино,

Шипит и пенится, а толку мало,

Но подождем, и станет молчаливой

Она и пьяной, как вино подвалов.

Пока же помни: Трапезондский царь,

Едва вернувшись, станет мужем Зои,

Он девичий ее развяжет пояс,

Он грудь ее откроет и коснется

Ее колен горячими губами...

А ты, ты будешь здесь один скитаться

Просителем угрюмым и докучным.

(Уходит. Входит царь Трапезонда).

Сцена четвертая

(Имр и Трапезондский Царь)

Царь

Скажи, ты не видал царевны Зои?

Царевна Зоя здесь не проходила?

Имр

Я во дворце сегодня только, даже

И твоего я имени не знаю,

О, господин!

Царь

Я Трапезондский царь!

Ты удивлен?

Имр

Царевны я не видел.

Царь

Хвала Марии! Как людское сердце

Необъяснимо: вдалеке от милой

Мне кажется, что принял бы я казнь

За звук шагов ее, за шорох платья,

Когда же наступает миг свиданья,

То радуюсь я каждой проволочке.

Имр (про себя)

Так вот они, блаженные те руки,

Большие, сильные, как у героя,

Так вот они, те жаждущие губы,

Как солнцем озаряемые смехом,

Ведь мне о них шептала Феодора!

Царь

А ты здесь для чего? Не понимаю,

Зачем вас всех так тянет в Византию

От моря, от пустынь широких, в эти

Унылые, чужие вам дворцы!

Когда б не Зоя, разве бы я кинул

Мой маленький, мой несравненный город

С его чудесной сетью узких улиц,

От берега и к берегу бегущих,

С единственной площадью, где часто

Я суд творю под вековым платаном.

Скажи, зачем ты здесь?

Имр

Отец убит.

Я должен мстить, я думаю, что Кесарь

Мне войско даст.

Царь

Вот это речь мужчины!

Мне нравится, когда звенит оружие,

Тогда и взоры делаются ярче,

И кровь стремительней бежит по венам.

Дай руку мне, тебе я помогу.

Имр

Нет, я не дам руки, мы, люди юга,

Не византийцы, не умеем лгать

И веруем, что достоянье друга

Украсть позорно и грешно отнять.

Царь

А что ты у меня отнять собрался?

Ведь я не император Византии,

В моей сокровищнице не найдешь

Ни золота, ни редкостных мозаик,

Там только панцирь моего отца,
Сработанные матерью одежды,
Да крест, которым наш апостол Павел
Народ мой в христианство обратил.
Иль ты о городе моем помыслил?
Там жители, когда родился я,
С моим отцом неделю пировали,
Я с их детьми играл еще ребенком,
Там каждый и зубами и когтями
За своего заступится царя.
Что у меня еще есть? Только слава.
Я ею рад с тобою поделиться!
Тоги, как я, в шумящем грозно Понте
Славянские раскрашенные струги,
В горах Кавказа, над обрывом черным,
С одною пикой выходи на тура,
Тогда со мной сравнишься? Я сказал!

Сцена пятая

(Евнух и Юстиниан)

Евнух (входя)

Сам Кесарь.

(Имр и Царь скрываются. Входит Юстиниан).

Юстиниан

Прибыли послы из Рима?

Евнух

Вчера, порфирородный.

Юстиниан

И письмо

Доставили?

Евнух

Им был прием недобрый

Оказан.

Юстиниан

Так и знал я! Этот Рим,

Гордясь своей языческого славой,

Понять не хочет, что отныне солнце

Для всей земли один Константинополь.

А что собор святой Софии?

Евнух

Нынче

Еще одна воздвигнута колонна,

И главный мастер слышал серафимов,

Ликующих и сладостно поющих.

Юстиниан

Пятьсот червонцев выдать! Боже, Боже,

Ужели я когда-нибудь войду

В сей храм достроенный и на коленях,

Раб нерадивый, дам Тебе отчет

Во всём, что сделал и чего не сделал?

Миропомазанья великой тайной

Ты приказал мне царский труд, желая,

Чтоб мир стал храмом и над ним повисла,

Как купол, императорская власть,

Твоим крестом увенчанная, Боже,

И я ль Тебя в великий час предам?

(Евнуху)

До этих пор не кончена туника?

Евнух

Для Трапезондского царя?

Юстиниан

Ну да!

Евнух

Осталось вышить золотом корону,

И я клянусь, такой тунки брачной

Ни на одном не видели царе.

Юстиниан

Ты на три дня ее положишь в яд.

Тебе секрет известен?

Евнух

Государь!

Юстиниан

В чем дело?

Евнух

Я смущен: так, значит, свадьбы

Не будет?

Юстиниан

Почему ты так решаешь?

Евнух

А скорбь невесты?

Юстиниан

Что девичьи слезы

Пред пользой государства! Трапезонд

Приморский город и весьма торговый,

Он должен быть моим, он ключ к Кавказу.

Я не люблю войны, когда возможно

Устроить дело без пролитья крови.

Пусть Зоя унаследует его,

Дочерней волей управлять я буду,

Еще одной жемчужиной бесценной

Украсится корона Византии.

Евнух

Я понял, государь! Ты мудр и благ.

Действие второе

Сцена первая

(Юстиниан, Трапезондский Царь, Евнух)

Юстиниан

Наш милый сын, тебя мы снова видим

Вернувшимся из дальнего похода.

Императрица будет очень рада,

И кто-то будет рад еще сильнее.

Царь

Как мне благодарить тебя за эти

Слова таинственные для меня?

О, государь, враги твои разбиты,

Болгарские рассеяны полки.

Юстиниан

Я знаю.

Царь

Как ты можешь знать об этом?

Я прибыл первым из всего отряда.

Юстиниан

Ведь ты там был, и этого довольно,

Еще ни разу весть о пораженьи

Из уст твоих не долетала к нам.

Евнух

Такая важная для нас победа,

С такой достигнутая быстротой,

Освобождая наши легионы,

Порфирородный, изменить должна

Течение дел. Весть новая в докладе.

Юстиниан

Так начинай его. Ты, милый сын,

Прислушайся, ты был досель рукою,
Державшей крепкий византийский меч,
Но день придет, и будешь головою,
Надевшей императорский венец.
Я слушаю.

Евнух

К нам с юга прибыл странник.
Раздор в Аравии, там брат на брата,
Сын на отца, и странник утверждает,
Что, если в Византии он найдет
Одиннадцать-двенадцать тысяч войска,
То он к твоим ногам положит
Убийством утомленную страну.
Юстиниан

Ну, милый сын, что ты на это скажешь?

Царь

Просителя я видел, он по нраву
Пришелся мне и взором ястребиным,
И грудью крепкой, словно медный щит.
Со мной он говорил немного странно,
Но я его простил. О, мой отец,
Ты мне позволишь так назвать тебя,
Пошли в Аравию свои дружины,
Пусть он их поведет и пусть на месте
Сожженного родимого селенья
Он город выстроит себе высокий
С фонтанами, садами и дворцами.
Я нынче слишком счастлив и хочу,
Чтоб были счастливы другие тоже.
Юстиниан

Нет, вижу я, не юношам влюбленным
Решать дела державного правленья.
Быть может, этот странник и умеет
Водить войска, одерживать победы,

Прославить императорское имя,
Но кто, скажи, нам может поручиться,
Что после не пробудится в нем кровь,
Кровь дикаря, влюбленного в свободу,
Считающего рабство униженьем,
И что победу он не обратит
На выгоду своей страны, не нашей?
Нет, сын мой, византийские полки
Вождя иного, лучшего достойны.
Ты поведешь их, вечный победитель,
Муж дочери моей любимой, Зои.
На завтра свадьба, и в поход с собой
Ты увезешь и юную царицу,
А свадебный подарок мой, тунику,
Которая доселе не готова,
Возьмешь по окончании похода.
Евнух

Но этот странник хочет мести. Он,
Забытый нами, может быть опасен.
Юстиниан

Тогда пускай он остается здесь
Заложником под стражею, на случай
Какой-нибудь неведомой измены.
(Юстиниан и Евнух уходят. Входит Зоя).

Сцена вторая

(Царь и Зоя)

Царь

Царевна, мне сказали, ты согласна
Со мной увидеться... но, может быть,
Неправда это? Я уйду...

Зоя

Останься!

Царь (смотря в окно)

Широкий ветер сбил буграми пену,
Босфор весь белый... Как бы мне хотелось
Теперь уехать далеко.

Зоя

Куда?

Царь

Не знаю! Я ещё страны не видел,
Где б звонкой птицей, розовым кустом
Неведомое счастье промелькнуло.
Я ждал его за каждым перекрестком,
За каждой тучкой, выбежавшей в небо,
И видел лишь насмешливые скалы,
Да ясные, бесчувственные звезды.

А знаю я — о, как я это знаю! —

Что есть такие страны на земле,
Где человек не ходит, а танцует,
Не знает боли милая любовь.

Зоя

А разве, если любишь, больно?

Царь

Да.

Зоя

А если на небе горят Плеяды,
Как украшения на женском платье?
А если чаши влажных белых лилий
Виденьями поднялись из воды?

Царь

Не знаю, что ты говоришь.

Зоя

И я

Не знаю... мне приснилось это...

Царь

Зоя!

Уедем вместе, здесь мне душно, Зоя

Здесь люди хмурятся, хотят чего-то

И говорят не об одной любви.

Да и твоим глазам должно быть больно

Всегда смотреть на яшмовые стены,

И холодно от мрамора ногам.

Зоя

А ты умеешь ездить на верблюде?

Умеешь убивать морских чудовиц?

Ко мне пробраться можешь, словно змей,

Когда кругом дозором ходят братья?

Царь

Нет братьев у тебя.

Зоя

А ты мне скажешь,

Что у меня глаза, как у газели,

Что жарок рот мой, что с моею грудью

Сравнятся блеском только зеркала?

Царь

Араб! Ответь, ты видела араба?

Пришелец хмурый говорил с тобой?

О, да, я знаю, что слова такие

Лишь он единый мог сказать тебе!

Вот ты дрожишь, как пойманная птица,

И смерть в моей душе... О, Зоя, Зоя,

Молю тебя, ответь мне только правду,

Скажи, что он не говорил с тобой!

Зоя

Ах, я не знаю, с кем я говорила:

Высокий, он казался мне виденьем,

Его глаза светились словно звезды,

Его уста краснели словно роза,

А речь звучала, как биенье сердца.

Царь

Не правда ли, земли он не касался

Ногой, и за спиной дрожали крылья?

Зоя

Мне кажется, что да.

Царь

Так-то был ангел!

Ведь ты святая, Зоя, и, конечно,

Слетают небожители к тебе.

Как ты бледна! Мне нестерпимо видеть

Тебя такой, в свою опочивальню

Вернись скорей и между часословов,

Цветов и ангелов, на чистом ложе,

Вкуси покой; но прежде, умоляю,

Прости меня.

Зоя

Мне незачем прощать.

(Уходит. Входит Феодора).

Сцена третья

(Царь и Феодора)

Царь

Императрица!

Феодора

Я искала Зою,

Я думала, ты с нею говоришь.

Царь

Царевна утомилась разговором

И только что покинула меня.

Феодора

Так, так! Уже до свадьбы утомляешь

Невесту ты, любовник несравненный!

Скажи, о чем же говорил ты с Зоей?

Царь

Прости, императрица, но мне больно

Услышать это трепетное имя

Из уст, которые не сознают

Всего чудесного, что в нем сокрыто.

Феодора

Ко мне несправедлив ты, я люблю

И Зою и тебя любовью нежной.

Царь

Ни я твоей не чувствую любви,

Ни Зоя. Разве ты мне говорила

О дивной прелести ее, о неге

Ее правдивых глаз и смелых губ,

Об ангелах, какие к ней приходят?

Феодора

А что, день свадьбы Кесарем назначен?

Царь

На завтра.

Феодора

Ну, я рада за тебя!

Об ангелах я, право, не слыхала,

А о других... да что и говорить!

Царь

Императрица, ни царевны Зои,

Ни сердца полного любовью к ней

Такою речью ты смутить не можешь.

Феодора

Смутить? Но есть ли что-нибудь дурное

В том, что с арабом повстречалась Зоя,

Наслушалась певучих небылиц?

Царь

С арабом?

Феодора

Да, и он ей пел так сладко

О чудищах морских и о верблюдах

И о своих любовных приключеньях,

И, кажется, хотел поцеловать.

Но Зоя не позволила, конечно.

Царь

С арабом! Так она мне солгала!

Феодора

Как ты ревнив! Подумай, это странник,

Несчастный нищий, ты же царь, хоть, правда

Красив он и красивее тебя.

Он может сердце девичье встревожить

Речами хитрыми, присниться ночью

Сияющим, как ангел золотой,

Заставить плакать и бледнеть от страсти;

Но девушка разумная не станет

Любить неведомого пришлеца.

Царь

Оставь меня теперь, ты слишком больно

Мне сделала, и все ж я верю в Зою,

Я умер бы, когда б не верил ей.

Но тот араб мое узнает мщенье,

Ему бы лучше было не родиться...

Феодора

Смотри, он входит. Сделай, что сказал!

(Входит Имр).

Сцена четвертая

(Те же и Имр)

Имр

Ага, ты здесь, я требую, ответь!

Ты отправляешься вождем к отряду?

Мне евнух все открыл. Ты мог посметь!

Украл мою последнюю отраду!

Царь

Ты с Зоей говорил наедине,

А мне сказал, что ты ее не видел!

Я думал, что ты тигр, а ты гиена,

Прикрытая тигриной пестрой шкурой.

Имр

Ты низкий вор, а упрекаешь сам,

У нищего ты отнял корку хлеба.

Ты думаешь, что так я и отдам

То мщенье, что я выпросил у неба?

Царь

Нечистыми губами ты шептал

Слова нечистые царевне Зое,

И эти наглые глаза, смотрели

В безгрешные, как рай, ее глаза.

Имр

Несчастливая Аравия моя,

Ужель я сделаня твоей бедою?

Бальзам для язв твоих готовил я,

А он, чужой, что сделает с тобою?

Царь

Я разорю дотла твою страну,

Колодцы все засыплю, срю стены,

Я вырублю оазисы, и люди

Названье самое ее забудут!

А ты, ты будешь гнить в цепях, в тюрьме,

Ты даже старцем из нее не выйдешь.

За корку черствую, что раз в неделю

Тебе дадут, меня благословишь.

(Имр выхватывает нож и бросается, на него. Борются. Царь одолевает и овладевает ножом).

Имр

Убей меня скорей!

Царь

Убить тебя?

Я низкой кровью рук не запятнаю,

Я убиваю только благородных.

Феодора

Нам дан закон не отомщать обиды,

Припомни, царь, что ты христианин.

Царь

Да, как сказал я, так и будет! Стража

Его сегодня ж вечером возьмет.

Таким, как он, не место на свободе,

Где солнце светит, где дела свершают

Великие, и девушки проходят

Подобные моей невесте Зое.

Действие третье

Сцена первая

(Юстиниан и Феодора)

Феодора

Возлюбленный мой Кесарь, значит завтра

Царь Трапезондский и царица Зоя

Венчаются, а мстительный араб

Не войско получает, а оковы?

Я рада, только мне порою больно,

Что узнаю я о твоих решениях

Не из твоих спокойных, строгих губ,

В глухих ночах целованных так много,

А лишь от евнуха, от приближенных

Да от болтливых, ветреных служанок.

Юстиниан

Ты знаешь, как стремился я найти

В тебе помощницу делам правленья,

Как верил я в тебя и как любил,

И как потом жестоко обманулся.

Ты не жена, ты женщина и только!

Пусть другие могут забывать,

Но я, я ничего не забываю.

Феодора

Ну вот, опять ты повторяешь басни,

В которые уже никто не верит.

Отец мой был сенатором бумаги

(Возьми их у хранителя печати,

В них нет подделки, что б ни говорили)

Доказывают это слишком явно.

Юстиниан

Мне всё равно, кто был твоим отцом,

Ведь я твой муж, и этого довольно!

О чем я говорю, ты догадалась?

Феодора

Все женщины такие ж.

Юстиниан

Нет, не все!

Мать Зои, словно лилия Господня,

Небесною сияла чистотой,

И Зоя ей подобна.

Феодора

Так араба

Под стражу?

Юстиниан

Да.

Феодора

Прости меня, прости!

Я десять лет была твоей женою,

И ты за эти десять лет не можешь

Меня, жестокий, упрекнуть ни в чем.

Юстиниан

Нечистой ты взошла ко мне на ложе.

Феодора

Нечистой, да! Но знаешь, почему?

Лишь потому, что я любила много

Тебя, мой Кесарь, мой орел державный.

Я девочкой мечтала о тебе

И прятала твое изображение.

Когда к ристалищу шел царский поезд,

Кто оторвал бы от окна меня?

Я подкупила твоего раба,

И он мне раз принес песку из сада,

Где вечерами ты бродил один,

О благе Византии размышляя.

Но годы шли, и закипала кровь

Во мне, и наконец я повстречала

Того, кто был и взглядом и осанкой

И даже голосом во всем подобен

Тебе, тебе... В народе говорили,

Что мать его покойный твой отец

Однажды ночью взял к себе на ложе.

Ты был далеким, чуждым, недоступным,

А он бледнел и таял от любви.

Я отдалась, но только раз, не больше.

Клянусь! И вскоре после умер он,

В Иллирии в твоих войсках сражаясь.

Юстиниан

Но после ты была в Александрии,

И слухи смутные идут о том.

Феодора

В Александрию к одному святому

Отшельнику мой духовник Панкратий

Послал меня замаливать мой грех.

Юстиниан

Есть поговорка старая, что, если

Подозревают женщину во лжи,

Всегда ее подозревают мало.

Феодора

Так прогони меня! Сними немедля

С меня мой сан. Что мне он без любви?

И пусть, как прежде, из окна я буду

За царским поездом твоим следить.

Ты изменился, я осталась та же,

Я — девочка, влюбленная в тебя.

Ударь меня и прогони.

Юстиниан (протягивая к ней руку)

Дитя!

Феодора (плача)

Ужели бы я так могла любить,

Когда б тебя я не любила нежно?

Ты ласков вновь со мной; забудем, хочешь,

Раздоры; ревность, будем жить для счастья

И нашего, и всей державы нашей,

Таинственно дарованной нам Богом.

Дай мне твой перстень, тот, которым можно

И отдавать повсюду приказанья,

И отменять их именем твоим.

Дай мне его залогом примиренья,

Как ты уж мне его давал когда-то

Любви залогом, и я буду верить,

Что я действительно твоя подруга.

(Понизив голос)

Я знаю всё, я рук твоих касаюсь,

И кровь, что греет их, мне шепчет тайны,

На грудь твою прилягу, и биенье

Мне сердца твоего, как речь, понятно.

Я знаю, что отравлена туника,

Туника Трапезондского царя,

Но не сужу тебя, а покоряюсь.

По мне, убей святого Патриарха

И манихейское восславь нечестье,

Я за тобой пойду повсюду, если

Я буду знать, что я близка тебе.

Юстиниан (отдает перстень)

Дитя, дитя.

Феодора

И уходи теперь.

В моей душе сейчас такое счастье,

Что я должна молиться.

Юстиниан

Я с тобою

Охотно тоже помолюсь.

Феодора

Ну, нет!

Ко мне придет игуменья святая,

И ей с мужчинами нельзя встречаться.

(За сценой шум)

Да вот она. Скорее уходи.

(Юстиниан уходит. Вбегает Имр, за ним Евнух)

Сцена вторая

(Феодора, Имр и Евнух)

Имр

О, госпожа, мне передал твой мальчик,

Что ожидаешь ты меня, и я

Явился, но старик безумный этот

Меня пытался заключить в оковы.

Я воина убил и вот я здесь...

Весь этот город полон вероломства...

Евнух

Императрица, Кесарь приказал,

И я исполнить должен; умоляю,

Войди к себе, чтобы твоим глазам

Не оскорбиться зрелищем насилья.

Феодора

Постой!

(Имру)

Скажи, ты что-нибудь решил?

Имр

Решил я с жизнью лишь продать свободу.

Феодора

Царь Трапезондский настоял в совете,

Чтоб ты был взят немедленно под стражу.

Имр

Царь Трапезондский! Я его убью.

Феодора

Убьешь? Но здесь не южная пустыня,

И наконец тебя сильнее он.

Евнух

Ну, что же, госпожа, сама ты видишь,

Что этот зверь опасен на свободе.

Молю тебя, позволь мне взять его.

Феодора

Постой еще мгновенье!

(Имру)

Разве кровью

Смываются подобные обиды?

Имр

А чем они смываются еще?

Евнух

Прости, я должен взять его.

Феодора

Вот перстень.

Ты знаешь, что обозначает он.

Араб не будет заключен в оковы,

Противны мне насилие и злоба,

Я исцелю евангельскою правдой

Его грехом взволнованную душу.

Оставь же нас теперь,

Евнух

Я повинуюсь.

(Уходит)

Сцена третья

(Феодора и Имр)

Феодора

Теперь ты веришь, что во мне найдешь

Надежную заступницу?

Имр

Я верю,

Что льву всегда сопутствует гиена.

Феодора

Ты волен оскорблять меня, с арабом

Мне не к чему хранить величье сана.

Имр

Веди меня, учи меня, я твой.

Феодора

О чем ты говоришь со мной?

Имр

Зое?

Я до сих пор забыть ее не мог,

О ней я вспоминаю неустанно,

Так маленький, так красный огонек

Лизнет, исчезнет, а на теле рана.

Феодора

Не понял ты, что я с тобой шутила,

Не обольщают кесареву дочь.

Имр

Так я один найду свою дорогу.

Прощай?

Феодора

Постой, куда ты, так нельзя!

Ведь глупостей наделаешь ты столько,

Что не поправить их и во сто лет.

Но всё ж мне нравится твоя горячность,

Арабская, бунтующая кровь.

Когда б я не была императрицей,

То я б тебя наверно полюбила.

Имр

Прощай, к чему слова пустые эти?

Феодора

А вот к чему: быть может, надлежит

Преступные намеренья оставить

И Зою пощадить. Она невеста

И любит Трапезондского царя.

Имр

Царевна любит?

Феодора

Кажется, они

Уже близки. Она, по крайней мере,

Твои слова поведала ему,

Как хвастал ты, как унижался после,

И он сердился, а она смеялась.

Имр

Хитришь, императрица, ясно вижу,

Что ты хитрить. Обманывай других,

Детей и стариков, в тебя влюбленных,

Сановников лукаво-раболепных,

Но не меня, бродягу из пустыни,

Который верит только облакам,

Да самому себе, да спетой песне.

Ты хочешь страсть мою разжечь? Напрасно!

Она и так горит лесным пожаром,

И я теперь, как тетива у лука,

Натянутая мощною рукой.

Я раз переменял мое решенье

И не могу в другой переменить.

Феодора

Ты нравишься мне, право, я с тобою

Могу не прятаться и не лукавить.

Твоя душа черней беззвездной ночи,

Любовникам и ведьмам дорогой...

Что, если бы тебя я полюбила?

Имр

Предай мне Зою.

Феодора

Правда. Надо мстить

Обоим нам, и я императрица.

Пока уйди и стань за этой дверью,

Сейчас войдет сюда царица Зоя,

Я с нею буду говорить, как мать

Журить ее, и ты войдешь, когда

Увидишь, что ее я покидаю.

(Имр уходит. Входит Зоя, за нею Царь Трапезондский)

Сцена четвертая

(Феодора, Царь и Зоя)

Феодора

Ты, Зоя?

Зоя

Да, императрица.

Феодора

Как —

И ты?

Царь

Да, я. Ты, кажется, смугилась?

Феодора

Я тронута.

Царь

Не время для насмешек.

Теперь я всюду чувствую опасность

Не для себя, а для царевны Зои,

Ее не кину я ни на минуту

И даже ночью стану я с мечом

Перед дверьми в ее опочивальню.

Феодора (Зое)

И ты на это согласилась?

Зоя

Да.

Феодора (Царю)

Какую нее ты чувствуешь опасность?

Царь

Везде опасность чистым там, где ты.

Феодора

Ты позабыл, что я императрица.

Царь

Я ничего не позабыл, я знаю,

Что там, где ты — измена и насилье,

Удары потаенные кинжалом

И яд, и раскаленное железо,

Которым выжигаются глаза.

Араб еще не заключен под стражу?

Феодора

А что тебе за дело до араба?

Царь

Ты думаешь, что эхо этих зал

Тебе одной рассказывает тайны?

Царевну ты назначила арабу,

Ты разжигаешь в нем и страсть и месть,

Он точно тигр, почуявший добычу,

Но я могу смирить, императрица,

И тигра, и ползучую змею.

Феодора

Так вот она, хваленая твоя

И царственная кровь, вот доблесть сердца.

И Зоя соглашается с тобой?

Так кто ж она: царевна, для которой

Господь на небе жениха наметил,

Или блудница, и прохожий каждый

Ее унизит или оскорбит?

За чистую ее я принимала

До этих пор...

Царь

Клянусь, она права...

Феодора

Так, значит, вечно будешь ты стоять

С мечом перед ее опочивальней,

Подслушивать, выслеживать, таиться,

То верить, то опять подозревать.

Ты позабудешь дальние походы,

Ты перестанешь управлять страной.

И будут дни твои полны горче,

И будут ночи как мученья ада.

Царь

Клянусь, она права! Царевна, ты

Как думаешь?

Зоя

Не знаю.

Феодора

Разве Зоя,

Униженная вечным подозреньем,

Не будет чувствовать себя в тюрьме

И наконец однажды не помыслит —

Быть может, я действительно такая?

А что тогда — ты знаешь.

Царь

Нет, довольно.

Теперь хочу я даже, чтобы к Зое

Слетались диким роем искушенья,

Я вижу, вижу, как она пройдет

Средь них, окружена покровом света

И, чистая, их даже не заметит.

Феодора

И ты уйдешь со мной, оставя Зою

Наедине с твоим врагом смертельным?

Царь

Царевна, ты оценишь подвиг мой.

Зоя

Не уходи. Мне хорошо и страшно.

Я слышу будто звон далеких арф

Бесчисленных и ветер слишком знойный

И слишком пряный... я — как облака,

Что тают в полдень в небе просветленном,

И я не знаю что со мной такое.

Феодора

Как сильно ты любим. Я вспоминаю,

Внимая ей, мои мечты девичьи.

Ужель ты сомневаешься еще?

Тогда ее ты, право, не достоин.

Царь

Достойн я и ухожу. Царевна,

Ты для меня Святых Даров святей.

Христос улыбкой светлой улыбнется,

Когда ты в белый рай его войдешь.

(Феодора и Царь уходят. Входит Имр).

Сцена пятая

(Имр и Зоя)

Зоя

Не подходи ко мне, не подходи,

Молю тебя, не говори не слова,

Что мне до странной родины твоей

И до судьбы твоей, такой печальной.

Я дома твоего не разоряла,

Я только видела тебя во сне.

Имр

Царевна!

Зоя

Нет, молчи, молчи, молчи.

Твой голос мне напоминает что-то,

О чем давно должна я позабыть.

Имр

Мой дом сожжен, от моего народа

Осталась только кучка беглецов,

И ты, и ты, чьи губы слаще меда,

Становишься среди моих врагов.

Я ухожу.

(Подходит ближе)

Зоя

Но ты хотел уехать,

Ты мстить хотел, рассказывали мне.

Имр

Я не увижу ни морей, ни степи,

Царь Трапезондский поведет отряд,

Он твой жених, а мне тюрьма и цепи

За то, что я поймал один твой взгляд.

Зоя

Так, значит, я виновна пред тобой?

Имр

Да, ты! И этой силою любовной,

И страшною своею красотой,

И телом ослепительным — виновна.

Зоя

Молчи, молчи, я о словах таких

Мечтала слишком долго и напрасно.

Зачем приходишь ты смущать меня

Своей печалью, красотой и страстью?

Имр

Что клятвы, мною данные? Пути,

Ведущие меня в мои владенья?

Но я в тебе одной могу найти

Небесного замену наслажденья.

Зоя

Уйди, уйди, тебя я не люблю

И никогда тебя не полюблю я.

Ты слишком страшен, и твои слова

Меня палят, а не внушают нежность.

Имр (обнимая ее)

Нежна ль орлица к своему орлу,

Когда их брак свершается за тучей?

Нет, глаз твоих томительную мглу

Пронижет страсть, как молнией летучей.

Зоя

Но я невеста, знаешь ты о том

Я не себе принадлежу, другому.

Подумай, я же кесарева дочь,

Наследница державной Византии...

Но ты совсем не слушаешь меня,

И все мои слова и возраженья,

Едва сказав, сама я забываю...

О, почему так отступили стены,

Зачем здесь небо, залитое светом;

Широкими, горячими лучами?

Я только тучка, ты же ветер вольный,

По прихоти играющий со мною.

Вот ангел наклонился и глядит,

Хранитель мой и детских игр товарищ..

Зачем он грустен?.. Милый, милый ангел,

Я только тучка, мне легко и сладко.

(Имр уносит ее).

Действие четвертое

Сцена первая

(Имр и Евнух)

Евнух

Ну, как ты нынче спал на новом месте.

В покое, отведенном для тебя?

Не правда ли, тебе казалось странным,

Что не было с тобой твоей арабки,

Постель не пахнула верблюжьим потом,

И не ревели за окном гиены?

Имр

Вся ночь в виденьях странных и чудесных,

Всю ночь душа на дыбе палачей.

Орел кружился в высях неизвестных,

И клекот был — как стук стальных мечей.

Но часто прорывался в грохот стали

Пронзительный и безутешный плач,

И молнии какие-то блистали...

И плач... и сердце прыгало как мяч.

Был темный стыд, как смерть неотвратимый,

Который горше смерти тяготит...

Вослед за женщиной, такой любимой,

По темным переулкам крался стыд.

Проснулся... Утро было слишком ясно,

И розами был воздух напоен.

Но знаю я, что снился не напрасно

Ужасный и прекрасный этот сон.

Евнух

Конечно, не напрасно: до полудня

По повелению императрицы

Свободен ты, а после заключенье,

Где не увидишь ты ни роз, ни солнца.

Я кесарев приказ исполнить должен.

Имр

О, случай, всемогущий, как природа,

Порхающий по воле здесь и там,

Не для себя иль своего народа

Я падаю теперь к твоим стопам,

А лишь для той, что молнией летучей

Во мне зажгла томительную страсть,

Лишь для нее, плясун веселый, случай,

Яви свою божественную власть.

Евнух

Как ты забавно молишься. Люблю
И я сплетенья силлогизмов тонких.

В Египте это общая забава,
Там греки, финикияне, арабы,
При помощи логических фигур,
Геометрических сопоставлений
Творят еще неслыханные веры,
Которые живут, как мотыльки,
Лишь день один, но все-таки пленяют.
Скажи, ты не был там?

Имр

В Александрии
Я жил пятнадцать лет тому назад.

Евнух

Как раз когда была там Феодора.

Имр

Какая?

Евнух

Неужели ты не знаешь,
Что так зовут императрицу нашу?

Имр

Как, Феодора? С кудрями как смоль,
С горячим ртом и легкими ногами,
Белее, чем кедровые орешки,
Освобожденные от скорлупы?

Ха, ха... Теперь спасен я!

Евнух

Ты не мог
С ней встретиться, она жила в пустыне,
Там некий старец наставлял ее

В искусстве покаянья и молитвы:

А ты наверно пировал в дворцах

Купцов богатых и центурионов,

Бывал на играх и звериных травлях,

Да посещал языческие школы.

Однако, скоро полдень, нам пора.

К тому же, в этот час императрица

Бывает здесь.

Имр

Ее то мне и надо.

(Набрасывается на Евнуха, валит его, завязывает ему голову его же одеждой, потом, выпрямляется и ждет).

Сцена вторая

(Имр и Феодора)

Феодора (входя)

Ты здесь еще?

Имр

Я здесь, императрица,

Благодарить тебя и день назначить

Венчанья моего с царевной Зоей.

Феодора

Ты помешался, бедный человек.

Имр (продолжая)

И попросить еще, чтобы в поход

Был я, не Трапезондский царь, отправлен.

Феодора

Но почему ты до сих пор не взят

Под стражу? Где ленивый этот евнух?

Имр (указывая на лежащего).

Он здесь, императрица, связан мною

За скучную назойливость свою.

Феодора

Ужель осмелился, безродный нищий,

Ты нашего сановника связать?

Нет, это слишком... кто там? Стража, слуги,

Сюда, сюда, на помощь!

Имр

Феодора,

Что, родинка твоя под левой грудью

По прежнему похожа на мышонка?

Феодора

Что говоришь ты?

Имр

Видишь этот шрам?

Ты помнишь, как меня ты укусила

В Александрии теплой, лунной ночью,

Когда ты танцевала перед нами,

И я тебе мой бросил кошелек

С алмазами, не с золотом? Ты помнишь?

Феодора

Ты? Ты тот Имр? Какое наважденье!

Но почему ты здесь? Постой, ты знаешь,

Что я тебя любила одного?

Имр

Ну нет, не одного! В Александрии

Твоей любовью многие хвалились.

Феодора

Я до тебя не знала наслажденья,

Я отдавалась просто, как дитя...

О, как томит меня воспоминанье.

Скажи, еще меня ты любишь?

Имр

Нет.

Феодора

Да, знаю я, незрелая девчонка

С печальным ртом, огромными глазами

Тебе дороже... Так она погибнет!

Имр

Императрица, грустно жить в цепях.

Феодора

В цепях?

Имр

Да, если Кесарь всё узнает,

Ты думаешь, что он тебя простит?

Феодора

И ты решишься женщину предать,

С которой ты изведal наслажденье?

Имр

Я должен девушку спасти, с которой

Судьба моя навеки сплетена.

Феодора

Так что ж мне делать?

Имр

Только покориться.

И вор, столкнувший путника с моста,

Потом его вытаскивает сам,

Узнав в нем неожиданно знакомца.

Феодора

Ты отомстил, а я не отомстила.

Имр

Такая уж удача мне.

Феодора

Ну, что ж!

В моей груди опять забилося сердце

Без ненависти, без любви, а только

Послушное ударам медным бубна,

Стремительно взлетающим ногам,

Да стеблям рук, закинутых высоко.

Не правда ль, я не плохо танцевала?

Имр

Ну, в добрый час. Ты поняла меня.

Я уйду, но помни, Феодора,

Предательства со мной не удаются.

(Указывая на Евнуха)

А этого, быть может, умертвить?

Он слышал разговор наш.

Феодора

Нет, не стоит.

Он промолчит, он знает столько тайн,

Что уж они его не обольщают.

Но уноси его скорей. Вот Кесарь.

(Имр уносит Евнуха)

Сцена третья

(Феодора и Юстиниан)

Юстиниан (входя)

Кто был сейчас с тобой?

Феодора

Арабский странник.

Юстиниан

Но что он делал?

Феодора

Говорил со мной.

Юстиниан

Свободен он?

Феодора

По моему велению,

Вот этим подтвержденному кольцом.

Юстиниан (вырывая кольцо)

Назад, назад кольцо мое!

Феодора

Возьми,

Но только я как должно поступила,

Он был бы здесь опасен и в тюрьме.

Юстиниан

Кому опасен?

Феодора

Мне, одной лишь мне!

Юстиниан

Что ты сказала? Как? Он покушался

На жизнь твою?

Феодора

Ужели ты не видишь,

Как щеки у меня горят, как трудно

Мне говорить об этом пред тобой?

Мне стыдно! Ты меня ревнуешь только

К каким-то небывалым прегрешеньям,

А подлинной опасности не видишь.

Юстиниан

Его ты любишь? Отдалась ему?

Феодора

О, нет, когда б ему я отдалась,

Мне силы не хватило бы сознаться.

Юстиниан

Так в чем же дело?

Феодора

Мне уж тридцать лет,

А в эти годы к женщинам приходят

Еще неведомые искушенья.

Пускай его отправишь ты в тюрьму,

Я буду думать о тюрьме всечасно;

При каждом шорохе, при каждом звуке

Мне будет чудиться, что это цепи

Звенят на стройных, бронзовых ногах —

Убьешь его, и мука будет горше,

Он, мертвый, станет мне являться ночью,

Ласкать меня, и будут пахнуть тленом

Его мучительные поцелуи.

О, мой супруг, тебя любила я,

Как дивный жемчуг, как звезду Востока,

Как розу благовонную, а ты

Меня предашь лукавящему змию.

Юстиниан

Тебе я верю. Верю и всегда,

Когда себя ты обвиняешь...

Феодора

Кесарь,

Одно есть средство защитить меня

От мук и небывалого позора —

Отдай ему начальство над войсками.

Когда я буду знать, что счастлив он

И никогда назад не возвратится,

То страсть моя исчезнет, точно тень

От облака, растопленного солнцем.

Юстиниан

Но этот подвиг мною предназначен

Для Трапезондского царя, и легче

Отнять у льва голодного добычу,

Чем у такого воина поход.

Феодора

Об этом ты не беспокойся: Зое

Уговорить удастся жениха.

Юстиниан

А Зоя тут при чем? Ужель пришелец,

Как и тебя, ее околдовал?

Феодора

Мне тридцать лет, а ей всего тринадцать.

Подумай, что ты говоришь.

Юстиниан

Прости,

Я рад, что ты мне рассказала правду

И Зою защищаешь предо мной.

Да будет так!

Феодора

О, дивный, дивный Кесарь!

Меня ты спас, и я тебя люблю.

(Оба уходят. Входят Царь и Зоя)

Сцена четвертая

(Царь и Зоя)

Царь

Как хорошо мне, Зоя! Мы с тобою

Роднее стали, ближе. Есть о чем

Нам говорить. Араб? Он был испуган?

Он пред тобою преклонился?

Зоя

Да.

Царь

Что ты ему сказала?

Зоя

Я молчала.

Царь

А он?

Зоя

Молчал и он, лишь звезды пели

Так звонко в сонном небе, да крылатый

Склонялся ангел надо мной и плакал.

...Послушай: я любовница араба.

Царь

Не знаешь ты сама что говоришь.

Зоя

Я никогда тебя не уверяла,

Что я тебя люблю, так почему же

Так больно мне? Ведь ты меня простишь?

Царь

Царевна, не испытывай меня,

Не вынесу такого испытанья.

Зоя

Не мучь меня, не заставляй, чтоб вновь

Я страшное признание повторила.

Царь

Но как случилось это?

Зоя

Я любила.

Царь

Неведомого, нищего пришельца,

С гортанным голосом, с угрюмым взглядом,

С повадкой угрожающего зверя.

Без тени человеческой души?

Зоя

Не смеешь ты так говорить о нем!

Он нежен, точно знойный ветер с юга,

Его слова — как звоны лютни в сердце,

Которое один он понимает,

И царство, им утраченное, было

Исполнено таким великолепьем,

Какого не найдешь и в Византии,

Не только что в несчастном Трапезонде.

Царь

Прости меня! Я воин и забыл,

Что нет иного права, чем победа.

Зоя

Ты очень больно сделал мне, но все же

Тебе прощаю я за то, что ты

Поможешь мне. Зачем тебе поход?

И тик ты заслужив довольно славы

Пусть поведет в Аравию войска

Тот, для кого всего дороже мщенье,

Пусть он вернет и дом и трон отцовский,

Чтоб я его женою стать могла.

Царь

И ты меня об этом просишь?

Зоя

Разве

Меня совсем уже не любишь ты?

Царь

Я вспоминаю древнее преданье,

Которое, не помню где, я слышал,

Что женщина не только человек,

А кроткий ангел с демоном свирепым

Таинственно в ней оба совместились,

И с тем, кто дорог ей, она лишь ангел,

Лишь демон для того, кого не любит.

Зоя

Опять меня бранить ты начинаешь

И на вопрос не отвечаешь мой.

Царь

Какой вопрос?

Зоя

Поход ты уступаешь?

Царь

Еще об этом спрашиваешь ты?

Мой честный меч широкий и блестящий,

От взгляда моего он потускнеет,

И сильный конь мой выдержит едва ли

Меня с моей чудовищною болью...

Довольно! Пусть ведет поход кто хочет.

Зоя

О, как мне больно за тебя! Как-будто

Я в чем-то виновата пред тобой!

Я всё, я все отдам тебе, но только

Оставь мне радость и любовь мою.

Царь

Мне больше ничего не надо, Зоя.

Действие пятое

Сцена первая

(Имр и Зоя)

Имр

Царевна, радуйся, сейчас приказ

За императорской печатью прибыл;

Пятнадцать тысяч воинов: гоплитов,

Копейщиков и лучников, и готов

Уже готовы выступить в поход,

И я, и я их поведу, царевна.

Зоя

Ты Зоей звал меня недавно.

Имр

Да.

Прости, царевна, у ворот я видел

Коня огромного, как дикий слон,

И рыжего, как зарево пожара;

Он мой. Когда к нему я подошел,

Он на меня так злобно покосился.

На нем я и поеду во главе

В Аравии невиданного войска.

Зоя

Ты город свой вернешь, в твоём дворце,

Не правда ль, будут бить всегда фонтаны,

И перед ними заплетаться розы,

Большие точно голова ребенка?

И в роце пальмовой по вечерам,

Где будем мы бродить рука с рукою,

Не правда ль, птицы запоют такие,

Магические, синие как луны,

Что сердцу станет страшно, как тогда,

Когда меня понес ты, и не будет

Печальным больше мой хранитель, ангел?

Имр

Конечно! Только прежде разорю

Осиное гнездо Бену-Ассада.

Мне ведомо становище злодеев:

Копейщиков пуцу я по равнине,

Гоплиты будут слева за ручьем.

Когда Бену-Ассад войдет в ущелье,

С утесов лучники его осыпят

Стрелами оперенными, как градом,

А после все мои dokonчат готы,

С холодными, как их страна, глазами,

С руками крепче молотов кузнечных.

Зоя

И ты тогда за мной вернешься?

Имр

Да.

О, как я счастлив! Милый южный ветер,

Когда я шел сюда, лицо мне жег,

И волны горбились среди Босфора,

Те самые, быть может, что стучали

О камни Африки, когда смотрелись

В них пьяные ночным убийством львы.

Но ты грустна как будто?

Зоя

Ты уходишь,

И больно мне.

Имр

В твои ночные сны

Являться буду я окровавленным,

Но не своей, а вражескою кровью.

Я головы владык, мне ненавистных,

Обрубленные, за волосы взяв,

Показывать тебе с усмешкой буду,

И ты тогда поверишь, что недаром

К моей груди вчера припала ты.

Зоя

Но, может быть, ты и меня возьмешь

С собой, иль сам останешься на время?

Есть у меня враги.

Имр

Не бойся их!

И кто они? Царь Трапезондский — воин,

Так он не станет женщинам вредить.

Юстиниан? Ко он отец твой. Евнух?

Толстяк, который любит рассужденья.

Ах да! Императрица Феодора.

Но и она не может быть страшна,

Повыдергал я зубы у ехидны,

Я расскажу тебе о ней...

(Взглядывает в окно)

Но что там?

Войска проходят... Первая колонна

Уж грузится на первую галеру,

И я не там. Прощай. Пора идти.

Зоя

Еще одно мгновенье.

Имр

Вот гоплиты,

На солнце лиц их различить нельзя,

Так нестерпимо блещут их доспехи.

Иду.

Зоя

Один лишь поцелуй.

Имр

Вот готы.

(Уходит. Входит Феодора и стоит, незамеченная Зоей)

Сцена вторая

(Зоя и Феодора)

Зоя

Ушел... Как сон, увиденный под утро,

Ушел... И не поцеловал меня.

Теперь пред ним веселые дороги,

Оазисы, пустыни и моря,

И бой... А если он... Но нет, я верю,

Что это невозможно... Невредимым

Вернется он и увезет меня

К священным розам и фонтанам белым.

(Смотрит в окно).

Там воины проходят; я не знаю,

Как он, где лучники, а где гоплиты,

У всех у них обветренные лица

И поступь тяжкая, как будто шли

Они из Галлии без остановки

И думают до Индии дойти.

Они молчат, бегут за ними дети,

И женщины в изодранных одеждах

Их за руки хватают и целуют,

Как я... как я поцеловать хотела.

Их грозен облик, с плеч спадают шкуры

Медвежьи и тигриные, их руки

Как будто продолженье их мечей,

Но всё идут и глаз не опускают,
Глядят вперед уверенно и просто,
Как те, кому не следует стыдиться
Измен, предательства и вероломства.
Храните ж, воины, святую доблесть,
Начальника храните своего
И моего возлюбленного.

Феодора

Зоя!

Утешься, дочь моя, ведь твой жених
Остался, и сегодня ваша свадьба.

Зоя

Остался он?

Феодора

Войска повел араб.

Зоя

Так он уехал?

Феодора

Зоя, Зоя?

Царь Трапезондский ждет тебя во храме,
А ты — скажу ль? — тоскуешь по арабе.

Зоя

Имр-Эль Каис из Кинда — мой жених.

Я не хочу и не возьму другого.

Феодора

Про Имра я дурного не скажу...

Как про меня он говорит... Не так ли?

Молчишь?.. Ну, значит, так! Однако, царь

Тебе в мужья твоим отцом назначен,

А ты ведь знаешь нрав Юстиниана:

Он не захочет дать напрасно слово

Иль положить напрасно в яд тунику.

Зоя

Тунику в яд? Какую? Я не знаю!

Феодора

Тунику Трапезондского царя.

Зоя

Зачем?

Феодора

А лишь затем, что Трапезонд

Приморский город и весьма торговый,

И будешь ты царицей Трапезонда.

Зоя

Из-за меня? Убить того, кому

Уж я однажды сделала так больно,

И для кого я жизнь отдать готова,

Чтоб искупить вину мою?.. О, горе!

Феодора

Об этом ты поговори с отцом.

(Входит Юстиниан)

Сцена третья

(Те же и Юстиниан)

Юстиниан

Мне радостно вас видеть вместе. Мир

В семействе императора — прообраз

Священный государственного мира.

Феодора

Ну, если так, народ восстал и с ревом

Бежит по улицам и площадям,

Пылают зданья, рушатся дворцы,
Под стенами разбойники и волки
Довольные, ища добычи, бродят.
Царевна из твоей выходит воли.
Зоя

Отец, ужели брачная туника
Отравлена?
Юстиниан

Отравлена.
Зоя

Зачем?
Юстиниан

Зачем пылают молнии на небе,
Сжигая достоянье поселян,
Зачем бывают бури и самумы,
Бывают ядовитые цветы?
Дитя мое, законы государства,
Законы человеческой судьбы
Здесь на земле, которую Господь
Ведет дорогой неисповедимой,
Подобны тем, какие управляют
И тварью, и травой, и песчинкой.

Зоя

Я не хочу, чтоб умер мой жених!
Юстиниан

Казалось мне, что ты его не любишь.
Зоя

Я быть его женою не хочу,
Но если он умрет, и я погибну!
Юстиниан

Ты видишь Зоя, так же непонятны

Мне замыслы твои, твои желанья,

Как для тебя мои, затем и создал

Господь голубоглазую покорность

И веру ясную, чтоб люди жили

В согласьи там, где быть его не может...

Зоя

Отец, ты мудрый, знающий, ты Кесарь,

Помазанник Господень, для тебя

Пути добра и зла, страданья, счастья

Переплелись, ведут тебя ко славе,

Которую ты примешь в небесах,

Тогда как я, я — девочка и только!

Позволь мне доброй быть и быть счастливой?

Юстиниан

Дитя мое, для счастья твоего,

В котором я поклялся пред твоею

Покойной матерью, теперь святой,

От замыслов своих не отступлю я;

Но изменю их. Только злобный бык,

Неодолимую преграду встретив,

Себя калечит, в бой вступая с нею,

А мудрый стороной ее обходит

И достигает цели вожделенной.

Царь Трапезондский будет жить, и ты

Его женой не станешь. Пусть по сердцу

Перед тобой появится жених.

(Входит Евнух)

Сцена четвертая

(Те же и Евнух)

Евнух

Порфирородный! Горе! Горе! Горе!

Позволь мне лучше умертвить себя,

Чем появиться вестником несчастья

И затуманить взор царевны Зои!

Феодора

Опомнись! Скорбь не подобает тем

Что предстают перед лицом владыки.

Юстиниан

Владыка мира — тоже человек,

И грустному он не мешает плакать.

Скажи мне, что случилось?

Евнух

Повстречал

Я Трапезондского царя, когда

Из этой залы выходил он в полдень,

И хоть еще я не касался пищи,

Взял за руку меня он и повел

Осматривать собор Святой Софии.

Молчал он, только раз спросил меня,

Закопан ли по скифскому преданью

Под основаньем храма человек,

Чтобы незыблемо стояли стены

И трещины колонн не расщепляли;

Перекрестился я и отвечал,

Что это суеверье недостойно

Ни Императора, ни Византии.

Он усмехнулся краем губ и снова

На остальную замолчал дорогу,

Ты знаешь этот храм, порфирородный!

По узким, шатким лестницам, мосткам,

Среди лесов чудовищных, как ребра

Левиафана или Бегемота,

Мы поднялись туда, где мыслит зодчий

Из глиняных горшков поставите купол.

Мой спутник встал на страшной высоте

Лицом на юг, позолоченный солнцем,

Как некий дух, и начал говорить.

Я слушал, уцепившись за перила.

Он говорил о том, что этот город

И зданья, и дворцы, и мостовые,

Как все слова, желанья и раздумья,

Которые владеют человеком,

(Наследие живым от мертвецов,

Что два есть мира, меж собой неравных:

В одном, обширном, гении, герои,

Вселенную исполнившие славой,

А в малом — мы, их жалкие потомки,

Необходимости рабы и рока.

Потом сказал, что умереть не страшно,

Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь,

Раз умерли Мария и Христос,

И вдруг, произнеся Христово имя,

Ступил вперед, за край стены, где воздух

Пронизан был полуденным пыланьем...

И показалось мне, что он стоит

Над бездной, победив земную тяжесть;

В смятеньи страшном я закрыл глаза

На миг один, на половину мига,

Когда же вновь открыл их, пред собой —

О, горе! — никого я не увидел.

Как я спустился по мосткам, не помню.

Там, за стеной, уже шумели люди,

Толпясь над грудой мяса и костей

Без образа людского и подобья.

Суровы наши каменщики: их

Любимые забавы — бой звериный,

Кулачный бой и пьянство по ночам,

Но дрогнули обветренные лица,

В глазах угрюмых заблестели слезы,

Когда пред ними с плачем я воскликнул,

Что это тело — Трапезондский царь.

Они его любили за веселость

И за отвагу, и за красоту,

Как я его любил за дух высокий

И за уменье муку выносить.

И даже — расскажу ли? — я услышал,

Как кое-кто из них шептал проклятья,

Смотря на императорский дворец.

Они везде подозревают тайну.

Юстиниан

Немедленно расследовать события

И тех, кто это делал, задержать!

Мне жаль царя! Теперь за Трапезонд

Наверно Персия захочет спорить.

Зоя

Он умер, живший для меня. И я,

Да, только я одна — его убийца.

Юстиниан

Дитя мое, тоска о женихе

Тебя лишает, кажется, рассудка.

Зоя

Убийца! Я ведь видела, что он

Перед словами, сказанными мною,

Дрожал, как под ударами кинжалов

Разбойничьих несчастный пешеход.

И неужели я не понимала,

Что правда — мерзость, если милосердье

К страдающему с нею несовместно?

О, как я оправдаюсь перед Богом,

Как Имру объясню мою вину?

Феодора

Ты говоришь сама и помни, помни,

Что я твоей не выдавала тайны!

Юстиниан

Какая тайна, и причем здесь Имр?

Зоя

Отец, отец, лишь ты единый можешь

Меня понять, утешить и простить.

Узнай: царю я предпочла араба,

Я сделалась любовницей его.

Но как мне стать арабскою царицей,

Как наслаждаться счастьем среди фонтанов

И пальм в руках возлюбленных, когда

На мне пятно невинной крови?

Юстиниан

Ты,

Наследница державной Византии,

Ты сделалась любовницей бродяги?

Позор, позор на голову мою,

И горе для тебя, виновной, горе!

Остановить немедленно войска,

Немедленно колесовать араба!

Евнух

Порфирородный, поздно! Видел я,

Как отплыла последняя галера.

Юстиниан

Тогда послать надежного гонца

К начальнику с приказом возвратиться.

Евнух

Иду

Феодора

Он не слушается.

Юстиниан

Нет?

Тогда... тогда послать ему тунику,

Как знак монаршей милости моей,

Туника не добрей колесованья.

Зоя

Отец, а что ты сделаешь со мной

И с тем, кто жизни мне теперь дороже?

Юстиниан

Тебе я отвечаю, потому что

Последний раз я говорю с тобой.

Позора благородной римской крови

Раскаянье простое не омоет.

Ты примешь схиму и в своем покое

Останешься затворницей до смерти.

А он наденет бранную тунику,

За красоту твою поднимет чашу,

Но только чаша выпадет из рук,

Уста увлажнит не вино, а пена,

Он спросит, что с ним, и ответит сам

Себе звериным неумолчным ревом,

Сухой огонь его испепелит,

Ломая кости, разрывая жилы,

И в миг последний неизбежной смерти

Твое он имя страшно проклянет!

(Евнуху)

Теперь идем?

(Феодоре)

А ты останься с той,

Кто дочерью была моей, и душу

Ее к Припятью схимы приготовь!

(Уходит с Евнухом)

Сцена пятая

(Феодора и Зоя)

Феодора

Теперь вы безопасны для меня,

Затворница заговорить не может

И мертвый тоже. Наступило время

И мне сказать всю правду без утайки.

Тебя я ненавидела всегда

За руки тонкие, за взгляд печальный

И за спокойствие, как бы усталость

Твоих движений и речей твоих.

Ты здесь жила, как птица из породы

Столетия вымершей, и про тебя

Рабы и те с тревогой говорили.

Кровь римская и древняя в тебе,

Во мне плебейская, Бог весть какая.

Ты девушка была еще вчера,

К которой наклонялся только ангел,

Я знаю все притоны и таверны,

Где нож играет из-за женщин, где

Меня ласкали пьяные матросы.

Но чище я тебя и пред тобой

Я с ужасом стою и с отвращеньем.

Вся грязь дворцов, твоих пороки предков,

Предательство и низость Византии

В твоём незнающем и детском теле

Живут теперь, как смерть живет порою

В цветке, на чумном кладбище возросшем.

Ты думаешь, ты женщина, а ты

Отравленная брачная туника,

И каждый шаг твой — гибель, взгляд твой — гибель,

И гибельно твое прикосновенье!

Царь Трапезондский умер, Имр умрет,

А ты жива, благоухая мраком.

Молись! Но я боюсь твоей молитвы,

Она покажется кощунством мне.

(Уходит. Зоя стоит несколько мгновений, потом падает на колени лицом в землю)

Охота на носорога

Пьеса в двух действиях из доисторической жизни

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Элаи, вождь племени.

Тремограст, молодой мужчина.

1-й мужчина.

2-й мужчина.

Старуха.

Аха, Элу молодые женщины.

Племя.

Действие первое

Лесная поляна. Узловатые лапчатые деревья, сквозь которые просвечивает желтый закат. Под деревьями трава примята. Посередине поляны большая яма с набросанной вокруг свежей землей.

На одной из средних ветвей сидит спящий Элаи. Аха и Элу ползают по земле, выкапывая коренья.

Элу. Тремограста черный скорпион укусил.

Аха. Тремограст скорпиона раздавил. Я видела.

Элу. Корешков здесь больше нет.

Аха. Мои корешки. Не подходи.

Элу. Тремограста взбесившийся шакал укусил.

Аха. Шакал к реке убежал. Я слышала.

Элу. Тремограст яму копает.

Аха. Медведь яму копает. Крыса яму копает. Человеку яма зачем?

Элу. Тремограст медведя убил. Много крыс убил.

Аха. Тремограст длиннорукий охотник.

Входит старуха.

Старуха. Мне ваши корешки.

Элу. Я не нашла.

Аха. Я съела.

Старуха (гоняясь за ними). Белые мухи, змеиные жены, гнилые лужи, мне корешки.

Аха и Элу. Нет! Нет!

Старуха (останавливаясь над ямой). Земля рот открыла. Земля, кого хочешь съесть? Хочешь Элу? Хочешь Аха?

Те вскрикивают от страха.

Элу, корешки давай!

Элу отрицательно мотает головой.

Земля хочет Элу.

Элу закрывает голову руками.

Земля хватает Элу. (Ташит ее за колено к яме.) Земля ест Элу. (Спихивает ее в яму.) Кого еще хочешь, земля? Хочешь Аха?

Аха. Мои корешки вот.

Старуха. Ночью со мной ложишься. Ноги греешь.

Аха. Да, да.

Старуха. У луны большие рога выросли. Ноги плохо греешь — луна бодает.

Аха. Нет, нет.

За сценой слышны крики.

Тремограст опять мужчин бьет.

Старуха. Не уходи. Корешков мне накопай.

Аха. Боюсь.

Входят двое мужчин с палками; за ними Тремограст, колотя их дубиной.

Тремограст. Копайте яму. Копайте яму.

1-й мужчина. Мы голодны.

Тремограст. Я поймал вам зайца.

2-й мужчина. Заяц был маленький.

Тремограст. Я убил вам гиену.

1-й мужчина. Гиена была вонючая.

Тремограст. Копайте яму. Копайте яму.

Бьет их. Они прыгают в яму, откуда показывается голова Элу.

Элу. Старуха ушла?

Тремограст. Зачем в мою яму влезла? Женщинам яму нельзя копать.

Элу. Яма меня съела.

Тремограст. Яма маленьких не ест. Яма больших, сильных ест.

Старуха. Тремограст большой, сильный. Яма Тремограста ест.

Тремограст. Я выкопал яму. Яма — друг.

Старуха. Твои ноги топтали яму, твои руки копали яму, яма съела твою печень и глаза.

1-й мужчина. Яма ест Тремограста.

2-й мужчина. Днем не играешь, ночью не спишь.

1-й мужчина. Яму копать не хочу. Боюсь.

2-й мужчина. Не хочу. Боюсь.

Тремограст. Копайте яму. Копайте яму.

Старуха. Яма ест вашу печень и глаза.

Тремограст. Нет, яма съела мою печень и глаза. Яма сыта. Все спокойно. Копайте яму. Копайте яму.

Старуха. Не надо ямы.

Тремограст. Уходи! Почему не на четвереньках? Мужчина входит, женщина на четвереньки. Дурной глаз. Змея жалит, глаз смотрит. Становись! Уходи!

Гонит старуху. Та и женщины на четвереньках отбегают в сторону.

Пойте. Пойте.

Мужчины (копая яму). Голодно нам. Мы не охотились. Тремограст приказал. Яму копаем. Яма зачем? Приказал.

Ах, яма! Яма!

Страшно нам. Красный лев с неба слез.

Пар над водой. Темень в лесу. Слез.

Ах, яма! Яма!

Холодно...

Элаи (с ветки). Горе! Горе! Кто поет? Кто шумит? Укушу голову! Укушу живот! Я старый тигр. Меня разбудили. Горе! Горе! (Слезает.)

Тремограст. Не сердись, Элаи. Тремограст длиннорукий охотник.

Элаи. Лань принес?

Тремограст. Лань убежала за красную гору. Копал яму.

Элаи. Горе, горе! Тремограст меня не боится. Лань убежала. Горе, горе!

1-й мужчина. Элаи страшный. Бежим.

2-й мужчина. Тремограст сильный. Копаем.

Элаи. Горе, горе! Я был тигром. Большим старым тигром. Съел много людей.

Все. А! А! А!

Элаи. Лежал в тростнике, ел лошадь. Пришел человек. Сильный старый человек. Бросил дротик. Мой дух вылетел, человеку в рот влетел. Я стал человеком.

Все. А! А! А!

Тремограст. Тремограст не обижал Элаи.

Элаи. Не боится.

Тремограст. Боюсь.

Элаи. Яму копаешь зачем?

Тремограст. Носорог к водопою идет не здесь?

Элаи. Здесь.

Тремограст. Носорог в мою яму не падает?

Элаи. Падает.

Тремограст. Племя сыто не будет?

Элаи. Будет.

Тремограст. Тремограст первым из людей не станет?

Элаи (думает). Носорог сильный. Убить нельзя.

Тремограст. Я сильный. Убить можно.

Элаи. Носорог — бог. Убить нельзя.

Тремограст. Тигр — бог. Элаи убил тигра.

Элаи. Элаи — бог. Дух тигра в него.

Тремограст. Дух носорога в меня. Я — бог.

Элаи. Горе, горе! Два бога, одно племя. Уходи, Тремограст.

Элаи. умерши, красный небесный лев. Убивает Тремограста. (Мужчинам.) Яму не копайте. Уходите. Горе, горе!

Тремограст. Копайте яму. Копайте яму.

1-й мужчина. Элаи приказал.

2-й мужчина. Элаи страшный.

Уходят.

Элаи (дразня его). Тремограст длиннорукий охотник. Ха-ха! Лань убежала за красную гору. Ха-ха! Тремограст сам копает яму. Племя не хочет яму. Ха-ха!

Тремограст бросается на него. Элаи, отступая, падает в яму. Стонет.

Элу. Яма съела Элаи.

Старуха. Элаи, выходи. Прогоним Тремограста.

Элаи (из ямы). Не могу. Рука в другую сторону.

Старуха. Тремограст, помоги Элаи.

Тремограст вытаскивает Элаи.

Тремограст. Яма глубокая. Элаи толстый. Носорог толстый. Все хорошо. Все хорошо.

Элаи. Тремограст, засыпь яму.

Тремограст. У старого тигра сломалась лапа. Не боюсь старого тигра. Яма глубокая. Хорошая яма.

Старуха собирает глину и обмазывает ею руку Элаи.

Элу. Элаи сильный. Толстая рука.

Аха. Тремограст длиннорукий охотник.

Тремограст думает и роняет дубину поперек ямы. Прыгает от радости. Подбирает палки, брошенные мужчинами, и де лает над ямой настилку. Ломает ветки и покрывает ими яму

Элу. Тремограст боится Элаи. Засыпает яму.

Старуха. Тремограст хитрый.

Элаи. Тремограст, убери ветки.

Тремограст оскаливается на него.

Старуха, убери ветки.

Старуха. Тремограст злой. Больно дерется.

Элаи. Аха, убери ветки.

Аха. Тремограст рычит. Я боюсь.

Элаи. Элу, убери ветки.

Элу. Я боюсь Тремограста.

Старуха. Элу молодая. Тремограст молодой, не бьет Элу. Эла, убери ветки.

Элу. Боюсь.

Старуха. Скажу дереву, дерево задушит Элу.

Элу нерешительно подходит к яме.

Тремограст. Элу, не трогай веток.

Элу. У меня на боку рана, залижи ее. (Поднимает руку и обнимает Тремограста.)

Тремограст. Уходи, Элу.

Толкает ее, она припадает к его плечу и плачет.

Не плачь!

Элу. Ты гонишь меня. Старуха меня бьет. Элаи меня бьет. Аха съела мои корешки. Я слабая. Не гони меня.

Тремограст (схватывая ее). Пойдем.

Элу (вырываясь). Нет, нет.

Тремограст. Тогда уходи.

Элу (прижимаясь к нему). Не гони меня.

Вбегают мужчины.

Мужчины. На деревья, на деревья! Идет носорог, его кусают слепни. Он убил быка. Кишки висят на роге. На деревья, на деревья!

Все карабкаются на деревья. Только Тремограст поспешно продолжает работу.

Элу (с дерева). Тремограст, сюда!

Тремограст (бросается к ней). Пойдем.

Элу (перепрыгивая по ветвям). Нет, нет!

Конец первого действия

Действие второе

Та же декорация. Светает. На ветвях жестикулирующие фигуры людей.

1-й мужчина. Носорог пошел к красной горе.

2-й мужчина. Очень злой.

Тремограст. Упадет в яму. Кишки быка висят на роге.

Элаи. Не упадет. Сбросил кишки.

Тремограст. Элу, ко мне.

Элу. Не могу. Старуха держит.

Тремограст. Я убью старуху.

Движение.

Старуха. Помогите, Тремограст лезет.

Все. А! А! А!

Старуха. Уа! Падаю.

Падение.

1-й мужчина. Упала.

Элаи. Ее растопчет носорог.

Аха. Помогите старухе.

Все. А! А! А!

2-й мужчина. Тремограст трусливый, бьет женщину.

Тремограст лезет к нему.

Не трогай меня, храбрый Тремограст.

Элаи. Носорог не упадет в яму. Старуха разбросала ветви.

1-й мужчина. Носорог упадет. Злой.

Элаи. Не упадет. Сбросил кишки.

Тремограст. Я ударю носорога.

Все. А! А! А!

Тремограст. Я ударю носорога. Будет злой. Упадет.

Элаи. Носорога нельзя ударить, он страшный.

Элу. Тремограст, не ходи. Я боюсь.

Тремограст перелезает к ней.

Элаи. Тремограст останется. Элу хочет. Ха-ха!

Тремограст спрыгивает на землю.

Элу. Слез.

Все. А! А! А!

Элаи. Носорог убьет Тремограста.

Элу. Тремограст, не уходи.

Тремограст убегает направо, откуда слышен треск ветвей.

1-й мужчина. Носорог.

2-й мужчина. За холмом.

1-й мужчина. За пальмами.

Элаи. Старуха, лезь, лезь.

Старуха (снизу). Не могу, ноги отшибла.

Элаи. Лезь в яму. Носорог не злой, не упадет.

Элу. Не лезь. Носорог злой. Тремограст ударит носорога.

1-й мужчина. Бежит.

2-й мужчина. Вот он, вот он.

Элу. Тремограст.

Элаи. Ударил.

Все. А! А! А!

Элу. Тремограст! Тремограст!

Внизу в полутьме показывается бегущий Тремограст, за ним темная масса.

1-й мужчина. Прыгнул.

Все. А! А! А!

Гул от падения в яму огромного зверя, несколько мгновений тишина.

Тремограст. Мне страшно.

Элаи (тихо). Горе! Горе!

Тремограст лезет на дерево.

1-й мужчина. Тремограст ударил носорога.

2-й мужчина. Тремограст — бог.

Тремограст. Мне страшно. Где носорог?

Элу. Носорог упал в яму.

Элаи. Тремограст — не бог. Боится.

2-й мужчина. Тремограст — бог.

Тремограст. Было темно. Терновник за ноги. Сучья в глаза. Было темно. Носорог большой. Очень большой. Идет, сопит. Темно. Страшно. Палкой по морде. Бежать. Элу! Элу!

Элу. Я здесь.

2-й мужчина. Тремограст убил носорога. Дух носорога в Тремограсте.

1-й мужчина. Носорог не умер.

Элаи. Старуха, где носорог?

Старуха. Носорог в яме.

Все. А! А! А!

Тремограст. Я не боюсь.

Старуха. Молчите. Я говорю с носорогом. (Ползет к яме.) Ты, убивший быка! Зверь с большим рогом! Энигу уапи. Племя вырыло яму. Ты упал в яму. Прости племя!

Все. Прости! Прости!

Старуха. Племя вырыло яму. Яма — дом. Хороший, большой дом. Ты живешь в доме. Тебе надо жену. Племя даст жену.

Все. Даст! Даст!

Старуха. Ты — бог! Тебе — жену молодую. Хорошую жену. Племя даст Элу.

Все. Элу, Элу!

Тремограст. Я не дам Элу.

Старуха. Слезайте. Носорог хочет.

Все слезают.

Элаи. Держите Элу.

Тремограст. Не троньте Элу.

Старуха. Слушайте, слушайте (К Элу.) Жена бога! Кланяюсь. Ты идешь к носорогу. Будь ласкова. Будь послушна. В небесных полях хорошо. Муж будет пастись. Синяя трава, желтая трава. Ты будешь птичкой. Рядом. Над.

Сталкивает ее в яму. Там храпит зверь. Элу вскрикивает. Потом стонет.

Все. А! А! А!

Заглядывают в яму.

1-й мужчина. Наступил на живот.

2-й мужчина. Рвет грудь.

Аха. Умерла.

Элаи. Я голоден. Убьем носорога.

Старуха. Теперь убьем.

Тремограст разбивает дубиной голову старухе.

Все. А! А! А!

Аха (наклоняется к лежащей). Встань, встань! Голова мягкая.

1-й мужчина. Не дышит.

Элаи. Тремограст убил человека.

Все. А! А! А!

Тремограст. Она убила Элу.

Элаи. Элу — жена бога. Ты убил человека. Ты не будешь есть, где мы едим. Ты не будешь пить, где мы пьем. Ты не будешь спать, где мы спим. Племя, за ним, за ним!

Тремограст бежит. Все гонятся за ним. На сцене остается одна Аха.

Аха. Тремограста прогнали. Старуха умерла. Элу — жена бога. Племя маленькое. Носорог большой. Долго сыта. Долго.

Возвращается Тремограст.

Тремограст. Обманул. Побежали на красную гору. Долго не воротятся. Где Элу? (Заглядывает в яму.) Головы нет. Рука одна. Злое племя. У!

Аха. Не убивай меня, Тремограст.

Тремограст. Элу! Элу! Дурное племя. Не хочу. Дурной лес. Озеро хорошее. Далекое. Много рыбы. Леса нет. Людей нет. Поймал, съел. Элаи нет. Зачем? Пойду. Хорошее озеро. Далекое. Элу! Элу! (Уходит.)

Вдали крики племени.

Аха начинает выкапывать корешки.

Голос Тремограста издали: «Элу! Элу!»

Занавес

Дерево превращений

Пьеса в трех действиях для детей

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Факир.

Демон Астарот, он же Обезьяна.

Демон Вельзевул.

Змея, она же Судья.

Свинья, она же Лавочник.

Лев, он же Воин.

Действие происходит в Индии.

Первая и третья декорации — сад.

Вторая — площадь города.

Пролог

Конечно, знаете вы, дети,

Не знать того вам был бы грех,

Что много чудных стран на свете,

Но Индия чудесней всех.

Она — еще южнее Китая,

В нее приехать — труд большой

Смотрите: вот она какая,

И я, индиец, вот какой.

Всего рассказывать не буду,

Скажу: там ангелы парят,

Там бродят демоны повсюду

И по-людскому говорят.

Там молятся о благе мира

Богам и гениям святым

Благочестивые факиры,
Живя под деревом своим.
И если с дерева такого
Плодов покушать золотых,
То будет чудо: черт суровый
Мартышкой делается вмиг,
Свинья — торговцем, и судьейю —
Змея, и злым воякой — лев.
Хотя бы я. я был козою
И все скачу, штаны надев.
А если человек решится
Таких попробовать плодов,
Он светлым ангелом умчится
В дворцы заоблачных садов.
Как это делается, сами
Сейчас должны увидеть вы.
Не приставайте к вашей маме
И не чешите головы.

Действие первое

Сцена первая

Факир сидит в молитвенном созерцании. Демон Астарот старается его развлечь.

Астарот. Хи-хи-ха! Послушай-ка, краб сам себе отгрыз клешню. А райская птица вывела птенцов на радуге, и они скатились в море. Да повернись же, экий ты... Царь Цейлона сделал паштет из носорога для своих старых теток. Хм, хм, хи! Не слушает, молчит. А Вельзевул мне строго-настрого приказал, чтобы я развлек его и помешал молиться. Ну, по слушай, пожалуйста. Пойдем в Китай танцевать с золотыми драконами. Не хочешь — ну так на Северный полюс — варить уху из кита. Как, ни кита, ни Китая! Так погоди же у меня. (Делают угрожающие движения.) Какую руку прежде вывинтить? Который глаз первым закинуть на облако? Ага, попался. И тут не выходит... Что я за несчастный уродился. Других все к грешникам приставляют, а меня вот к праведнику. Попадет мне от Вельзевула. (Плачет.)

Факир. Мне стало жаль тебя. Видишь, я заговорил.

Астарот. Да, а что мне в этом пользы? Только новое доброе дело делаешь, довольно бы, кажется.

Факир. А сделай-ка и ты хоть раз доброе дело. Увидишь, как весело.

Астарот. Как же я его сделаю, когда я демон. Вот через мильон мильонов лет, когда наша земля рассыпется и вновь соберется, стану я зверем и попробую. Да ты этого все равно не увидишь. Тогда людьми будут нынешние звери, а люди — ангелами.

Факир. А хотел бы ты раньше пройти сквозь назначенное превращение?

Астарот. Страшно. А вдруг превращусь в гиену, все будут гоняться за мной... Убьют. Или в паука... Подойдет зим[а], мух не будет, с голода умрем. Нет, уж я лучше после.

Факир. А не хочешь ли ты сейчас поесть? На этом дереве всего пять плодов. За то, что я тридцать лет хожу сюда молиться, бог Вишну одарил их чудесным свойством. Оторви один и попробуй.

Астарот (срывает плод). Ах, какой ты милый. Вдруг у меня прибавится силы и я отколочу Вельзевула. Или мои рога сделаются золотыми — куплю на них вина и напьюсь... Что со мной? Что со мной? Я, кажется, становлюсь добрым. Помогите!.. Помогите!.. (Рычит.)

Факир. Да, ты стал добрым пушистым зверем, веселой Обезьяной. На миллион миллионов лет ты обогнал своих братьев демонов. Живи и радуйся, может быть, мы еще встретимся. А теперь мне пора. Пойду в город добывать корм для священных голубей бога Вишну.

Уходит. Обезьяна бежит за ним, но возвращается в страхе. За нею гонится Змея.

Сцена вторая

Обезьяна мечется по сцене, спасаясь от Змеи. Наконец срывает еще один плод и бросает его в раскрытую пасть врага. Тот превращается в Судью. Обезьяна прячется за дерево.

Судья. Что это? Только что я ползал, шипел, кусался — и вдруг стал Судьей. Того, кто сыграл со мною такую гадкую шутку, необходимо привлечь к законной ответственности. Параграф двести тридцать седьмой постановлений Общества покровительства животных. Лишение прав участия на городских выборах и смертная казнь. Не могу же я, однако, судиться с Обезьяной. Это унизит мое звание. К тому же закон гласит: животные не подлежат ответственности за свои поступки. Всею виной плод, который я проглотил. Очевидно, он обладает силой ускорять превращение. Но с ним судиться было бы еще глупее. О горе мое! Уже три минуты я Судья и еще никому не сделал гадости. Ага, догадался. Под этим деревом всегда сидит Факир, очевидно, он и за колдовал плоды. Поглядет он у меня. Однако мне нужен свидетель. Где бы его найти? Ах, вот идет один. Лучшего мне не нужно.

Вбегает Свинья.

Сцена третья

Судья (подманивает Свинью). Хрюшка, Хрюшка, подойти, я тебе дам почитать интересный процесс. Впрочем, она этого не понимает. Иди ко мне, Хрюшка, посмотри, какой я красивый... Нет, так она ни за что не подойдет. Надо ее чем-нибудь покормить.

Оглядывается; срывает плод и протягивает Свинье. Свинья ест и превращается в Лавочника.

Да, значит, я не ошибся. Все дело было в плоде. Почтенный Лавочник, согласен ли ты свидетельствовать против Факира?

Лавочник. Хрю-хрю! Но чего я хрюкаю, этак, пожалуй, всех покупателей разгоню. Против какого Факира, господин Судья?

Судья. Против того, который тебя из хорошего честного зверя превратил в такого мошенника и надувалу.

Лавочник. Что вы говорите, господин судья? Я каким был, таким и остался.

Судья. Но посмотри, на земле еще валяется твоя прежняя свиная шкура.

Лавочник (поднимает шкуру). Не купите ли? Дешево отдам, себе в убыток.

Судья. Поговорим серьезно. Если удастся засадить Факира, то это дерево с такими вкусными плодами перейдет к тебе. С меня довольно и мщѣния.

Лавочник. А я и так оборву плоды, и судиться не придется. (Срывает один плод.)

Судья. Остановись! За похищение чужой собственности тебе отрубят руку, сожгут ее, пепел закопают в землю и запретят селиться на этом месте.

Лавочник. Не пугайте, пожалуйста, я и так нервный. Больше не буду. А этот все-таки съем. Проголодался.

Судья. Глупый. Съешь и превратишься в ангела. А куда тебе с таким толстым животом, да на небо.

Лавочник (смотря наверх). Это вы верно говорите. Что там за радость — одни облака плавают. Не с кем словом перекинуться. А яблоко я все-таки не брошу, жалко, даром сгниет. Я уж его лучше продам, в коммерции ничего не должно пропадать.

Судья. Ну, это как хочешь. Идем в город и засудим Факира...

Показывается Лев.

Сцена четвертая

Лавочник. Ай-ай-ай! Господин Судья, господин Судья! Вот вы кого лучше засудите. А то пропали мы оба.

Судья. Ну, это слишком сильно сказано. Я лицо неприкосновенное.

Лев приближается к нему. Судья прячется за Лавочника.

К тому же ты жирнее меня, и этот бедный голодный зверь, конечно, выберет тебя.

Лавочник. О, господин Судья, умоляю, позвольте ему съесть вас. А я за это обещаю давать вам из моей лавки каждый день курицу и две связки бананов!..

Судья. Да ты с ума сошел? Я тебя засажу, если ты дашь этому зверю, жалея себя, растерзать своего Судью!

Лавочник. Ради бога, согласитесь. Я прибавляю вам еще мешочек риса и чашечку молока.

Судья. Ах, ты меня считаешь взяточником! Приговариваю тебя за это к смертной казни, ты будешь отдан на съедение этому зверю, слышишь? Не ломайся же, дай себя съесть.

Лавочник. Господин Судья, мне страшно. Он глядит на меня!.. Ну хотите, я отдам вам всю мою лавку?

Судья. После произнесения приговора всякие возражения незаконны.

Лавочник. Придется, видно, мне умирать незаконной смертью.

Лев набрасывается на них, но хватает плод, проглатывает его и превращается в Воина.

Воин. Хвала небу, превратившему меня в человека! Прежде я убивал только зубами и когтями, а теперь и стрелы, и копья, и ножи, и топоры — все к моим услугам. Прежде я бегал за моими врагами, теперь я буду ездить и на слонах, и на верблюдах, и на лодке, и на колеснице. Прежде меня проклинали за убийства, теперь будут прославлять. О, великое, великое счастье быть человеком и воином!

Судья. Благородный Воин, позволь мне первому поздравить тебя с таким удачным превращением. Надеюсь, ты никогда больше не испугаешь меня, как сейчас. Ведь только за правое дело поднимаешь ты свой меч.

Воин. А что такое правое дело?

Судья. То, которое я тебе укажу.

Воин. А ты кто такой?

Судья. Я тот, который заставляет прославлять тебя за все, что ты сделаешь!

Воин. Если так, будем друзьями.

Лавочник. Примите и меня в свою компанию. Я, правда, человек не храбрый и не ученый, зато у меня есть кошелек, а ведь это в жизни главное.

Воин. А ты кто такой?

Лавочник. Я тот, у кого ты можешь получить и оружие, и слонов, и колесницы, и все, что нужно для твоих подвигов!

Воин. Вы тоже превращенные?

Судья и Лавочник. Да.

Воин. И какой только благочестивый муж мог свершить такое великое дело?

Судья. Это Факир. Ты должен его умертвить.

Воин. Умертвить моего благодетеля?

Судья. Или ты должен подчиниться ему.

Воин. Я свободен и никому не подчиняюсь!

Судья. Он заставит. Неужели ты оставишь в живых того, кто выше тебя?

Лавочник. Да, да, убей его, А то придется работать на него или оброк платить...

Воин. Если он точно злой колдун, ему не будет от меня пощады. Он умрет!

Лавочник. И это дерево станет моим. Право, дела устраиваются к лучшему для всех, кроме этого глупца Факира. Идем его искать.

Уходят. Обезьяна грозит им вслед кулаком, потом срывает последний плод и хочет его съесть, но задумывается. Входит Вельзевул.

Сцена пятая

Вельзевул (входя). Что это? Ни Факира, ни Астарота? Куда бы могли они оба деваться? Одна какая-то обезьяна. Толь ко почему она так боязлива? Прячется, закрывает лицо руками... Эге-ге-ге!.. Да ведь это же Астарот! По хвосту его узнаю, хвост паленый. Ясно, что Факир превратил его в Обезьяну. Только как? Уж не плодами ли с дерева? Действительно, плодов не хватает. Один только, и тот у Обезьяны. Астарот, Астарот, подойди ко мне, старый товарищ, дай мне яблоко, я тоже хочу превратиться. Не хочешь? Вспоминаешь, как я тебя бил? Так ведь я же это любя. Да ну же, дай! Уж не для Факира ли ты бережешь его? Что, ты киваешь? Я угадал! Нет, этого не будет, я отниму у тебя яблоко, хотя бы пришлось гнаться за тобой через весь свет. Лови!.. Держи!..

Обезьяна убегает. Вельзевул за ней.

Действие второе

Сцена первая

Лавочник (у своей лавки). благородный Воин, зайдите ко мне, купите что-нибудь. Я припас для вас удивительные вещи.

Воин. Денег нет.

Лавочник. Не может быть, чтобы у такого молодца не было денег! Вам стоит только раз или два мечом взмахнуть, и вы завоюете царство. Вы посмотрите все-таки. Если что-нибудь приглянется, возьмете после.

Воин. Ну, покажи, что у тебя есть?

Лавочник. Вот отличный портфель из крокодиловой кожи; вот перо страуса, очиненное для писания; красные чернила; мягкие подушки на стулья...

Воин. Да что, судья я разве, что ты мне все это предлагаешь?

Лавочник. А вы возьмите и подарите что-нибудь Судье. Он сам скупой, ничего для себя не покупает. А вещи лежат.

Воин. Нет, ты лучше покажи что-нибудь по моей части.

Лавочник. Отлично. Вот нож, которым Каин зарезал Авеля. Он вам не нравится. Напрасно. Вот щит, который не пробьет никакое оружие, вы за ним будете, как в крепости.

Воин берет щит, тот ломается.

Ай, ай, вы мне его сломали.

Воин. Дай мне щепотку табаку на две полушки.

Лавочник. А как же щит? Он стоит триста золотых!

Воин. Заплачу в другой раз.

Берет табак и уходит.

Сцена вторая

Лавочник (один). Ну и дубина же этот Воин, говорит сквозь зубы, все портит. Вот щит сломал, правда он был картонный. Все же такая торговля — чистое разорение... Клянусь моим кошельком, первого же покупателя заставлю расплатиться за все. Судья ведь мой приятель.

Входит Факир.

А, вот и Факир. Неужели тот самый. Мой враг?! Ну да, он... Да, теперь дерево мое!

Факир. Не пожертвуете ли щепотку риса для голубей бога Вишну?

Лавочник. С наслаждением, уважаемый Факир, с наслаждением. Позвольте мне вашу чашку.

Факир. Довольно, благодарю.

Лавочник. Берите, берите. Для меня огромная радость услужить вам. Не подкинуть ли горсточку бобов?.. Молока подлить?

Факир. Голуби не пьют молока.

Лавочник. У меня такое хорошее, что выпьют.

Факир (уходя). Да благословит небо твой дар!

Лавочник. Надеюсь, что в убытке не останусь. Однако куда же вы, постойте, так нельзя, надо платить!

Факир. Я просил подаяния.

Лавочник. Подаяния. Это еще что? Так вы у меня всю лавку заберете, да и меня в придачу под видом подаяния. Только нет, не таковский я! Деньги, или худо будет!

Факир. Возьмите ваш товар обратно.

Лавочник. Ни под каким видом. Рис просыпался, молоко переболталось — и я разве даром трудился, отвешивая да отмеривая? Ничего назад не возьму! Деньги, деньги и деньги!!!

Факир. Денег у меня нет.

Лавочник. Стара песня. Без денег нечего было и заходить. Это просто злой умысел. Сегодня подаяния просишь, завтра украдешь, послезавтра убьешь, после послезавтра... Помогите те, помогите, режут, колют, убивают!..

Входит Судья.

Сцена третья

Судья. Ни один человек не может убить другого, если это не разрешено мною. Объясните, в чем дело, может быть тогда в самом деле можно будет кого-нибудь убить.

Лавочник. Вот, господин Судья, пришел в мою лавку человек, дай ему того, дай ему другого, пятого, десятого, и как набрал, так и уходит... «Деньги», — я говорю. Нет денег! Насилу его задержали. Разве же этак можно?!

Судья (Факиру). Это дерзкое покушение на право собственности.

Факир. Я просил милостыни.

Судья (Лавочнику). Ваши слова — преднамеренная дача ложного показания.

Лавочник. Не верьте ему.

Факир. Не верьте ему.

Судья. Я не могу верить или не верить, мое дело знать! Пусть решает судьба, Вас обоих бросят в реку, кто невинен, тот утонет, а виновного вытащат и повесят.

Факир. Значит, оба погибнут?

Судья. Да, но правда спасется.

Лавочник. Господин Судья, господин Судья! Я не хочу ни тонуть, ни быть повешенным...

Судья. Странный человек, чего же ты хочешь?

Лавочник. Я жить хочу и немного торговать. (Тихо.) Ведь это же тот самый Факир, из-за которого мы стали людьми. Вспомните, что вы хотели ему отомстить.

Судья. Тогда придумай другие обвинения.

Лавочник. Сейчас. Этот человек сломал мой щит, самый крепкий из всех щитов. (Хныча.) Этот человек избил мою старую тетку и продал ее в рабство за три медных гроша, а она стоила по крайней мере золотой. (Кричит.) Этот человек поджег мою лавку, и я сгорел вместе с ней!..

Судья. Довольно, довольно! (Факиру.) Скажи мне, добрый человек, ты не обокрал прошлой ночью храма?

Факир. Нет.

Судья. Ну, я рад, что ты этого не сделал. А то пришлось бы тебя сжечь... Но может быть, ты вместо этого жарил и ел маленьких детей?..

Факир. Никогда.

Судья. Отлично. Значит, тебя можно не четвертовать. А подписи ты подделывал?

Факир. Тоже никогда.

Судья. Я тебе верю. Однако обвинения Лавочника остаются в силе. И, снисходя к твоему почтенному возрасту, я приговариваю тебя к наименьшей мере наказания, к повешению, заметь, на твоём же собственном дереве. Не благодари меня. С меня довольно сознания исполненного долга.

Лавочник. Вот это хорошо. Вот это правильно. Вы сами его повесите?

Судья. Судья не палач. Предоставляю это сделать тебе.

Лавочник. Ну нет, я боюсь мертвецов.

Судья. Однако кому-нибудь да надо это сделать.

Входит Воин.

Сцена четвертая

Воин. Ты что мне сырой табак продал? Раскуриваю, раскуриваю, ничего не выходит... Вот сломаю тебе спину, как сломал твой негодный щит!

Судья. Щит, значит, сломал Воин. Одно обвинение отпадает. Но под другим наказанием остается прежним.

Лавочник. Я думал угодить вам, благородный Воин... Ведь сухой табак — это табак и больше ничего. А сырой — это табак да еще вода на придачу... Летом, в жару вода преползшая вещь!

Воин. А, ты еще издеваешься! Прощайся с жизнью!

Судья. погоди. Я вижу, что ты справедливо разгневан, но виноват не Лавочник. Это дождь, пойдя не вовремя, смочил твой табак. А о дожде и хорошей погоде молится богам Факир. Позволяю тебе взять его и повесить.

Воин. Какой он умный, я даже хорошенько не понимаю, что он говорит. Только все-таки вешать людей я не стану, это не дело воина. (Факиру.) Бери твой меч и защищайся!

Факир. У меня нет меча, и я не умею сражаться.

Воин. Так что же делать?

Факир. Не знаю.

Воин. Придется, видно, мне курить сырой табак...

Судья. Ты меня не понял. Этот человек приговорен мною к по вешению, и закон выбрал тебя привести приговор в исполнение.

Лавочник. Да, да, повесьте его, благородный Воин, и я подарю вам этот щит, который крепче всего на свете.

Воин отстраняет рукой щит.

Ай, ай, осторожнее, вы его опять ломаете.

Воин. Не могу понять, почему непременно я должен его вешать. Кто его обвиняет?

Судья. Лавочник.

Воин. Так пусть Лавочник его и вешает.

Лавочник. Ни-ни, ни за что! Чтобы он мне снился потом... Ведь это Судья осудил его...

Воин. Так пусть Судья и вешает.

Судья. Это невозможно. Нет, Воин, как ни спорь, придется тебе согласиться.

Воин. Скажи хоть ты, мудрый Факир, кому из нас следует повесить тебя?

Факир. Тому, кто хуже других.

Воин. Слава Богу, по крайней мере не мне.

Судья. И не мне, во всяком случае.

Лавочник. Уж не мне ли, который вас всех богаче?

Кричат друг на друга.

Факир. Наступил час, когда мне нужно молиться под моим де ревом. Если хотите, идите со мной, по дороге сговоритесь.

Воин. Идем!

Действие третье

Сцена первая

Вбегают Обезьяна, за нею Вельзевул. Оба страшно измучены.

Вельзевул. Ой, не могу больше. Если бы не был бессмертным, умер бы. Ведь мы вокруг всей земли обежали, акулы за нами гнались, черные люди, такие страшные, что даже я испугался, хотели нас съесть!.. А как холодно было бежать по Сибири, а как жарко было вдоль экватора... Бедные, бедные мои копыта, совсем стерлись. И вся эта мука даром. Так я и не достал яблока. Не отдает его Обезьяна, да и сама не ест. Видно, она действительно стала доброй, бережет для Факира его добро. Запах от нее даже идет какой-то хороший, тошнит меня от него. Ну, да она тоже измучилась... Еле смотрит... Может быть, я ее еще поймаю... Есть здесь поблизости дыра в пекло, сбегая туда, хлебну кипящей смолы да и назад. Я думаю, она не тронется с места... (Уходит.)

Сцена вторая

Входят: Факир, Судья, Воин и Лавочник.

Факир. Ну что же? Придумали что-нибудь?

Воин. Да, хуже всех Лавочник.

Лавочник. Нет, во всяком случае Судья!..

Судья. Не слушай их. Это Воин хуже всех!..

Факир. Я вижу, вам самим никак не сговориться. Расскажите мне все о себе, и я, пожалуй, решу ваш вопрос.

Судья. Отлично; но о себе я могу говорить только стихами. Это высокая тема.

Воин и Лавочник. Мы тоже. Мы не хуже тебя.

Факир. Вам черед потом.

Судья.

Я самый ученый из всех судей,

И добрый боится меня, и злодей.

Я ловким допросом оставлю их с носом,

Проткну их статьей, как шпагой стальной,

И сводом законов прихлопну их вдруг,

Как мух!..

Видишь, как я хорошо знаю свое дело. Значит, я самый лучший.

Лавочник. Ну, это мы сейчас увидим. Послушай-ка меня.

У меня хранится в лавке

Все, что нужно для людей:

Есть картофель, есть булавки,

Есть и книжки для детей.

Ты без книжек был бы глупым,

Без булавок был бы голым,

И, питаюсь только супом,

Без картошки, невеселым.

Надувалой и пиявкой

Пусть зовет меня народ,

Я как царь царю над лавкой...

Вот!..

Ловко я вас всех поддел?..

Воин. Я тоже сочинил стихи. Трудно это — лучше с великаном сражаться, но не отставать же от других. Слушайте внимательно, а не то...

Иду я по лесу,

Угрожаю бесу;

Иду я по полю,

Людей беру в неволю.

Иду я по городу —

Всем деру бороду...

Кого не увижу —

Всех обижу,

Всех замучу...

Значит, я всех лучше!

Посмейте-ка сказать, что неправда!..

Факир. Простите меня, но я думаю, что ни в одном из вас нет ничего хорошего. Так что никто из вас не лучше, не хуже других. Если уж вы хотите меня повесить, вешайте все вместе.

Лавочник. Верно.

Воин. Как мы сами не догадались?

Судья. Закон не воспрещает этого.

Принимаются вешать Факира. В это время Обезьяна протягивает Факиру плод, он ест его и превращается в Ангела.

Факир. глупые и злые люди! Лучше бы было вам остаться зверями в вашем прежнем образе, чем быть зверями в человеческих одеждах. Я прощаю вам все, что вы мне сделали. Но помните, обида, нанесенная Ангелу, не прощается.(Уходит.)

Сцена третья

Лавочник. Что это? Отрастил свои птичьи крылья и ушел А мы глядим да глазами хлопаем.

Судья. Уж не думает ли Факир, превратившись избавиться от законной ответственности? Я обращусь к жрецам, и они мне его добудут с неба.

Воин. Послушайте, может быть, мы в самом деле нехорошо поступили.

Лавочник. Еще бы! Особенно ты. Надо было держать его, а ты выпустил.

Воин. Я не о том.

Лавочник. А я о том. Иди за это мне в услужение раз ты не задержал моего должника.

Судья. А ты, Лавочник, за то же самое присуждаешься к лишению лавки со всеми товарами, находящимися в ней.

Воин. А я вас просто отколочу за то, что вы мне оба страшно надоели с вашим Факиром.

Свалка. Появляется Вельзевул.

Сцена четвертая

Вельзевул. Ну, теперь Астарот... (Замечая дерущихся.) Это еще что за люди?

Судья (зажатый Воином). Кто там — Ангел?

Лавочник (зажатый тоже). Совсем наоборот. Кто с хвостом с рогами?

Судья. А что ему нужно?

Лавочник. Не знаю. Он подходит.

Вельзевул. Благородный Воин, я вижу, что вы не совсем сошлись во мнениях с этими — справедливейшим из судей и великолепнейшим из лавочников. Можно узнать, в чем у вас разногласие?

Воин (отпуская противников). Они приставали ко мне с разными глупостями и говорили, что они лучше меня.

Вельзевул. Как же это можно! Скажите, вы много народа убили?

Воин. Много.

Вельзевул. А много городов сожгли?

Воин. Двадцать восемь.

Вельзевул. Ну, вот видите, какой вы смелый. Позвольте, я вам надену почетный браслет, чтобы видно было, что вы лучше всех.

Надевает ему браслет, от которого идет длинная цепь.

Воин. Это умный человек!

Судья (Вельзевулу). Неужели вы серьезно думаете, что Воин лучше меня?

Вельзевул. А вы многих отправили на казнь, господин Судья?

Судья. Случалось.

Вельзевул. Добрейший Судья, справедливейший и учнейший Судья, разрешите мне опоясать вас золотым поясом в ознаменование ваших заслуг.

Судья. Не откажусь. Хотя я и скромн, но чувствую, что заслужил это.

Вельзевул опоясывает его, оставляя цепь от пояса в своей руке.

Лавочник. Так, значит, я хуже всех? Не верю... Ни за что не поверю.

Вельзевул. А вы, почтенный Лавочник, обманывали часто?

Лавочник. Как же без этого?

Вельзевул. И обвешивали, и обмеривали?

Лавочник. Всего бывало.

Вельзевул. И наживались?

Лавочник. Еще как!

Вельзевул. Так вот же вам ожерелье за просвещенную торговлю. Оно вроде медали. Позвольте, я его сейчас закреплю.

Лавочник. Вот я и сравнялся со своими товарищами.

Вельзевул. Теперь, господа, скажите, любите ли вы меня?

Все. Любим, любим, любим!..

Вельзевул. Сделайте, что я вас попрошу.

Воин. Убью, кого укажешь!

Судья. Оправдаю за всякое преступление!

Лавочник. Дам в долг товара из лавки.

Вельзевул. Обругайте Ангела, в которого превратился Факир.

Лавочник. Ах он цыпленок эдакий с крылышками!

Судья. Я еще расквитаюсь с ним за все его фокусы с превращениями.

Воин. Хотя он и не сделал мне ничего дурного, но раз ты просишь, дрянь он, а не Ангел!

Вельзевул (внезапно рычит). Ага, теперь вы попались. Пойдемте со мною в самое пекло. Вот Сатана-то обрадуется. Вытаскивает всех за цепи.

Сцена пятая

Обезьяна садится под деревом на месте Факира и молитвенно складывает руки.

Занавес

Конец

Гарун аль-Рашид (сценарий)

по «Тысяча и Одной ночи»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Гарун аль-Рашид — калиф.

Джафар — великий визирь.

Синдбад — купец.

Рыбак

Сила Сердец — наложница калифа.

Зобейда — первая жена калифа.

Послы Карла Великого, купцы, носильщики, рабыни, слуги, пираты, негр, морской старик и др.

Место действия Багдад.

Время действия IX век по Р. Х.

Действие первое

Картина первая

Базар. Палатки, где торгуют арабы, персы, византийцы, китайцы.

Сцена первая

Проходят покупатели, прицениваясь и покупая. Появляется калиф с Джафаром; все расступаются, кланяясь. Они подходят к лотку китайца, который показывает калифу большие листы бумаги. Калиф удивляется. Джафар объясняет ее назначение: «На этой вещи, которую недавно изобрели китайцы, можно писать лучше, чем на коже или листе пальмы». Калиф награждает китайца и, довольный, уходит с Джафаром. Оживление возобновляется.

Сцена вторая

Сила Сердец, любимая наложница калифа, влюблена в купца Синдбада. В сопровождении служанки она приходит на базар рассматривает товары Синдбада, и между ними разыгрывается любовная сцена, прерываемая приходом других покупателей. Наконец Синдбад просит Силу Сердец принять его в ее доме. Она боится. Он успокаивает ее, залезает в тюк материи, и его раб, негр, взвалив тюк на спину, идет за Силой Сердец, которая смеется.

Картина вторая

Сцена первая

Зала в доме Силы Сердец.

Раб вослед за хозяйкой вносит тюк с Синдбадом и, положив его на ковер, удаляется. Сила Сердец продолжает смеяться и, шая, катает тюк, мешая Синдбаду выбраться. Вдруг вбегает служанка с криком: «О госпожа, к тебе идет твой господин, калиф». Сила Сердец в ужасе катит в угол тюк с Синдбадом. Входит калиф. Сила Сердец ласкается к нему, поминутно оглядываясь на тюк. Калиф замечает это и спрашивает, что там. Сила Сердец смущается, и калиф направляется в угол. Тогда Сила Сердец начинает прыгать, крича: «Спасите меня, здесь мышь». Калиф поворачивается к ней и начинает ловить мышь. Синдбад пользуется случаем, вылезает из тюка и скрывается за занавесом. Калиф развертывает тюк, видит, что в нем только материя, и, успокоенный, ласкает Силу Сердец. Синдбад выглядывает из-за занавеса, ревнует.

Картина третья

Сцена первая

Комната Зобейды.

Зобейда, жена калифа, ревнует его к прекрасной наложнице. Она хлопает в ладоши и говорит вошедшей служанке: «Позвать ко мне великого визиря Джафара». Служанка возвращается с Джафаром, который целует землю между рук Зобейды. Зобейда жалуется ему на калифа. Джафар не знает, что делать. Зобейда задумывается, наконец решается и говорит Джафару: «Уведи калифа гулять хотя бы на полдня и остальное предоставь мне». Джафар кланяется и уходит.

Действие второе

Картина первая

Равнина за городом. Вдали река.

Сцена первая

Калиф, Джафар и придворные играют в поло. Калиф останавливается, вспоминая о Силе Сердец (ее фигура на заднем плане). Джафар его утешает и приглашает состязаться в скачке до реки. Калиф согласен, они скачут, калиф впереди.

Сцена вторая

У реки рыбак забрасывает сети. Они зацепились обо что-то на дне, он сбрасывает одежду и ныряет. Тем временем проходит бродяга, хватая одежду и убегает за холм. Въезжает калиф, один. Он сходит с лошади и пьет воду из кувшина рыбака. Рыбак вынырнул с сетью, ищет свою одежду, увидел калифа, замахивается на него огромной дубиной и кричит: «Это ты, сын дьявола, украл мою одежду. Отдавай мне свою — или я тебя убью». Калиф пытается спорить, но уступает и снимает свою верхнюю одежду. Рыбак ее примеряет, она длинна, он обрезает на ней полы. Тем временем калиф сзади оглушает его ударом дубины по голове. Въезжает Джафар и придворные. Калиф со смехом рассказывает им случившееся и приказывает: «Несите этого рыбака в мой дворец и, когда он очнется, до заката солнца повинуйтесь ему как калифу. Клянусь великой клятвой: на это время вся моя власть принадлежит рыбаку». Рыбака уносят.

Сцена третья

Дворец Зобейды.

Зобейда приказывает невольницам: «Приготовьте все для пиршества и пригласите ко мне Силу Сердец». Подходит к потайному шкафчику и поочередно вынимает два флакона, на одном написано «Сон», на другом «Смерть» (флаконы показываются отдельно); после колебанья Зобейда берет флакон с надписью «Смерть». Вносят блюда, кувшины, с одной стороны выстраиваются танцовщицы, с другой — девушки с флейтами и цитрами. Входит Сила Сердец, целуя край платья Зобейды. Та ласково приглашает ее сесть. Пир и праздник. Танцы. Зобейда не решается отравить Силу Сердец, берет из шкафчика второй флакон с надписью «Сон» (он демонстрируется) и выливает содержимое в кубок Силы Сердец, Зобейда приказывает: «Отдайте этот сундук чужестранцам, которые навсегда покидают нашу страну».

Действие третье

Картина первая

Тронный зал во дворце калифа.

Вносят рыбака, одетого калифом, и сажают его на трон. Рыбак шевелится, чихает, очнулся. Все повергаются перед ним ниц. Он тоже повергается ниц, его поднимают и сажают на трон. Джафар выступает, спрашивая: «Что с тобою, о калиф?» Рыбак показывает на голову и хочет бежать. Его почтительно удерживают. Он говорит: «Я, должно быть, сплю. Если я калиф, пусть мне дадут хорошей еды». Это исполняется. Рыбак доволен, но еще сомневается. «Если я калиф, пусть приведут мне мой гарем». Перед ним проводят женщин всех наций. Рыбак волнуется, начинает верить, но говорит, указывая на Джафара: «Пусть этому дадут пятьдесят палочных ударов, тогда я

поверю». Это исполняется. Калиф, вне себя от беспокойства, ищет Силу Сердец. Все отговариваются незнанием.

Картина вторая

Комната в башне магов.

Несколько стариков читают большие книги. Калиф вбегает к ним, взволнованный: «Где Сила Сердец?» Маги жгут на треножнике травы, в дыму возникает сундук, который приоткрывается, и в нем видна Сила Сердец. Калиф выхватывает меч и начинает ломать сундуки в их комнате. Оттуда показываются нечистые духи в разных видах. Испуганный калиф уходит.

Картина третья

Тронный зал.

К калифу прибыло посольство Карла Великого. Входят рыцари и оруженосцы. Их принимает рыбак. Он сперва пугается, когда они салютуют мечами. Ободрившись, выпрашивает разные вещи, которые видит на них. Ему говорят: «О калиф, ты должен отдарить послов». Он колеблется, наконец решается, и по его знаку слуги вносят разные вещи. Слуги Зобейды вносят сундук с Силой Сердец (он, полуприкрытый, демонстрируется на заднем плане) и отдают его послам со словами: «От госпожи нашей Зобейды». Послы уходят. За ними уносят вещи. Вбегает калиф с обнаженным мечом и начинает ломать сундуки. Рыбак думает, что это вор, и кричит: «Убейте его». Придворные колеблются, а Джафар ударом палки сзади оглушает рыбака, которого по знаку калифа переодевают в простое платье и уносят. Калиф приказывает: «Вскрывают все сундуки во дворце».

Картина четвертая

Улица Багдада перед дворцом.

Слуги вносят рыбака и бросают на землю. Он садится, удивляется и то принимает гордые позы, то щупает себя. Проходит посольство. Рабы с трудом несут поклажу, видя рыбака, хватают его и, несмотря на его протесты и угрозы, заставляют взять на плечи один из сундуков. В нем Сила Сердец (демонстрируется на заднем плане). Рыбак отстает от других и убегает с сундуком. За ним гонятся, но напрасно. На базаре перед лавкой Синдбада он останавливается отдохнуть и садится на сундук. Сила Сердец просыпается и двигается (демонстрируется на заднем плане!). Рыбак вскакивает и, продав сундук Синдбаду, убегает. Синдбад освобождает Силу Сердец.

Действие четвертое

Картина первая

Дом Синдбада.

Синдбад женится на Силе Сердец. Праздник, кади совершает формальности брака, записывает его в книгу. Невесту ведут в спальню. Туда же в сопровождение женщин входит Синдбад. Является Джафар. «Именем калифа приказываю тебе не вступать в брак с Силою Сердец». Все смущены. Синдбад объясняет, что брак уже заключен. Джафар говорит: «Тогда именем калифа приказываю тебе развестись». Синдбад в отчаянье, но должен покориться. Он и Сила Сердец следуют за Джафаром.

Картина вторая

Дворец Зобейды.

Калиф у Зобейды. Та, скрывая свою ревность, спрашивает, что будет, если Синдбад уже женился на Силе Сердец. Калиф отвечает: «Я не могу отнять жену у моего подданного и разведу их». Он уходит. Зобейда зовет. Входит слуга. Зобейда приказывает: «Когда Синдбад пойдет разводиться, схватить его и отдать пиратам. Тогда он будет вне власти калифа, и, пока он жив, калиф не коснется Силы Сердец». Слуга уходит.

Картина третья

Вечер. Улица. Багдада.

Джафар ведет Силу Сердец и Синдбада. Вооруженные люди нападают на них и уносят Синдбада. Джафар их преследует. Сила Сердец возвращается в дом Синдбада (на заднем плане). Синдбада приносят в воровской притон у реки. Пираты щупают его, смотрят ему на зубы и наконец покупают и ведут за собой к паруснику.

Картина четвертая

Море.

Корабль в море. На палубе пираты пьют, играют в кости, заставляют Синдбада прислуживать им. Буря. Корабль тонет, пьяные пираты тоже. Синдбад плывет. Воспоминанье о Силе Сердец (на заднем плане).

Картина пятая

Пустынный остров.

Синдбад выходит на берег и встречает почтенного старика. Тот просит перенести его через ручей. Едва очутившись на спине Синдбада, он сжимает его коленями, колотит палкой и заставляя возить по острову, причем рвет с деревьев плоды и ест. Синдбад выжимает в пустую тыкву сок винограда и ставит на солнце. Старик после некоторого времени пьет этот сок, пьянеет и, заснув, падает с плеч Синдбада. Синдбад вновь у моря, машет чалмой, корабль пристает и берет его с собою (на заднем плане). Сила Сердец противостоит уговорам калифа. Синдбад плывет к Багдаду.

Картина шестая

Площадь Багдада.

Проходит глашатай, крича: «Плачьте, правоверные, калиф Гарун аль-Рашид умер». Входит Синдбад. Он притворяется тоже плачущим, но на самом деле смеется. Смеется также рыбак, бродящий на базаре, говоря: «Я сам был калифом и знаю, как это невесело». Его окружает народ и хочет избить. Синдбад выручает его и ведет к себе в дом, где их встречает Сила Сердец. Все трое довольные, с крыши дома они смотрят, как движется погребальный кортеж.

Конец

Подчеркнутые слова выявляются на экране.

Рассказы

Тень от пальмы

Радости земной любви

Посвящается Анне Андреевне Горенко

Одновременно с благородной страстью, которая запыхала в сердце Данте Алигиери к дочери знаменитого Фолько Понтимари, называемой ее подругами нежной Беатриче, Флоренция видела другую любовь, радости и печали которой проходили не среди холодных небесных пространств, а здесь, на цветущей итальянской земле.

I для того, кому Господь Бог в бесконечной мудрости своей не позволил быть свидетелем этого прекрасного зрелища, я расскажу то немногое, что мне известно о любви благородного Гвидо Кавальканти к стройной Примавере.

I

Долго страдая от тяжелого, хотя и сладкого, недуга скрытой любви, Кавальканти наконец решил открыться благородной даме своих мыслей, нежной Примавере, рассказав в ее присутствии вымышленную историю, где истина открылась бы под сетью хитроумных выдумок, подобно матовой белизне женской руки, сплошь покрытой драгоценными кольцами венецианских мастеров.

Случай — увы! слишком часто коварный союзник влюбленных — на этот раз захотел помочь ему и устроил так, что, когда Кавальканти посетил своего друга, близкого родственника прекрасной Примаверы, он нашел их обоих, беседующих в одной из зал их дома, и, не возбуждая никаких подозрений, мог просить разрешения рассказать рыцарскую историю, будто бы недавно прочитанную им и сильно поразившую его воображение. Его друг высказал живейшее нетерпение выслушать ее, а Примавера, опустив глаза, улыбкой дала понять свое желание, обнаружив при этом еще раз ту совершенную учтивость, которая отличает лиц высокого происхождения и не менее высоких душевных качеств.

Кавальканти начал рассказывать о синьоре, который любил даму, не только не отвечавшую на его чувства, но даже выразившую желание не встречаться с ним совсем, ни на улицах их родного города, ни на собраниях благородных дам, где они показывают свою красоту, ни в церкви во время мессы; как этот рыцарь, с сердцем, где, казалось, все печали свили свои гнезда, скрылся в самый отдаленный из своих замков для странных забав, мучительных наслаждений неразделенной любви. Знаменитый художник из золота и слоновой кости сделал ему дивную статую дамы, любовь к которой стала властительницей его души. Потянулись одинокие дни, то печальные и задумчивые, как совы, живущие в бойницах замка, то ядовитые и черные, как змеи, гнездящиеся в его подвалах. С раннего утра до поздней ночи склонялся несчастный влюбленный перед бездушной статуей, наполняя рыданиями и вздохами гулко звучащие залы. И всегда только нежные и почтительные слова слетали с его уст, и всегда он говорил только о любимой даме. Никто не знает, сколько прошло тяжелых лет, и скоро погасло бы жгучее пламя жестокой жизни и полуослепшие от слез глаза взглянули бы в кроткое лицо вечной ночи, но великая любовь сотворила великое чудо: однажды, когда особенно черной тоской сжималось сердце влюбленного и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя. И когда он припал к ней губами, лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, и он встал, сильный, смелый и готовый для новой жизни. А статуя так и осталась с протянутой рукой.

Голос Кавальканти дрожал, когда он рассказывал эту историю, и он часто бросал красноречивые взгляды в сторону Примаверы, которая слушала, скромно опустив глаза, как и подобает девице столь благородного дома. Но — увы! — его хитрость не была понята, и когда его друг принялся горько сетовать на жестокость прекрасных дам, Примавера заметила, что, несмотря на всю занимательность только что рассказанной истории, она всем рыцарским романам и любовным новеллам предпочитает книги благочестивого содержания и в особенности «Цветочки» Франциска Ассизского. Сказав это, она поднялась и вышла с таким благородным достоинством, что к ней можно было приложить слова древних поэтов, воспевающих походку богинь.

Видя столь полную неудачу давно лелеянного плана, Кавальканти ощутил в сердце горькое отчаяние и, не надеясь, что сумеет овладеть собой, попрощался со своим другом, прося его не отягощать себя скукой проводов. Солнце уже село, и по залам плавали сумерки, когда вдруг у самых дверей Кавальканти заметил нежную Примаверу, одну, смущенно наклонившуюся к синеватому мрамору пола. «Я уронила кольцо, — сказала она немного тише обыкновенного, — не хотите ли помочь мне его найти?» И, когда он нагнулся, рука, тонкая, нежная, с бледно-голубыми жилками, будто случайно скользнула по его лицу, но на миг задержалась у губ. И быстрота, с которой он поднял голову, не могла сравниться с быстротой Примаверы, скрывшейся за тяжелой из французского дуба дверью. Тогда Кавальканти понял, что он все равно не найдет кольца, как если бы оно упало в пенные воды Адриатического моря, и пошел домой с душой, достигнувшей высшей степени блаженства.

II

Последнее время Кавальканти часто встречался с прекрасной Примаверой то на собраниях, где юноши благородных домов удостоиваются высокой чести быть служителями своих дам, то во время благочестивых процессий, то в доме ее родителей. И ни нежные взгляды, ни тяжелые вздохи или любовные сонеты не могли поколебать того особенно холодного невнимания, с каким Примавера относилась к внушенной ею любви. В то время вся Флоренция говорила о заезде венецианском синьоре и о его скорее влюбленном, чем почтительном, преклонении перед красотой Примаверы. Этот венецианец одевался в костюмы, напоминающие цветом попугаев; ломаясь, пел песни, пригодные разве только для таверн или грубых солдатских попок; и хвастливо рассказывал о путешествиях своего соотечественника Марко Поло, в которых сам и не думал участвовать. И как-то Кавальканти видел, что Примавера приняла предложенный ей сонет этого высокомерного глупца, где воспевалась ее красота в выражениях напыщенных и смешных: ее груди сравнивались со снеговыми вершинами Гималайских гор, взгляды с отравленными стрелами обитателей дикой Тартарии, а любовь, возбуждаемая ею, с чудовищным зверем Симлой, который живет во владениях Великого Могола, ежедневно пожирая тысячи людей; вдобавок размер часто пропадал, и рифмы были расставлены неверно. Но все-таки в минуты унынья сердце Кавальканти томилось

безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому, как благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов.

Задумчивый, чувствуя себя первым в доме печалей, шел он однажды по площади, размышляя о том, чтобы уехать навсегда в далекие страны, или просто ударом стилета оборвать печальную нить своей жизни. Был полдень, жаркий и душный. Тихие улицы старинной Флоренции, казалось, дремали в ожидании вечера, когда по ним грациозной вереницей пройдут прекрасные и нежные дамы, а влюбленные юноши, стоя в отдалении, будут опускать пылающие взоры. Кавальканти шел, весь отданный своим черным думам, и, только случайно подняв глаза, заметил Лоренцо, старого нищего, хитрость которого была хорошо известна среди молодежи. Он стерег влюбленных во время их встреч и условно постукивал костылем, когда приближались нескромные или ревнивцы. Нежные дамы только ему доверяли относить письма, назначая тайные свидания. И сейчас старый Лоренцо с лукавой усмешкой запрятывал что-то в бездонные складки своего шерстяного плаща, а рядом с ним, тщетно стараясь скрыть смущение, стояла стройная Примавера в платье, сверкающем ослепительной белизною.

Столь же острая, сколь и внезапная, мука ревнивого подозрения огненным облаком окутала взоры Кавальканти, и, когда он снова получил возможность владеть своими чувствами, Лоренцо уже скрылся за соседним углом, а Примавера торопливыми шагами направлялась домой. Его присутствие осталось незамеченным обоими. С горьким отчаянием в сердце, чувствуя на лице смертельную бледность, Кавальканти быстро догнал Примаверу и голосом, дрожащим от страха быть прерванным, начал рассказывать, как давно он любит ее, как велики его страдания, и просил, как последней милости, сказать, какому счастливцу старый Лоренцо понес письмо; он выражал надежду, что ее сердце отдано действительно достойному, и клялся умереть сегодня же, никому не открыв доверенной ему тайны.

Примавера шла, не поднимая головы и смущенно перебирая тонкими пальцами ароматные четки, но по мере того, как Кавальканти говорил, ее губы вздрогнули, щеки покрылись румянцем, и, не дослушав, она принялась отвечать горячо и быстро. Она удивлялась даже мысли, что ею может быть послано письмо. Никогда благородные дамы не решились бы на такой поступок. Так можно думать и говорить разве только о бродячих певицах из Неаполя или о женщинах предместья, с которыми Кавальканти, конечно, очень хорошо знаком. Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи? И, не закончив свою речь, с лицом, розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома.

Полный стыда за свои подозрения и неосновательную ревность, Кавальканти медленно пошел обратно, утешая себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех, и обещая себе в будущем не тревожить ее стыдливости ни вздохами, ни взглядами, чтобы хоть как-нибудь заслужить прощение своей вины. Из этих размышлений его вывел старый Лоренцо, давно бродивший вокруг его дома, как большая летучая мышь. «От прекрасной Примаверы, — сказал он осторожно протягивая письмо, — она дала мне за это целый дукат».

III

Немного времени спустя случилось так, что Кавальканти заболел и волею Всемогущего Господа Бога должен был перейти в число граждан вечной жизни. Заплакала стройная и нежная Примавера, роняя частые крупные слезы на положенное в мраморную гробницу тело ее возлюбленного, а благородные синьоры с грустными лицами вспоминали, какие прекрасные вещи сделал отошедший в своем неустанном служении великолепной музе итальянской поэзии; называли его сонеты, баллады и дивную канцону о природе любви. Задумчивая Флоренция одевалась в траур.

Светлый Ангел ввел Кавальканти в райские двери, на которых зеленоватым лучистым светом были начертаны следующие слова: «Высшая радость, вечное счастье вам, входящие, отныне бессмертные». И сказал Ангел: «Хочешь, я поведу тебя туда, где в свите девушек, окружающих Деву Марию, находится нежная, как шелковистое облачко, кроткая Беатриче, прелести которой дивятся даже ангелы». И Кавальканти ответил: «Как мне благодарить тебя, о светоносный? Ты знаешь, чем усладить страдающее сердце. Веди меня к прекрасной Беатриче и дай мне смелости хоть изредка взглядывать на ее сверкающие одежды. Ведь она была подругой Примаверы».

И сказал Ангел: «Хочешь, я поведу тебя туда, где в серебряных рощах рая проходит яркий, как солнце, невинный, как восточная лилия, Иисус Христос; с нежной лаской целует он всякого вновь приходящего к Нему». И Кавальканти ответил: «Светоносный, твоя благодать превосходит все мои ожидания! Я попрошу у Иисуса Христа то золото, которое принесли Ему с востока три мудрых царя, и, сделав узорное кольцо, как жемчужину, возьму я слезу, ночью упавшую из кротких глаз в саду Гефсиманском. И у меня будет, что подарить Примавере, когда она придет».

И сказал Ангел: «Хочешь, я поведу тебя туда, где в Силе и Славе, окруженный легионами светлых духов, восседает на троне Бог Отец? Золотой венец над головой, на плечах золотая мантия, а в ногах лестница, сияющая золотом, по которой ангелы сходят на землю, а души

Проведников поднимаются к райским блаженствам». И Кавальер ответил: «Если хочешь исполнить самое сокровенное желание мое, о светоносный, пойдём туда и ускорим наши шаги; и по той золотой лестнице, о которой ты говоришь, я спущусь на землю, где живет моя Примавера».

Принцесса Зара

— Ты действительно из племени Зогар, что на озере Чад? — спросила старуха, когда ее спутник вступил в полосу лунного света. Не отвечая, он откинул ткань, скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под темной бронзовой кожей родившегося в Африке араба. Открылся и священный знак на лбу, даваемый только особенно важным посланцам. Он успокоил подозрительность старческих дум.

— Ну, хорошо, — бормотала старуха, — я знаю, что людям из племени Зогар можно верить. Это не то, что наши занзибарские молодцы. Их бы уж я не повела в покои принцессы Зары. Что для них дочь великого бея? Товар, каким они нагружают свои суда для отправки в Константинополь. Но ты показал мне амулет, который заставил биться мое старческое сердце. Ведь я тоже с озера Чад. Да и червонцы твои звончей и полновесней наших, сплошь опиленных иерусалимским ростовщиками.

Ее спутник не отвечал ни слова, был бледен и, казалось, напряженно думал о чем-то. Они осторожно крались вдоль стены по мощённому белыми плитами двору занзибарского дворца.

Где-то совсем около них, невидимый, глухо kloкотал океан, и неподвижный воздух тропической ночи был напоен его свежим дыханием. Лунный свет серебряными полосами ложился на влаге черных бассейнов и отсвечивался в каплях, застывших на розовом мраморе ступеней. Звезды наклонялись близко-близко и были живы и уверенны, как очи девушки, которая согрешила и хочет скрыть свой позор. Зачем в этот мир роскоши и греха пришел обитатель широких равнин и зеленых дебрей, воин стройный в ожерельи из львиных зубов?

Давно спутаны страницы в книге судеб, и никто не знает, какими удивительными путями придет он к своей гибели.

Вот перед путниками зачернели арка и маленькая дверь, ведущая в девичью половину гарема. Два условные удара бронзовым молотком, сверкающие зрачки молодой негротянки, и они вошли. Было тускло красноватое пламя светильника, но и оно позволяло разглядеть сказочное богатство персидских ковров, украсивших стены и пол, сидения сандалового дерева с инкрустациями слоновой кости, небрежно брошенные музыкальные инструменты и фразы святого Корана, зеленой эмалью начертанные на золотых щитах.

Неподвижный и легкий стоял аромат мускуса, индийских духов и юного девичьего тела. Принцесса Зара, вся закутанная в шелка, сидела на низкой и широкой тахте. Казалось, не для любви, а для чего-то высшего были созданы ее неподвижные, точно из коралла вырезанные губы, слишком тонкий стан и прекрасные глаза с их загадочно-печальным взглядом. На руках, обнаженных по локоть, позванивали золотые чеканенные браслеты, и узкий обруч поддерживал роскошную тяжесть темных кудрей. Статный пришелец понял, что он не ошибся, придя сюда.

Склонившись, срывающимся от волнения голосом он просит принцессу удалить женщин, потому что только наедине он мог открыть ей свою великую тайну, от дымных озер и опасных долин приведшую его в Занзибар. Ничего не ответила Зара, но старуха заторопилась, увлекая за собой невольницу.

— Не бойся ничего, дитя мое, — шептала она принцессе, — он не сделает тебе дурного. Людям из племени Зогар можно верить.

И скрылась, с успокоительными подмигиваниями и смешками, и, как покорная собака, последовала за ней негротянка.

Пришелец и Зара остались одни. — Кто ты, — спросила Зара тихо, так тихо, что можно было только догадаться о красоте и звучности ее голоса, — кто ты и зачем ты пришел? И, содрогнувшись, ответил ей высокий пришелец. — Я из племени Зогар, с великого и священного озера Чад. Младший сын вождя, я считался сильным среди сильных, отважным среди отважных. В ночных битвах я не раз побеждал рыкающих золотогривых львов, и свирепые пантеры, слыша мои Шаги, прятались, боязливые, в глухих оврагах. Смуглые девы чужих племен не раз звонко рыдали над трупами павших от моей руки. Но однажды не военные барабаны загрохотали над равниной, люди племени Зогар сошлись на холм, и великий жрец, начертав на моем лбу священный знак посланника, указал мне путь к тебе. По течению

реки Шари я прошел в область Ниам-Ниам, где низкорослые, безобразные люди пожирают друг друга и молятся богу, живущему в черном камне. Ядовитые туманы Укереве напоили мое тело огнем лихорадки, около Нгези я выдержал бой с громадной змеею, люди Ньязи сорок дней гнались за мной по пятам, пока наконец слева от меня не засверкали серебряные снега Килима-Нджаро. И восемь раз полумесяц становился луной прежде, чем я пришел в Занзибар.

Высокий пришелец перевел дыхание, и Зара молчала, только взглядом простым и усталым спросила его:

— Зачем? И он продолжал:

— Верно Пророку племя Зогар, и милостив к нему Пророк. Дивным счастьем одарил он его. В наших лесах живет Светлая Дева, любимейшее создание Аллаха, радость и слава людей. По природе единая и божественная, она не умирает, но иногда оставляет свою прежнюю оболочку, является в другой среде бедных человеческих селений, и тогда великий жрец указывает, где можно ее искать. За ней отправляется славнейший из племени, открывает ей ее высокое назначение и уводит в царство изумрудных степей и багряных закатов. Там живет она в счастливом уединении. Только случайно можно увидеть ее. Но мы молимся ей невидимой, как залог высшего достоинства, которое праведные получают в садах Аллаха. Потому что, если мужчины сильны и благочестивы, жены прекрасны и верны, то только у непорочных девушек есть крылья широкие и белоснежные, хотя и не замечаемые земным взором. Их голос — как лютня старинных поэтов, их взоры прозрачны, как влага источника, в изгнании утолившего жажду Пророка. Они выше гурий, выше ангелов, они как души в седьмом кругу райских блаженств.

Снова замолчал пришелец, и не отвечала Зара, только взгляд ее стал загадочен и непроницаем, как те звезды, что светили пришельцу в его пути. Но, захваченный своей великой мыслью, ничего не заметил красивый араб; он продолжал:

— Называющая себя принцессой Зарой, ныне великий жрец указал на тебя. Это ты — Светлая Дева лесов, и я зову тебя к твоим владениям. Легконогий верблюд царственной породы с шерстью шелковой и белой, как молоко, ждет нас, нетерпеливый, привязанный к пальме. Как птицы, будем мы мчаться по лесам и равнинам, в быстрых пирогах переплывать вспененные реки, пока перед нами не засинеют священные воды озера Чад. На берегу его есть долина, запрещенная для людей. Там рощи стройных пальм с широкими листьями и спелыми оранжевыми плодами теснятся вокруг серебряных ручьев, где запах ирисов и пьяного алоэ. Там солнце, ласковое и нежное, не дышит зноем, и его сияние сливается с прохладой ветров. Там пчелы темного золота садятся на розы краснее, чем мантии древних царей. Там все — и солнце, и розы, и ветер — говорят и мечтают о тебе. Ты поселишься в красивом мраморном гроте, и резвые, как кони, водопады будут улаживать твои тихие взоры, золотой песок зацелует твои стройные ноги, и ты будешь улыбаться причудливым раковинам. И когда на закате к водопою придет стадо жирафов, ты погладишь шелка их царственно-богатых шкур, и, ласкаясь, они заглянут в твои восхищенные глаза.

Так будешь ты жить, пока не наскучишь волшебствами счастья и не пожелаешь, подобно вечернему солнцу, уйти для новых воплощений. Тогда снова на стук барабанов сойдется могучее племя, и снова великий жрец укажет достойному, где найти тебя, скрывшуюся под новой личиной. Не раз это было и не раз повторится среди тысячелетий. Но теперь мы должны спешить. Уж опаловая луна в своем неуклонном падении коснулась леса магнолий, скоро юное солнце встанет над розовым океаном. Торопись, пока не проснулись слуги великого бел. Звонкие червонцы крепко скуют уста старухи, а если нет, племя Зогар испытано в искусстве владеть кинжалом.

Кончил пришелец и с надеждой протянул руки к Заре. Тихо и сонно было в гареме, только за стеной рокотал океан, и печально кричала какая-то неизвестная, но тревожная птица. Медленная, гибкая, как лилия, встала принцесса Зара и устремила на араба свой загадочный взор. Тихие и странные, зашелестели ее слова:

— Ты хорошо говорил, пришелец, но я не знаю того, о чем ты говорил. Если же я нравлюсь тебе и ты хочешь меня ласкать, я охотно подчинюсь твоим желаниям. Ты красивее того европейца, что недавно тоже ценой золота проник сюда в гарем. Но он не говорил мне ничего, он только улыбался и обнимал меня, как хотел. Купленной рабыней стояла я перед ним, но мне была сладка горечь его ласк, и я плакала, когда он уехал. Теперь передо мною ты; если хочешь, я буду твоей.

И полуоткрыв на груди шелковую ткань и полузакрыв глаза, она ждала.

Безумным от муки взором смотрел на нее высокий пришелец. Так вот она, Светлая Дева Лесов, которой он молился всю свою жизнь, которой молились его отцы и деды! Вот она, униженная и не сознающая своего позора, с грешной улыбкой на нежных устах! Красные

молнии мысли плетались в его мозгу, кто-то чудовищный и торжествующий уродливой ногой наступил ему прямо на сердце. Широкие равнины, дни веселых охот, радости славы, что все это перед нечеловеческой болью, обуявшей его душу?! Случайно нацупанный острый кинжал. Верный и твердый удар в грудь. И, пошатнувшись, упал сильный воин лицом вниз, вздрагивая и обагрив горячей кровью дорогие персидские ковры.

Неподвижно, еще не в силах сообразить происшедшее, стояла гибкая Зара, прислонясь к узорчатой стене. Гордая своей красотой, она хотела только испытать, останется ли ее прелесть неборимой и в унижении, она не поняла, к чему ее звали. И в ее душе уже шевелилось сожаление, зачем, подчинясь опасному девичьему капризу, она солгала и обманула пришельца, звавшего ее к возможному и ослепительному счастью.

А на самом рассвете свирепая гиена растерзала привязанного к пальме белоснежного верблюда.

Золотой рыцарь

Золотым блистательным полднем въехало семеро рыцарей-крестоносцев в узкую глухую долину восточного Ливана. Солнце метало свои лучи, разноцветные и страшные, как стрелы неверных, кони были утомлены долгим путем, и могучие всадники едва держались в седлах, изнемогая от зноя и жажды. Знаменитый граф Кентерберийский Оливер, самый старый во всем отряде, подал знак отдохнуть. И как нежные девушки, ошеломленные неистово-пьяным и томящим индийским ветром, бессильные попадали рыцари на голые камни. Долго молчали они, ясно чувствуя, что уже не подняться им больше и не сесть на коней, и что скоро жажда, подобно огненному дракону, свирепыми лапами став им на грудь, перервет их пересохшие горла. Наконец сэр Гуго Эльвистам, темплиер с душой сирийского льва, приподнявшись на локте, воскликнул: «Благородные сэры и дорогие братья во Христе, вот уже восемь дней, как мы блуждаем одни, отбившись от отряда, и два дня тому назад мы отдали последнюю воду нищему прокаженному у высохшего колодца Мертвой Гиены. Но если мы должны умереть, то умрем, как рыцари, стоя — и споем в последний раз приветственный гимн нашему небесному Синьору, Господу Иисусу Христу». И он медленно поднялся, с невидящим взором, цепляясь за колючий кустарник, и один за другим начали подниматься его товарищи, шатаясь и с трудом выговаривая слова, как бы упившиеся кипрским вином в строгих и сумрачных залах на торжественном приеме византийского императора.

И странно, и страшно было бы на душе одинокого пилигрима или купца из далекой Армении, если бы случайно, проходящие, увидели они семерых безвестно умирающих рыцарей и услышали бы их тихое созвучное пение.

Но внезапно слова их молитвы прервал приближающийся топот коня, звучный и легкий, как звон серебряного меча в ножнах архистратига Михаила. Нахмурились гордые брови молящихся, и их души, уже сдружившиеся с мягким сумраком смерти, омрачились ненужной помехой, а на повороте ущелья появился неизвестный рыцарь, тонкий и стройный, красиво-могучий в плечах, с опущенным забралом и в латах чистого золота, ярких, как блеск звезды Альдебаран. И конь золотистой масти дыбился и прыгал и еле касался копытами гулких утесов.

Голубой Герольд на коне белоснежном, с лицом кротким и мудрым, тайно похожим на образ апостола Иоанна, спешил за своим господином. Чудные всадники быстро приближались к умирающим рыцарям, певшим гимн.

Одетый в золото осадил коня и наклонил копьё, как перед началом сражения, а герольд, поднимая щит со странным гербом, где мешались лилии и звезды, столпы Соломонова храма и колючие тёрны, воскликнул слова, издавна принятые для турниров:

«Кто из благородных рыцарей, присутствующих здесь, хочет сразиться с моим господином, пеший или конный, на копьях или на мечах?» И отъехал в сторону, ожидая.

Неожиданный подул откуда-то ветер, принося освежительную прохладу, внезапно окрепли мускулы дотоле бессильных рыцарей, и огненный дракон жажды перестал терзать их горло и грудь, сделался совсем маленьким и с беспокойным свистом уполз в темную расщелину скал, где таились его братья скорпионы и мохнатые тарантулы.

Граф Кентерберийский Оливер первый ответил голубому герольду от имени всех. В речи изысканно — вежливой, но полной достоинства, он сказал, что они нисколько не сомневаются в благородном происхождении неизвестного рыцаря, но тем не менее желали бы видеть его поднявшим забралом, ибо этого требует старинный рыцарский обычай. Едва он успел окончить свои слова, как тяжелое сияющее забрало поднялось, открывая лицо совершеннейшей красоты, которая когда-нибудь цвела на земле и на небе, глаза полные светлой

любовью, щеки нежные, немного бледные, алые губы, о которых мечтала святая Магдалина, и золотую бородку, расчесанную и надушенную самой Девой Марией.

Не посмели догадаться благочестивые рыцари, кто пришел облегчить их страдания и разделить забавы, хотя волна мистического восторга и захватила их души, как ураган в открытом море схватывает оробелых пловцов, чтобы, повертев их среди изумрудных брызг и клокочущей пены, бросить на отлогий берег островов неведомого счастья. И, полные чувством благоговения и таинственной любви к своему противнику, они просили его принять дань их уважения перед началом турнира.

Первым выступил герцог Нортумберландский, но не помогли ему ни руки, бросавшие на землю сильнейших, ни очи, побеждавшие прекраснейших дам при дворе веселого короля Ричарда. Он был выбит из седла и покорно отошел в сторону, удивляясь, что его сердце, несмотря на поражение, поет и смеется. Его товарищей одного за другим постигла та же участь. И когда золотой незнакомец с заразительно-веселым, нежным смехом повалил на землю последнего, вышедшего против него, барона Норвичского, огромного и могучего, как медведь Пиренеев, все рыцари согласно решили, что копье их противника не знает равного во всем английском войске, а следовательно и во всем мире.

За турниром должен следовать пир. Так было принято в Старой веселой Англии. И захваченные чарами рыцари не удивились, когда на место их копий, воткнутых в трещины скал, поднялись цветущие пальмы с обольстительно-спелыми плодами и прозрачный ручеек выбежал из голой скалы, звеня, как бронзовые запястья любимейшей дочери арабского шейха.

Весело пировали утомленные рыцари, говорили о битвах и любви и пели стройные песни, сложенные о них менестрелями.

Было сладко им, заглянувшим в лицо смерти, смотреть на солнце и зелень, каждый глоток плескался радостью в широко открытое сердце, и каждый проглоченный кусок приобщал их к новой жизни.

Золотой победитель сидел с другими и ел и пил, и смеялся.

А вечером, когда зашептались далекие кедры и тени все чаще и чаще стали задевать своими мягкими крыльями лица сидящих, он сел на коня и углубился в ущелье. Остальные, точно замороженные, последовали за ним. Там возвышалась широкая и отлогая лестница из белого мрамора с голубыми жилками, ведущая прямо на небо. Тяжко зазвучали на мраморе копыта земных коней, и легкий ласкался к ним конь золотистый. Неизвестный рыцарь показывал дорогу, и скоро уже ясно стали различаться купы немислимо-дивных деревьев, утопающих в синем сиянии. Среди них свирельными голосами пели ангелы. Навстречу едущим вышла нежная и благодатная Дева Мария, больше похожая на старшую сестру, чем на мать золотого рыцаря, Властительного Синьора душ, Иисуса Христа.

Через несколько дней английское войско, скитаясь в горах, набрело на трупы своих заблудившихся товарищей. Отуманилось сердце веселого короля Ричарда, и, призвав арабского медика, он долго расспрашивал его о причине смерти столь знаменитых воинов.

— Их убило солнце, — ответил ученый, — но не грусти, король, перед смертью они должны были видеть чудные сны, каких не дано увидеть нам, живым.

Последний придворный поэт

Он был ленив, этот король нашего века, ленив и беспечен не меньше, чем его предки; и он никак не мог собраться подписать отставку и приличную пожизненную пенсию старому поэту, сочинявшему оды на торжественные случаи придворной жизни. А сам поэт упорно не хотел уходить.

Когда рождался или умирал кто-нибудь из королевской семьи, приезжал чужеземный посол, или заключался союз с соседней державой, после всех обычных церемоний двор сходил в тронную залу, и хмурый, вечно чем-то недовольный поэт начинал свои стихи. Странно звучали обветшалые слова и вышедшие из моды выражения, и жалок был парик пудренный старинного фасона посреди безукоризненных английских проборов и величаво сияющих лысин. Аплодисменты после чтения тоже были предусмотрены этикетом, и, хотя хлопали только концами затянутых в перчатки пальцев, все-таки получался шум, который считали достаточным для поощрения поэзии.

Поэт низко кланялся, но лицо его было хмуро и глаза унылы, даже когда он получал из королевских рук обычный перстень с драгоценным камнем или золотую табакерку.

Потом, когда начинался парадный обед, он снимал свой парик и, сидя посреди старых сановников, говорил, как и те, о концессиях на железные дороги, о последней краже в министерстве иностранных дел и очень интересовался проектом налога на соль.

И, отдав, как это было установлено, королевский подарок казначею, взамен крупной суммы денег, он возвращался в свой большой и уютный дом, доставшийся ему от отца, тоже придворного поэта; покойный король сделал эту должность наследственной, чтобы раз навсегда установить в ней порядок и отстранить от нее выскочек.

Дом был угрюм и темен, как душа его владельца. По вечерам освещался только кабинет, где на стенах вместо книг были расставлены витрины с редкими старинными табакерками. Старый поэт был страстным коллекционером.

Давно, давно он был женат, и тогда в этом доме шелестели шелковые платья, тонкие руки с любовью переворачивали страницу красиво переплетенных книг, и стенные гобелены удивлялись розовости кожи в легком вырезе пеньюара. Но и года не могла прожить здесь жена придворного поэта: убежала с каким-то молодым и неизвестным художником. Поэт начал поэму в мрачном байроновском стиле, где должно было говориться о счастье мести, но как раз в это время умер двоюродный дядя короля, потребовалось написать по этому поводу элегию, и после уже не было охоты возвращаться к начатой поэме.

Потянулись годы, строгие и скучные, как затянутые в мундиры камергеры, и единственными событиями которых были приобретения все новых и новых табакерок.

И хотя всякий знает, что чем дальше затишье, тем сильнее гроза, все же, если бы придворному поэту предсказали, как кончится его служба, он нахмурился бы еще мрачнее, негодуя презрением отвечая на предсказание, как на неуместную шутку.

Началом всего, конечно, надо считать парадный обед по случаю приезда испанского принца, когда в числе приглашенных, сидевших вблизи поэта, был сановник прошлого царствования — дряхлый, седой и беззубый. Он почему-то очень заинтересовался предыдущим чтением стихов, которых он, конечно, не мог слышать из-за своей глухоты, и долго говорил, что в них надо переделать предпоследнюю строчку, а потом, вдруг захихикав, повторил остроту, услышанную им, должно быть, от его правнука, что поэтов решено заменить граммофонами.

Поэт, слушавший его рассеянно и мечтавший присоединиться к соседнему разговору о функциях нового ордена, может быть и простил бы старику его дерзкую шутку, если бы не заметил, что король глядит в их сторону и смеется. Он ответил зло и резко и тотчас по окончании обеда возвратился домой, раздраженный более обыкновенного. А на следующее утро в его сердце созрело твердое решение. Его слуга целый день бегал по книжным магазинам, покупая для него стихи других поэтов, «городских», как прежде он их называл с презрительной усмешкой. И два месяца в кабинете с забытыми ныне табакерками шла напряженная и тайная работа. Придворный поэт учился у своих младших братьев и перебивал манеру письма.

А при дворе было все спокойно, и никто не подозревал, что готовится в хмуром доме на краю города. Влюблялись и ссорились, низкопоклонничали и совершали подвиги благородства, на искренно думали, что поэзия — это только пережиток старинных, слишком торжественных обычаев. Наконец наступил знаменательный день. Принцесса крови выходила замуж, понадобились стихи, и об этом дали знать придворному поэту.

Он явился угрюмый и нелюдимый, как всегда; только наблюдательный взгляд мог заметить что-то новое в легкой, недоброй усмешке, трепетавшей в концах его губ и в особенной нервности, с которой он сжимал приготовленные стихи. Но кому было дело до него и до перемены его настроения? Для молодежи он был слишком стар, а сановники высших степеней, несмотря на всю свою учтивость, не могли смотреть на него, как на равного.

Приступили к церемонии. Величавый священник изящно и быстро совершил обряд венчания, иностранные послы приложились к руке

необразной, и поэт, бледный, но решительный, начал чтение. Смутный шепот пробежал в толпе придворных. Даже самые молодые, вечно в кого-нибудь влюбленные, фрейлины с удивлением подняли головы и прислушались.

Как? Где же обращения к богу ветров, к орлам, изумленному миру и прочие цветы старинного красноречия? Стихи были совсем новые, может быть прекрасные, но во всяком случае не предусмотренные этикетом. Похожие на стихи городских поэтов, столь нелюбимых при дворе, они были еще ярче, еще увлекательнее, словно долго сдерживаемый талант придворного поэта вдруг создал все, от чего он так долго и упорно отрекался. Стремительно выбегали строки, нагоняя одна другую, с медным звоном встречались рифмы, и прекрасные образы вставали, как былые призраки из глубины неведомых пропастей. Взоры старого поэта сверкали, как у парящего орла, и как орлиный крик звучал его голос.

Какой скандал! В присутствии всего двора, в присутствии самого короля, осмелиться прочитать хорошие стихи. Ни у кого не хватило духа аплодировать. Сурово перешептывались камергеры, молодые камер-юнкера принимали утрированно-солидный вид, и шокированные дамы с негодующим удивлением поднимали тонко вырисованные брови. А король недовольным жестом отложил в сторону уже приготовленный для награды перстень.

Одиноким, словно зачумленным, вышел придворный поэт, не дожидаясь окончания торжества, и слышал, как великий канцлер приказывал секретарю приготовить указ об его отставке.

Но зато как сладко было возвратиться домой и остаться совсем одному. С гордостью ходил он по анфиладе вечерних зал и то громко декламировал свои последние стихи, то с лукавой старческой усмешкой поглядывал на книги городских поэтов. Он знал, что он не только сравнялся с ними, но и превзошел их. Наконец, желая поделиться с кем-нибудь своей радостью, он написал письмо своей жене — первое со времени их разрыва. С выражениями полного торжества он говорил, что наконец-то ему не аплодировали; сообщил о своей отставке, приложил список стихов и в конце добавил с вполне понятной гордостью: «И такого человека — ты покинула!»

Черный Дик

Был веселый малый Черный Дик,

Даже слишком может быть веселый...

Н.Г.

I

Бедная и маленькая наша деревушка, и вы, дети, не находите в ней ничего примечательного, но здесь в старину случилось страшное дело, от которого леденеют концы пальцев и волосы на голове становятся дыбом.

Тогда мы, старики, были совсем молодыми, влюблялись, веселились и пили, как никогда не пить вам, уже потому, что между вами нет Черного Дика.

Бог знает, что это был за человек! Высокий, красивый, сильный, как бык, он легко побивал всех парней в округе, а драться не любил. Наши девушки были от него без ума и ходили за ним, как побитые собаки, хотя и знали, что ни за какие деньги не женился бы он ни на одной. Ну, конечно, он и пользовался этим, а мы, другие, ничего не смели сказать, потому что за обиду он разбивал головы, как пустые тыквы, да и товарищ он был веселый. Божился лучше королевского солдата, пил, как шкипер, побывавший в Америке, и когда плясал, дубовые половицы прыгали и посуда дребезжала по стенам. Не одну светлоглазую скромную невесту выгнали по его вине брюхатой из дому и много их, накрашенных, пьяных, погибло под говор разгульных матросов в корабельных доках старого Бервича. А Черный Дик только хохотал, да скалил свои белые зубы. Он всегда смеялся.

Мы, другие, до света отправлялись на рыбную ловлю, мерзли, мокли и до крови обдирали руки, вытаскивая тяжелые сети. А он спал до полудня, возился с девушками и, когда мы возвращались, встречал нас на берегу, ожидая, чтобы кто-нибудь предложил угощение. И если никто не вызывался, он сам требовал его, значительно поглядывая на свои волосатые кулаки и расправляя широкие плечи. Правда и то, что горька и уныла жизнь рыбака и что джин да богохульные, мерзкие песни были нашим единственным развлечением. Церковь даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла. Но около того времени, о котором я хочу вам рассказать,

старый пастор умер, и нам назначили другого. Этот повел дело иначе. Худой, бритый, с глазами, покрасневшими от занятий, он всюду носил за собой тяжелые книги и читал их, сурово шевеля тонкими губами. Говорят, он учился в Кембридже, и, точно, он ничем не походил на обыкновенного деревенского пастора. Женщины боялись его, потому что он говорил только о конце света, Страшном Суде и адском мучении, ожидающем еретиков, развратников и пьяниц.

И когда он услышал о Черном Дике, он объявил, что до тех пор не станет есть ни мяса, ни рыбы, пока не обратит грешника на путь Господа, или по крайней мере не избавит от него свой приход.

А Дик поклялся, что скорей отрубит свою правую руку и пойдет просить по дорогам, чем поверит в поповские бредни. Таким образом между ними завязалась глухая вражда.

Помню, день был пасмурный и печальный. С утра шел дождь, и под ним наши низенькие серые лачужки еще глубже вращались в мокрую землю. Мы по обыкновению сидели в таверне и за стаканом дьявольского джина слушали, грубо и завистливо хохоча, как вчера Черный Дик соблазнил еще одну из наших девушек. Вдруг за дверью послышались легкие шаги, умоляющий шепот хозяина, и в комнату вошел пастор, строгий и нахмуренный больше, чем всегда. Мы смолкли, и наши глаза невольно обратились к Черному Дику, как бы ища у него спасения и защиты.

Пастор быстро подошел к столу и ударом кулака опрокинул еще не начатую кружку джина. Только жалобно вздохнул хозяин, но и он не двинулся, ожидая, что будет дальше.

— Блудники и нечестивцы, — загремел пастор, — вы, которым Господь Бог в неизреченной милости своей даровал труд, высшее благо Его, и отдых, чтобы прославлять Его совершенство, что делаете вы с вашими душами, за которые предал себя на распятие Иисус Христос? Вы, купленные для истины такой дорогой ценою, вы снова идете в мрак, и не как язычники, для тех еще может быть прощение, а как звери, некогда терзавшие тела святых мучеников. Опомнитесь, откажитесь от пьянства и идите домой, где ваши голодные, избитые вами жены плачут кровавыми слезами. А это чудовище, — тут он поднял руки почти к самому лицу Черного Дика, — это чудовище камнями и дубинами прогоните в леса к его братьям-разбойникам и бешеным волкам. Тогда только я смогу молиться о вашем спасении.

— Ого-го, — ответил Черный Дик, весь бледный от злости, — так вот что ты затеваешь, могильный червяк, бесхвостая крыса, воскресный пискун и плакса, который мешает честным людям забавляться, как им нравится. Нет, товарищи не выдадут Черного Дика, не побьют его камнями, как заблудшего пса, и я сам тут же разобью твою безмозглую голову, где родятся такие сумасбродные мысли.

И он уже поднял тяжелый дубовый табурет, когда в комнату вбежала пасторша, за которой, чтобы избежать драки, потихоньку сбежала жена трактирщика. Она с воплем бросилась к мужу, который, слегка бледный, спокойно стоял перед разъяренным Диком и, схватив его за руки, принялась тащить от нашей компании.

Пастор попробовал сопротивляться, но ее глаза были так испуганы и умоляющи, что он вздохнул и последовал за нею, провожаемый хохотом и насмешками своего врага.

Попойка возобновилась, и каждый из нас делал усилия, чтобы казаться веселым и буйным по-прежнему. Но огненно-строгие слова пастора еще звенели в ушах, и джин был отравлен томительным и неясным страхом. Черный Дик заметил это и нахмурился. Опустив голову, он, казалось, что-то соображал. Но вот на его губах заиграла улыбка, в глазах запылали загадочно-веселые огоньки, и он воскликнул: «Товарищи, а ведь пастор-то говорил правду. Сколько времени мы пьянствуем и скандалим, и до сих пор ничего не сделали для Бога». Тут он с шутовским раскаянием поднял глаза в потолок и воскликнул так, что все кругом засмеялись: «Даром, что редкий из нас не насчитывает в роду висельника или проститутки, мы должны быть рыцарями церкви и побеждать дьявольские козни. Меня вам нечего преследовать. Я рожден крещенными родителями) и, если бы не пропил мой серебряный крестик, он доньше болтался бы на моей груди. Лучше вспомните чертову девочку на Большом Острове. Вот где грех, за который нам уж наверняка не миновать когтей дьявола».

Мы все знали, о чем он говорил, и с недоумением поглядывали друг на друга.

В полумиле от нашей деревни был остров, угрюмый и пустынный, на котором совсем одна жила странная девочка. Она была дочерью бедной помешанной, давно бродившей по грязным задворкам, а отца ее никто не знал. Только старые бабы говорили, что это был сам морской дьявол. Но девочка была хорошенькая, с кроткими голубыми глазками, и иногда слышали, как она пела своим нежным голоском песни, в которых нельзя было разобрать слов. Хотя ей было уже двенадцать лет, но она не умела говорить, потому что жила на острове совершенно одна, как чайка, питаясь мелкими рыбками и моллюсками, да изредка хлебом, который ей привозила ее безумная мать вместе с кое-каким тряпьем, чтобы одеться. Мы так привыкли к ее существованию, что почти никогда не вспоминали о ней, и поэтому слова Черного Дика и удивили и заинтересовали нас. Он, видя общее внимание, подбоченился и, комически подражая пастору, продолжал: «Да, товарищи, прилично ли христианам жить в соседстве дьявольского дитяти? Недаром еще недавно, когда мы кончили бочку старого эля, всю ночь мне казалось, что меня мучат демоны и чугунными молотками выбивают на моем черепе такт для своей сатанинской пляски. И хотя думают, что это я разбил церковные стекла, но, клянусь вам дохлой собакой, это бил не я. Всею виной проклятая девчонка. Довольно ей жить как крысе на острове и беседовать по ночам со своим мохнатым папашей. Привезем ее сюда и окрестим кружкой доброго вина. По крайней мере еще славная девка прибавится в нашем селе».

— Правда, правда, — дружно загалдели мы, радуясь новой, еще не виданной штуке. И так как наши головы шумели и щеки пылали от жжина, мы шумно и беспорядочно начали приготовления к охоте. Хватали багры, сети, пустые ведра, чтобы бить в них вовремя облавы.

— Как перепелку поймаем, — приговаривал Черный Дик, улыбаясь недоброй улыбкой. Он распорядился всем и был спокоен, как будто ничего не пил в тот день. Что-то странное и вичное уже тогда начало появляться в его движениях, но мы в суматохе не обращали на это внимания.

— Пьяницы, — увещевала нас жена трактирщика, — мало вам гадостей, что вы делали до сих пор. Ребенка не можете оставить в покое. С дубьем и камнями, как на дикого зверя, идете на невинное дитя.

— Молчи, старая колдунья, — ответил ей Черный Дик, — и смотри, как бы тебя самое не искупали на морозе в святой воде. И она, обозленная, ушла за перегородку. Мы вышли на улицу и гурьбой направились к берегу, где стояли наши лодки.

Дождь прекратился, было свежо и весело, и бледное солнце заставляло светиться большие серые лужи. Внезапно мы услышали крик и, обернувшись, увидели бегущую за нами сумасшедшую. Кто-нибудь сказал ей об опасности, угрожающей ее ребенку, или она догадалась сама, но только она цеплялась за нашу одежду и то целовала ее с униженными просьбами, то раздражалась угрозами и проклятиями и потрясала в воздухе почерневшими костлявыми руками. Ее увели, и мы отчалили.

Хотя ветер и соленые брызги волн и освежили наши разгоряченные головы, но темная бешеная жажда травли с каждым мигом росла в наших угрюмых сердцах и наконец совсем задушила смутные шепоты совести. Подплывая к острову, мы, значительно переглянувшись, понизили голос, гребли бесшумно, но уверенно, и придвигали к себе багры и сети. Наконец пристали и осторожно, как волки, идущие на добычу, поднялись наверх и огляделись.

Было ясно, что остров действительно служил любимым местом нечистой силы. Глянцевитые черные камни, которые издали можно было счесть за спящих черепах, при нашем приближении принимали вид чудовищных распластанных жаб, и их трещины кривились в неистово — хохочущие рожи. Кое-где они были поставлены стоймя и сложены в причудливые фигуры. Мы называли их дольменами и знали, что это постройки древних мохнатых жителей страны, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, но зато ездили на белоснежных морских конях и дружили с демонами морскими, равнинными и горными. Эти древние серые мхи наверно видели их и в лунные ночи часто вспоминают багровое зарево их костров. И нам стало жутко и весело. Долго мы блуждали по острову, шевелили руками кустарник и заглядывали в неглубокие пещеры — глубоких мы все-таки боялись, — когда наконец легкий свист Черного Дика известил нас, что добыча открыта. Соблюдая всевозможную осторожность, мы приблизились к нему и увидели под большой скалой, у самого моря, уютно сидящую девочку. Закрытые глаза и ровное дыхание показывали, что она спала.

Но она быстро говорила что-то милое и невнятное, а перед ней в воде, пронизанной бледными лучами заходящего в тумане солнца, прыгали и плясали большие серебряные рыбы. В такт ее голоса они то крутились на одном месте, то выскакивали из воды, плескаясь и блестя, как подброшенные шиллинги. Толстый красновато-серый краб щипал пучок нежных белых цветов, который она уронила подле себя. И пена, подбегая к ее голым ножкам, слегка щекотала ее и заставляла задумчиво улыбаться во сне. Мы молчали, очарованные странной картиной.

Но вот Черный Дик прыгнул и крепко обхватил тело девочки, едва прикрытое жалкими лохмотьями. Она сразу проснулась и молча, со сжатыми губами и широко раскрытыми глазами, как ласточка, принялась биться в его руках. А он, забыв о нашем присутствии, уже

начал дышать тяжело и хрипло и бесстыдно глядя на нее, прижимал к себе как любовницу. Но тут мы в один голос потребовали, чтобы девочку отвезли в селенье.

— Место нечистое, — говорили мы, — может быть, сейчас кто-нибудь мохнатый и свирепый уже крадется за этими утесами, чтобы защитить свою любимицу и погубить наши христианские души. Лучше вернуться и за доброй кружкой джина или пенного эля окончить нашу затею.

Черному Дику пришлось уступить, и он сам отнес по-прежнему безмолвную и дрожащую девочку в свою лодку.

III

Наше возвращение было торжественно. Гребли, уже не скрываясь, и, нарочно вспенивая потемневшую вечернюю воду, стучали баграми и ведрами, и дикими песнями пугали запоздалых чаек. Этим безумным весельем мы старались заглушить уже начавшееся тяжелое беспокойство. Глаза Черного Дика были круглы и зловещи по-волчьи, и видно было, что он не отпустит девочки, пока не насытит с нею свои бешеные желания. Мы боялись его глаз. На берегу нас ожидал пастор. За один вечер он осунулся и постарел на несколько лет. От его прежнего решительного вида не осталось и следа, и, когда он начал говорить, его голос зазвучал смиренно и жалобно.

— Я виноват перед тобою, Дик, — сказал он, — и виноват перед вами, мои друзья, когда отрывал вас от ваших забав и призывал к насилию. Всякому дана своя судьба, и не подобает нам, ничего не знающим людям, своевольно вмешиваться в дело Божьего Промысла. Своей гневной речью я совершил великий грех и заплачу за него долгим раскаянием. Но мое сердце обливается кровью, когда я подумаю, что и вы готовы совершить тот же грех. Зачем вы поймали это несчастное создание, что вы хотите делать с ребенком? Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце. Отпустите же эту девочку обратно на остров, где она жила, никому не делая зла, или лучше отдайте ее пасторше, которая воспитает ее в христианской вере, как родную дочь.

— Шутки! — возопил Черный Дик. — Не слушайте его, товарищи, он, тоже хочет попробовать, нежна ли кожа у маленьких девочек. Лучше мы окрестим ее по-своему, и пусть сегодня ночью она в первый раз поспит на людской постели, а я, как добрый христианин, не дам ей соскучиться. После и вы примете участие в этом богоугодном деле, если ваши жены не выцарапают вам глаза.

И, не обращая внимания на пастора, он перекинул девочку через плечо, как тюк, и бегом пустился к своему дому. Мы с хохотом последовали за ним. У дверей Дик остановился и стал отпирать. Но его ноша мешала ему, и он с проклятием обеими руками схватился за замок. Девочка воспользовалась этим и, вывернувшись как кошка, проскользнула мимо нас и помчалась к берегу, прижимая свою грудь, измятую объятиями Дика. — Лови, лови! — завывали мы и бросились в погоню.

Черный Дик несся впереди всех, и видны были только его широкая спина и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки. Но девочка приняла неверное направление, и, вместо того, чтобы бежать к отлогому пляжу, она приближалась к скалам, которые на много метров возвышались над морем. Только в последнюю минуту она поняла свою ошибку, но не смогла остановиться и, жалобно взмахнув руками, покатила в пропасть. Только мелькнуло белое тело да затрещали внизу кусты. Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней. Мы остановились в тревоге, потому что, хотя и знали, как хорошо он прыгал, но нас смутил его странный, совсем нечеловеческий вой. Сразу опомнившись, мы стали спешно спускаться, решая положить конец слишком затянувшейся шутке. Было уже темно, и над морем вставала бледная и некрасивая луна. Наши ноги скользили по мокрым камням, и колючий кустарник резал лица. Наконец, на самом дне мы увидели белое пятно и узнали девочку с разбитой головой и грудью, из которых текла кровь; но Дика не было нигде.

Мы приблизились к разбившейся и вдруг отступили, побледнев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь, и, когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно редела, но не хотела оставить тела девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища — Черного Дика.

Дочери Каина

Это было в золотые годы рыцарства, когда веселый король Ричард Львиное Сердце в сопровождении четырехсот баронов и бесчисленного количества ратных людей переправился в Святую Землю, чтобы освободить гроб Господень и заслужить

благодарность прекрасных дам. Как истинный рыцарь, он прямо шел на врага, но, как мудрый полководец, высылал вперед разведчиков. И во время трудного перехода через горы Ливана для этого был выбран сэр Джемс Стоунгемптон, воин молодой, но уже знаменитый, красотой и веселостью уступавший разве только самому Ричарду. Когда ему сообщили королевский приказ, он проигрывал последний из своих замков длинному и алчному темплиеру и был рад под удобным предлогом отказаться от невыгодной игры. Быстро вскочил он на уже оседланного коня, выслушал последние указания и галопом помчался по узкой тропинке, оставляя за собой медленно двигающуюся войско.

Прекрасна для смелого сердца дорога над пропастями. От мерного звона копыт срываются камни и летят в пустоту, а путнику кажется, что вот-вот оборвется и он, и сладко будет его падение. На соседних вершинах хмурится густой кустарник: наверно странные звери скрываются там. Охваченные головокружением, бешеные скатываются водопады. Все стремится вниз, как будто в глубинах земли изумрудные гроты и опаловые галереи, где живет неведомое счастье.

Сэр Джемс скакал, напевая, и веселая улыбка скользила по его юношеским красивым губам. Не всякому достается великая честь быть передовым, и не всех ожидают в старом замке над Северным морем стройные невесты с глазами чистыми и серыми, как сталь меча. Да и не у всякого могучее сердце и могучие руки. Сэр Джемс знал, что очень многие завидуют ему.

Вечерело, и сырые туманы выходили из пещер, чтобы побороться с неуклонно стремящимся к западу солнцем. От низких жирных папоротников поднимался тяжелый запах, как в подземелье, где потаенно творятся недобрые дела. Чудилось, что все первобытные и дикие чары ожили вновь и угрюмо выслеживают одинокого путника. Вспоминались страшные рассказы о чудовищах, еще населяющих эти загадочные горы.

Конь под сэром Джемсом храпел тяжело и быстро, каждый шаг его был ужас, и на его атласисто-белой шкуре темнели пятна холодного пота. Но вдруг он застыл на мгновение, судорожная дрожь пробежала по стройному телу и, заржав, закричав почти как смертельно раненый человек, он бросился вперед, не разбирая дороги. А позади сэр Джемс услышал мягкие и грузные прыжки, тяжелое сопенье и, обернувшись, увидел точно громадный живой утес, обросший рыжей свалявшейся шерстью, который гнался за ним уверенно и зловеще. Это был пещерный медведь, может быть последний потомок владык первобытного мира, заключивший в себе всю неистовую злобу погибшей расы. Сэр Джемс одной рукой вытащил меч, а другой попробовал осадить коня. Но тот мчался по-прежнему, хотя безжалостные удила и оттянули его голову так далеко, что всадник мог видеть налитые кровью глаза и оскаленную пасть, из которой ключьями летела сероватая пена. И не отставая, не приближаясь, неуклонно преследовало свою добычу чудовище со зловонным дыханием.

Никто не мог бы сказать, как проносились они по карнизам, где не пройти и дикой кошке, перебрасывались через грозящие пропасти и взлетали на отвесные вершины. Мало-помалу темный слепой ужас коня передался и сэру Джемсу. Никогда еще не видывал он подобных чудовищ и мысль о смерти с таким отвратительным и страшным ликом острой болью вцепилась в его смелое сердце и гнала, и гнала.

Вот ворвались в узкое ущелье, вот вырвались.

И черная бездна раскрылась у них под ногами. Прыгнул усталый конь, но оборвался и покатился вниз, так что слышно было, как хрустели его ломаемые о камни кости. Ловкий всадник едва успел удержаться, схватясь за колючий кустарник.

Для чего? Не лучше ли бы было, если бы острый утес с размаха впился в его высокую грудь, если бы пенные воды горных потоков с криком и плачем помчали холодное тело в неоглядный простор Средиземного моря?! Но не так судил Таинственный, Сплетающий нити жизни.

Прямо перед собой сэр Джемс увидел тесную тропинку, пролежавшую в расщелине скал. И, сразу поняв, что сюда не пробраться его грузному преследователю, он бросился по ней, разрывая о камни одежду и пугая мрачных сов и зеленоватых юрких ящериц.

Его надежда оправдалась. И по мере того, как он удалялся от яростного рева завязшего в скалах зверя, его сердце билось ровнее, и щеки снова окрасились нежным румянцем. Он даже усмехнулся и, вспомнив о гибели коня, подумал — не благороднее ли было бы вернуться назад и сразиться с ожидавшим его врагом.

Но от этой мысли прежний ужас оледенел его душу и странным беззвучным напоил мускулы рук. Сэр Джемс решил идти дальше и отыскать другой выход из западни, в которую он попал.

Тропинка вилась между каменных стен, то поднималась, то опускалась и внезапно привела его на небольшую поляну, освещенную полной луной. Тихо качались бледно-серебряные злаки, на них ложилась тень гигантских неведомых деревьев, и неглубокий грот чернел в глубине. Словно сталактиты поднимались в нем семь одетых в белое неподвижных фигур.

Но это были не сталактиты. Семь высоких девушек, странно прекрасных и странно бледных, со строго опущенными глазами и сомкнутыми алыми устами, окружали открытую мраморную гробницу. В ней лежал старец с серебряной бородой, в роскошной одежде и с золотыми запястьями на мускулистых руках.

Был он не живой и не мертвый. И хотя благородный старческий румянец покрывал его щеки, и царственный огонь мысли и чувства горел неукротимый в его черных очах, но его тело белело, как бы высеченное из слоновой кости, и чудилось, что уже много веков не знало оно счастья движения.

Сэр Джемс приблизился к гроту и с изысканным поклоном обратился к девушкам, которые, казалось, не замечали его появления: «Благородные дамы, простите бедному заблудившемуся путнику неучтивость, с которой он вторгся в ваши владения, и не откажите назвать ему ваши имена, чтобы, вернувшись, он мог рассказать, как зовут дев, прекраснее которых не видел мир».

Сказал и тотчас понял, что не с этими словами следовало приближаться к тем, у кого так строги складки одежд, так безнадежны тонкие опущенные руки, такая нездешняя скорбь таится в линиях губ, и склонил голову в замешательстве. Но старшая из дев, казалось, поняла его смущение и, не улыбнувшись, не взглянув, подняла свою руку, нежную, как лилия, выросшая на берегах ядовитых индийских болот.

И тотчас таинственный сон окутал очи рыцаря.

На сотни и сотни веков назад отбросил он его дух, и, изумленный, восхищенный увидел рыцарь утро мира.

Грузные засыпали гиппопотамы под тенью громадных папоротников, и в солнечных долинах розы величиною с голову льва проливали ароматы и пьянили сильнее самосских вин. Вихри пронеслись от полета птеродактилей, и от поступи ихтиозавров дрожала земля. Были и люди, но немного их было.

Дряхлый, всегда печальный Адам, и Ева с кроткими глазами и змеиным сердцем жили в убогих пещерах, окруженные потомством Сифа. А в земле Нод, на высоких горах, сложенное из мраморных глыб и сандалового дерева, возвышалось жилище надменного Каина, отца красоты и греха. Яркие и страстные пробегают перед зачарованными взорами его дни.

В соседнем лесу слышен звон каменных топоров — это его дети строят ловушки для слонов и тигров, перебрасывают через пропасти цепкие мосты. А в ложбинах высохших рек семь стройных юных дев собирают для своего отца глухо поющие раковины и бдолах, и оникс, приятный на взгляд. Сам патриарх сидит у порога, сгибает гибкие сучья платана, острым камнем очищает с них кору и хитро перевязывает сухими жилами животных. Это он делает музыкальный инструмент, чтобы гордилась им его красивая жена, чтобы сыновья распялись жаждой соревнования, чтобы дочери плясали под огненным узором Южного Креста. Только когда внезапный ветер откидывает на его лбу седую прядь, когда на мгновение открывается роковой знак мстительного Бога, он сурово хмурится и, вспоминая незабываемое, с вождением думает о смерти.

Мчатся дни, и все пьяней и бессонней алеют розы, и комета краснее крови, страшнее любви приближается к зеленой земле. И безумной страстью распалился старый мудрый Каин к своей, младшей дочери Лиис. В боренье с собой он уходил в непроходимые дебри, где только бродячие звери могли слышать дикий рев подавляемого любострастного желания. Он бросался в ледяные струи горных ключей, поднимался на неприступные вершины, но напрасно. При первом взгляде невинных Лиисных глаз его душа вновь повергалась в бездонные мечтания о грехе; бледнея, он глядел как зверь и отказывался от пищи.

Сыновья думали, что он укушен скорпионом.

Наконец он перестал бороться, сделался ясен и приветлив, как и в прежние дни, и окружил черноглазую Лию коварной сетью лукавых увещаний.

Но Бог не допустил великого греха. Был глас с неба, обращенный к семи девам: «Идите, возьмите вашего отца, сонного положите в мраморную гробницу и сами станьте на страже. Он не умрет, но и не сможет подняться, пока стоите вокруг него вы. И пусть будет так во веки веков, пока ангел не вострубит к последнему освобождению». И сказанное свершилось. Видел рыцарь, как в жаркий полдень задремал Каин, утомясь от страстных мечтаний.

И приблизились семь дев, и взяли его, и понесли далеко на запад в указанный им грот.

И положили в гробницу и встали на страже, и молчали, только безнадежно вспоминали о навеки покинутом счастье земли. И когда у одной невольная пробегала по щеке слеза, другие строже опускали к земле ресницы и делали вид, что ничего не заметили...

Пошевелился рыцарь и ударил себя в грудь, надеясь проснуться. Потому что он думал, что все еще грезит.

Но так же светила луна — опал в серебряной оправе, где-то очень далеко выли шакалы, и неподвижные белели в полумгле семь девичьих фигур.

Загорелось сердце рыцаря, заблестали его взоры, и, когда он заговорил, его речь была порывиста, как конь бедуинов, и изысканна, как он. Он говорил, что радость благороднее скорби, что Иисус Христос кровью искупил грехи мира. Он говорил, как прекрасны скитанья в океане на кораблях, окованных медью, и как сладка вода родины вернувшемуся. Он звал их обратно в мир. Любая пусть будет его женой, желанной хозяйкой в дедовском замке, для других тоже найдутся преданные мужья, знатнейшие вельможи короля Ричарда. А мудрый Каин, если он действительно так мудр, как рассказывают маги, наверно примет закон Христа и удалится в монастырь для жизни новой и благочестивой.

Молчали девы и, казалось, не слышали ничего, только средняя подняла свою маленькую руку, серебряную от луны. И снова таинственный сон подкрался к рыцарю и, как великан, схватил его в свои мягкие бесшумные объятья. И снова открылось его очам прошедшее.

Вот звенят золотые колокольчики на шее верблюдов, попоны из ценной парчи мерцают на спинах коней.

То едет сам великий Зороастр, узнавший все, что написано в старых книгах, и превративший свое сердце в слиток солнечных лучей. Сочетанье звездных знаков назначило ему покинуть прохладные долины Иранские и в угрюмых горах поклониться дочерям Каина. Как царь и жрец, стоит он перед ними, как песня рога в летний вечер, звучит его голос.

Он тоже зовет их в мир. Говорит о долге мира.

Рассказывает, что люди истомились и без их красоты, и без нечеловеческой мудрости их отца. И уходит угрюмо, как волк, от одного взгляда скорбных девичьих глаз. Три глубокие священные морщины ложатся на его доселе спокойном и светлом челе.

Вот вздрагивают камни, смолкают ручьи, бродячие львы покидают трепещущую добычу. Это звон кипарисовой лиры, песня сына богов. Это — Орфей. Именем красоты долго зовет он дев в веселые селенья Эллады, поет им свои лучшие поэмы. Но, уходя одиноко, он больше не играет и не смеется.

Проходят люди, еще и еще. Вот юноша, неведомый миру, но дивно могучий. Он мог бы переменить лицо земли, золотой цепью приковать

солнце, чтобы оно светило день и ночь, и заставить луну танцевать в изукрашенных залах его дворца. Но и он уходит, отравленный скорбью, и в гнилых болотах, среди прокаженных, влачит остаток своих дней...

И возопил очнувшийся рыцарь, зарыдал, бросившись лицом в траву. Как о высшем счастье, молил он дев о позволении остаться с ними навсегда.

Он не хотел больше ни седых вспененных океанов, ни прохладных долин, ни рыцарской славы, ни женских улыбок. Только бы молчать и упиваться Неиссякаемым мучительным вином чистой девичьей скорби.

В воздухе блеснула горсть жемчужин. Это младшая из дев подняла руку. И рыцарь понял, что ему не позволено остаться.

Как кабан, затравленный свирепыми гигантами, медленно поднялся он с земли и страшным проклятьем проклял чрево матери, носившее его, и похоть отца, зачавшего его в светлую северную ночь. Он проклял и бури, не разбившие его корабль, и стрелы, миновавшие его грудь. Он проклял всю свою жизнь, которая привела его к этой встрече. И, исступленный, повернулся, чтобы уйти. Но тогда младшая из дев подняла ресницы, на которых дрожали хрустальные слезы, и улыбнулась ему с безнадежной любовью. Сразу умерли проклятья на устах рыцаря, погасли его глаза, и сердце, вздрогнув, окаменело, чтобы не разорваться от тоски. Вместе с сердцем окаменела и его душа. И был он не живой и не мертвый, когда пустился в обратный путь.

Иглы кустарника резали его тело — он их не замечал. Ядовитые змеи, шипя, выползали из темных расщелин — он не достаивал их взглядом.

И пещерный медведь, который дожидался его возвращения, при звуке его шагов поднялся на задние лапы и заревел так, что спящие птицы встрепенились в далеком лесу. Чуть-чуть усмехнулся рыцарь, пристально взглянул на чудовище и повелительно кинул ему: «Прочь». И в диком ужасе от странного взгляда отпрыгнул в сторону страшный зверь и умчался косыми прыжками, ломая деревья и опрокидывая в пропасть утесы.

Светало. Небо было похоже на рыцарский герб, где по бледно-голубому были протянуты красновато-золотые полосы. Розовые облачка отделялись от горных вершин, где они ночевали, чтобы, наигравшись, налетавшись, пролиться светлым дождем над пустынею Ездrelона.

Встречный сириец проводил рыцаря до войска короля Ричарда. Обрадовался веселый король возвращенью своего любимца, подарил ему нового коня из собственной конюшни и радостно сообщил достоверные вести о приближении большого отряда сарацин. Будет с кем переведаться мечами! Но удивился, видя, что сэр Джемс не улыбнулся ему в ответ, как прежде.

Были битвы, были и пиры. Храбро дрался сэр Джемс, ни разу не отступил перед врагом, но казалось, что воинская доблесть умерла в его сердце, потому что никогда не делал он больше порученного, словно был не рыцарь, а простой наймит. А на пирах сидел молчаливый, пил, не пьянея, и не поддерживал застольной песни, заводимой его друзьями.

Не мог потерпеть король Ричард, чтобы подрывался дух рыцарства в его отряде, и однажды зашумели паруса, унося к пределам Англии угрюмого сэра Джемса. Он меньше выделялся при дворе королевского брата, принца Иоанна. Тот сам был угрюмый.

Он больше ничем не оскорблялся, но, когда его вызывали на поединок, дрался и побеждал. Чистые девушки сторонились его, а порочные сами искали его объятий. Он же был равно чужд и тем, и другим, и больше ни разу в жизни не затрепетало его где-то далеко в горах Ливана, в таинственном гроте окаменевшее сердце. И умер он, не захотев причаститься, зная, что ни в каких мирах не найдет он забвенья семи печальных дев.

Лесной дьявол

По густым зарослям реки Сенегал пробегал веселый утренний ветер, заставляя шумно волноваться еще не спаленную тропическим солнцем траву и пугливо вздрагивать пятнистых стройных жирафов, идущих на водопой. Жужжали большие золотистые жуки, разноцветные бабочки казались подброшенными в воздух цветами, и довольные мычали гиппопотамы, погружаясь в теплую тину прибрежных болот. Утреннее ликование было в полном разгаре, когда ядовитая черная змея, сама не зная, зачем, так, в припадке минутной злобы, ужалила большого старого павиана, давно покинувшего свою стаю и скитавшегося в лесах одиноким свирепым бродягой. Бешено залаяв, он схватил тяжелый камень и погнался за оскорбительницей, но скоро остановился, решив лучше искать целебной травы, среди всех зверей известной только собакам и их дальним родственникам, павианам. Он давно знал уединенную лоцину и не сомневался в своем спасении, если только не разлился лесной ручей и не отделил его от желанной цели.

Во всяком случае надо было попробовать, и павиан, со злобным рычаньем припадая на больную лапу, отправился в путь. При звуке его шагов мелкие звери прятались в норы, и огненные фламинго стаями кружились над лесом, взлетая от синих молчаливых озер. Один раз даже запоздавшая пантера насторожилась и уже выгнула свою гибкую атласистую спину, но, увидев, с кем ей придется иметь дело, грациозно вспрыгнула на дерево и притворилась, что собирается спать. Никто не осмелился тревожить раздраженного лесного бродягу в его стремительном беге, и скоро перед ним, сквозь густо сплетенные ветви, засинела полоса воды. Но это был не знакомый ему ручей, а kloкочущий мутный поток, в пене и брызгах несущий к морю сломанные пальмы и трупы животных.

Опасения павиана оправдались: зимние дожди сделали свое дело. Правда, вниз по течению находился брод, который не размывали самые сильные грозы. Поняв, что это единственное спасение, встревоженный павиан снова пустился в путь. На зверей змеиный яд действует медленно, и пока он только смутно испытывал характерное желание биться и кататься по земле. Укушенная нога болела нестерпимо. Но уже близок был желанный брод, уже виден был утес, похожий на спящего буйвола, который лежал, указывая его место, и павиан ускорил шаги, как вдруг остановился, вздрогнув от яростного изумления. Брод был занят.

Искусно сложенные стволы деревьев составили широкий и довольно удобный мост, по которому двигалась нескончаемая толпа людей и животных. Вглядевшись, можно было заметить, что она разделяется на стройные отряды.

За четырьмя рядами слонов, сплошь закованных в бронзу и блестящую медь, следовал отряд копыеносцев, сильных и стройных, с позолоченными щитами и золотыми наконечниками копий.

Дальше медленно и грузно шел носорог, опутанный массивными серебряными цепями, которые черные рабы натягивали с обеих сторон, чтобы он мог двигаться только вперед. Дальше на кровном коне гарцевал начальник отряда, окруженный толпой помощников, большей частью юношей из богатых семейств, подкрашенных и надушенных. Под их защитой ехала группа девушек и женщин, сидящих вместо седел в затейливо устроенных корзинах. Отряд замыкали повозки с палатками, съестными припасами и предметами роскоши... Около них суетились рабы. Потом все начиналось сначала. Отряд следовал за отрядом, и трудно было сказать, сколько прошло их, и сколько скрывалось еще в глубине леса. Все люди, кроме рабов, имели кожу светло-желтого цвета, того благородного оттенка, который отличает жителей Карфагена от прочих обитателей Африки. Роскошные одежды, масса золота и серебра, шелковые палатки и пленные носороги указывали на богатство и знатность вождя этих отрядов. И точно, прекрасный Ганнон, брат Аполлона, как называли его льстивые греки, был первым властителем первого по славе города — Карфагена. Теперь, в сопровождении всего двора, он ехал на таинственную реку Сенегал, с берегов которой ему и его предкам издавна привозили драгоценные камни, удивительных птиц и лучших боевых слонов.

II

Павиан понял, что он погиб, если будет дожидаться конца шествия, и им овладело яростное беспокойство. Мало-помалу оно перешло в то дикое бешенство, когда глаза заволакиваются черной пеленой, кулаки сжимаются со страшной силой, и зубы сами находят врага.

Почувствовав такой припадок, он попробовал удержаться, но было поздно.

Миг, и могучим прыжком он очутился на шее одного из проезжавших коней, который поднялся на дыбы, пронзительно заржал от внезапного ужаса и бешено помчался в лес. Сидевшая на нем девушка судорожно схватилась за его гриву, чтобы не упасть во время этой неистовой скачки. Она была одета в красную шелковую одежду, а ее обнаженная грудь, по обычаю богатых семейств, была стянута сеткой, сплетенной из золотых нитей. Ее юное надменное лицо было бы прекрасно, если бы неестественно раскрытые глаза и бледные губы не делали его воплощением ужаса. И конь был стройный, дорогой, с голубыми жилами, проступающими сквозь его белую шкуру, и видно было, что он умчался бы от всякого врага, если бы этот враг не сидел на нем. Его бег становился все медленнее и медленнее, несколько раз он споткнулся и наконец, тяжело застонав, упал с горлом, перегрызенным страшным зверем. С ним вместе упали и его всадники. Девушка быстро вскочила, но от ужаса, не будучи в силах бежать, прислонилась спиной к дереву, напоминая статую из слоновой кости, которые ставят в храме Истар. Павиан стал на четвереньки и хрипло залаял. Его гнев был удовлетворен смертью коня, и он уже

Хотел спешить за своей целебной травой, но, случайно взглянув на девушку, остановился. Ему вспоминалась молодая негритянка, которую он поймал недавно одну в лесу, и те стоны и плач, что вылетали из ее губ в то время, как он бесстыдно тешился ее телом.

И по-звериному острое желание владеть этой девушкой в красной одежде и услышать ее мольбы внезапно загорелось в его мозгу и легкой дробью сотрясло уродливое тело.

Забылся и змеиный яд, и необходимость немедленно искать траву. Не спеша, со зловонной пеной желанья вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом. Ее губы вздрогнули, как у ребенка, видящего дурной сон, но изогнутые брови гордо нахмурились, и, протянув вперед с запрещающим жестом свои нагие красивые руки, она начала говорить быстро и повелительно. Она обещала подходящему к ней зверю беспощадную месть богини Истар, если только он посмеет коснуться ее одежд, и говорила о безжалостно-метких стрелах слуг великого Ганнона.

Кругом шелестели деревья, беспечно кричали птицы, и спасенья не было ниоткуда. Но змеиный яд делал свое дело, и, едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь, и он судорожно забился, ударяясь головой о камни и цепляясь за стволы деревьев. Иногда неимоверным усилием воли ему удавалось на мгновение прекратить свои корчи, и тогда он приподнимался на передних лапах, с трудом поворачивая в сторону девушки свои невидящие глаза. Но тотчас же его тело вздрагивало, и, с силой перевертываясь через голову, он взмахивал в воздухе всеми четырьмя лапами.

Почти обнаженная девушка, дрожа, смотрела на это ужасное зрелище. «Истар, Истар, это она помогла мне», шептала она, озираясь, как будто страшась увидеть прекрасную, но грозную богиню. И когда приблизились посланные на розыски карфагеняне, они нашли ее лежащей без чувств в трех шагах от издохшего чудовища.

III

Велик, и прекрасен могучий Ганнон. Это к его шатру привели судить найденную девушку.

Двенадцать великих жрецов стояли на ступенях его переносного трона, и сорок начальников отрядов окружали его рядами. Спасенная девушка, связанная, но попрежнему гордая, предстала перед судилищем. Женщины бросали на нее злые взгляды, девушки отворачивались, и только одни дети, улыбаясь, протягивали ей цветы. Да сам Ганнон был спокоен и ясен, как обыкновенно, и ласково гладил своей изнеженной тонкой рукой маленькую ручную обезьянку, приютившуюся на его коленях. Один из жрецов встал и, потрясая рукавами своей хламиды, на которой были вышиты звезды и тайные знаки, начал речь: «О, прекрасный Ганнон, возлюбленный богами, вы, жрецы Аммона и Истар, и ты, знаменитый народ карфагенский! Все вы знаете, что сегодня лесной дьявол в образе страшного зверя умчал далеко в лес эту девушку, дочь великого вождя. Найденная, она лежала без чувств на траве, и ее одежда была разорвана, обнажая тело. Нет сомнения, что ее девственность, которой домогались столько знатнейших юношей, досталась страшному зверю. Ни из древних папирусов, ни из рассказов старцев мы не знаем случая, чтобы дьявол владел девой карфагенской. Эта первая должна умереть, тело ее — быть брошено в огонь, и память о ней — изгладиться. Иначе ее дыхание смертельно оскорбит достоинство богини Истар». Он кончил, и одобрительно наклонили головы другие жрецы, потупились начальники, недовольные, но не знающие, что возразить, и в дикой радости завыл народ. Всегда приятно посмотреть на прекрасное девичье тело, окруженное красными змейками пламени. Но не так думал Ганнон.

По выражению глаз и по углам губ связанной девушки он видел, что жрец был не прав и что лесной дьявол не успел исполнить своего намерения. Его опытный взгляд изысканного сластолюбца не мог ошибиться. Но открыто противоречить жрецам было опасно, следовало употребить хитрость. Мгновение он был в нерешительности, но вот его глаза засветились, на губах заиграла загадочная улыбка, и, слегка наклонясь вперед, он сложил руки на груди, как бы предвкушая какое-то удовольствие. «Великие жрецы, знающие самые сокровенные тайны, и вы, доблестные военачальники, в дальних странах прославившие имя Карфагена, я удивлен свыше меры вашей печалью. Почему вы думаете, что богиня оскорблена? Разве не проявила она во всем блеске свою силу и власть? Разве она не явилась на помощь любимейшей из своих дочерей? Лесной дьявол был найден мертвым, но на его теле не было ни одной раны. Кто, кроме богини Истар, поражает без крови, одним дуновением своих уст? Мудрые предки учили нас, что только для достойнейших боги покидают свои небесные жилища и вмешиваются в земные дела». Он подумал и неожиданно для самого себя добавил с грациозной улыбкой и красивым движением руки: «И эту девушку, отмеченную милостью богини, я, Ганнон, властитель всех земель от Карфагена до Великих Вод, беру себе в жены». И он не раскаялся в своих словах, увидя, каким нежным румянцем внезапно покрылись щеки его избранницы, какой радостный и стыдливый огонь зажегся в ее прежде надменных, теперь смущенных и благодарных глазах. Народ снова завыл от радости, но на этот раз восторженной и громче, потому что, хотя прекрасное зрелище и ускользнуло от него, он знал, какими великолепными подарками, какими царскими милостями будет сопровождаться свадебное торжество. Хмурые жрецы не осмелились возражать. Если Ганнон опасался их влияния, то они чувствовали перед ним прямо панический ужас.

Быстро упала на землю темная, страшная африканская ночь, и дикие запахи бродячих зверей сменили запах цветов и трав. Словно грохот падающих утесов, неслось рыкание золотогривых голодных львов. Отравленные стрелы нубийских охотников держали их в стороне от лагеря. Иногда раздавался мгновенный пронзительный стон схваченной во сне лани, и ему вторил хохот гиен. Над лесом видно было большую желтую луну. Неслышно скользила она и казалась хищником неба, пожирающим звезды. Свадебный пир был окончен, факелы из ветвей алоэ потушены, и пьяные негры грузно валялись в кустах, возбуждая презрение воздержанных карфагенян.

В белом-шелковом шатре ожидал Ганнон свою невесту, тело которой искусные рабыни умащали волнующими индийскими ароматами. Золотым стилем на восковых дощечках он описывал пройденный им путь и отмечал количество купленной и отнятой у туземцев слоновой кости. Мечтать и волноваться в ожидании первой брачной ночи было не в его характере. Медленно, отпустив рабынь, шла юная невеста, направляясь к заветному шатру. Волнуясь и краснея, повторяла она про себя слова, которые должна сказать, войдя к своему жениху: «Вот твоя рабыня, властитель, сделай с ней все, что захочешь». И мысль о том, что будет дальше, розовым туманом застилала ее глаза и, как пленную птицу, заставляла биться сердце. Внезапно перед ней зачернелся какой-то странный предмет. Подойдя ближе, она поняла, в чем дело. Озлобленные карфагеняне отрубили голову у мертвого павиана, и, воткнутая на кол, она была выставлена посреди лагеря, чтобы каждый проходящий мог ударить ее или плюнуть, или как-нибудь иначе выразить свое презрение. Тупо смотрели в пространство остекленевшие глаза, шерсть была испачкана запекшейся кровью, и зубы скалились по-прежнему неистово и грозно. Девушка вздрогнула и остановилась. В ее уме снова пронеслись все удивительные события этого дня. Она не сомневалась, что богиня Истар, действительно, пришла ей на помощь и поразила ее врага, чтобы сохранилась ее девичья честь, чтобы не запятнался древний род, чтобы сам прекрасный, как солнце, Ганнон взял ее в жены. Но в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с Необорной и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие кровь видения окружают его? Страшно умереть в борьбе с богами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний.

Порывистым движением девушка наклонила свои побледневшие губы к пасти чудовища, и мгновенный холод поцелуя остро пронзил все ее тело. Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным падению многих вод, и когда наконец она отшатнулась, она была совсем другая.

Не спеша, по-новому спокойная и задумчивая, она продолжала свой путь. Ее щеки больше не пылали, и не вздрагивало сердце, когда она думала о Ганноне. Первый девственный порыв ее души достался умершему из-за нее лесному дьяволу.

Скрипка Страдивариуса

Мэтр Паоло Белличини писал свое соло для скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога нервно отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы от проказы, рассеянно гнули гибкое дерево смычка. Многочисленные ученики мэтра боялись этих странных рук с пальцами, похожими на белых индийских змей.

Старый мэтр был знаменит и, точно, никто не превзошел его в дивном искусстве музыки. Владетельные герцоги, как чести, добивались знакомства с ним, поэты посвящали ему свои поэмы, и женщины, забывая его возраст, забрасывали его улыбками и цветами. Но все же за его спиной слышались перешептывания, и они умели отравить сладкое и пьяное вино славы. Говорили, что его талант не от Бога и что в безрассудной дерзости он кощунственно порывает со священными заветами прежних мастеров. И как ни возмущались любящие мэтра, сколько ни твердили о зависти оскорбленных самолюбий, эти толки имели свое основание. Потому что старый мэтр никогда не бывал на мессе, потому что его игра была только бешеным взлетом к невозможному, быть может запретному, и, беспомощно-неловкий, при своем высоком росте и худощавости он напоминал печальную болотную птицу южных стран.

И кабинет мэтра был похож скорее на обитель чернокнижника, чем простого музыканта. Наверху для лучшего распространения звуков были устроены каменные своды с хитро задуманными выгибами и арками. Громадные виолончели, лютни и железные попитры удивительной формы, как бредовые видения, как гротески Лоррэна, Калло, теснились в темных углах.

А стены были исписаны сложными алгебраическими уравнениями, исчерчены ромбами, треугольниками и кругами. Старый мэтр, как математик, расчислял свои творения и называл музыку алгеброй души.

Единственным украшением этой комнаты был футляр, обитый малиновым бархатом — хранилище его скрипки. Она была любимейшим созданием знаменитого Страдивариуса, над которым он работал целые десять лет своей жизни. Еще о неоконченной, слава о ней гремела по всему культурному миру. За обладание ею спорили властелины, и король французский предлагал за неё столько золота,

сколько может увезти белый осел. А папа — пурпур кардинальской шляпы. Но не прельстился великий мастер ни заманчивыми предложениями, ни скрытыми угрозами и даром отдал ее Паоло Белличини, тогда еще молодому и неизвестному. Только потребовал от него торжественной клятвы никогда, ни при каких условиях не расставаться с этой скрипкой. И Паоло поклялся. Только ей он был обязан лучшими часами своей жизни, она заменяла ему мир, от которого он отрекся для искусства, была то стыдливой невестой, то дразняще покорной любовницей. Трогательно замирала в его странных белых руках, плакала от прикосновения гибкого смычка. Даже самые влюбленные юноши сознавались, что ее голос мелодичнее голоса их подруг.

Было поздно. Ночь, словно сумрачное ораторию старинных мастеров, росла в саду, где звезды раскидались, как красные, синие и белые лепестки гиацинтов — росла и, поколебавшись перед высоким венецианским окном, медленно входила и застыла там, под сводами. Вместе с ней росло в душе мэтра мучительное нетерпение и, как тонкая ледяная струйка воды, заливало спокойный огонь творчества. Начало его соло было прекрасно. Могучий подъем сразу схватывал легкую стаю звуков, и, перегоняя, перебивая друг друга, они стремительно мчались на какую-то неведомую вершину, чтобы распуститься там мировым цветком — величавой музыкальной фразой. Но этот последний решительный взлет никак не давался старому мэтру, хотя его чувства были напряжены и пронзительны чрезвычайно, хотя непогрешимый математический расчет неуклонно вел его к прекрасному заключению. Внезапно его мозг словно бичем хлестнула страшная мысль. Что, если уже в начале его гений дошел до своего предела, и у него не хватит силы подняться выше? Ведь тогда неслыханное дотоле соло не будет окончено! Ждать, совершенствоваться? Но он слишком стар для этого, а молитва помогает только при создании вещей простых и благочестивых. Вот эти муки творчества, удел всякого истинного мужчины, перед которым жалки и ничтожны женские муки деторождения. И с безумной надеждой отчаяния старый мэтр схватился за скрипку, чтобы она закрепила ускользающее, овладела для него недоступным. Напрасно! Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась и пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового предела, останавливалась, как кровный арабский конь, сдержанный легким движением удил. И казалось, что она ласкается к своему другу, моля простить ее за непослушание. Тяжелые томы гордых древних поэтов чернели по стенам, сочувствовали скрипке и как будто напоминали о священной преемственности во имя искусства. Но неистовый мэтр не понял ничего и грубо бросил в футляр не помогающую ему скрипку.

Лежа в постели, он еще долго ворочался, не будучи в силах заснуть. Слово грозный багряный орел, носилась над ним мысль о неконченном соло. Наконец, милосердный сон закрыл его очи, смягчил острую боль в висках и с ласковой неудержимостью повлек по бесконечному коридору, который все расширялся и светлел, уходя куда-то далеко. Что-то милое и забытое сладко вздыхало вокруг, и в ушах звучал неотвязный мотив тарантеллы. Утешенный, неслышимый, как летучая мышь, скользил по нему Паоло и вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним, быть может уже давно, шел невысокий гибкий незнакомец с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изображали немецких миннезингеров. Его обнаженные руки и ноги были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового, а сказочно-дивная алого шелка туника свела бы с ума самую капризную и самую любимую наложницу константинопольского султана.

Доверчиво улыбнулся Паоло своему спутнику, и тот начал говорить голосом бархатным и приветливым:

«Не бойся ничего, почтенный мэтр, я умею уважать достойных служителей искусства. Мне льстят, когда меня называют темным владыкой и отцом греха: я только отец красоты и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покончил старые счета с нездешним и захотел заняться строительством мира, я был его наставником в деле искусства. Это я научил его ритмом стиха преобразовать нищее слово, острым алмазом на слоновой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музыкальные инструменты и владеть ими. Дивные арии разыгрывали мы с ним в прохладные вечера под развесистыми кедрами гор Ливана. Приносился ветер от благовонных полей эдзелонских, крупные южные звезды смотрели, не мигая, и тени слетали как пыль с крыльев гигантской черной бабочки — ночного неба. Внизу к потоку приходили газели. Долго вслушивались, подняв свои грациозные головки, потом пили лунно-вспененную влагу. Мы любовались на них, играя. После мир уже не слышал такой музыки. Хорошо играл Орфей, но он удовлетворялся ничтожными результатами. Когда от его песен заплакали камни и присмирели ленивые тигры, он перестал совершенствоваться, думая, что достиг вершины искусства, хотя едва лишь подошел к его подножью. Им могли восхищаться только греки, слишком красивые, чтобы не быть глупыми. Дальше наступили дни еще печальнее и бледнее, когда люди забыли дивное искусство звуков. Я занимался логикой, принимал участие в философских диспутах и, беседуя с Горгием, иногда даже искренно увлекался. Вместе с безумными монахами придумывал я статуи чудовищ для башен Парижского собора Богоматери и нарисовал самую соблазнительную Леду, которую потом сожгли дикие последователи Савонаролы. Я побывал даже в Австралии.

Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг — великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный. Право, он стоит ваших пищалей и мортир.

Но все же это были пустяки, и я серьезно тосковал по звукам. И когда Страдивариус сделал свою первую скрипку, я был в восторге и тотчас предложил ему свою помощь. Но упрямый старик и слушать не хотел ни о каких договорах и по целым часам молился Распятому, о Котором я не люблю говорить. Я предвидел страшные возможности. Люди могли достичь высшей гармонии, доступной только моей любимой скрипке Прообразу, но не во имя мое, а во имя Его. Особенно меня устрашало создание скрипки, которая теперь у тебя.

Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия. Но, к счастью, она попала к тебе, а ты не захочешь ждать тысячелетия, ты не простишь ей ее несовершенства. Сегодня ты совершенно случайно попал на ту мелодию, которую я сочинил в ночь, когда гунны лишили невинности полторы тысячи девственниц, спрятанных в стенах франконского монастыря. Это — удачная вещь. Если хочешь, я сыграю тебе ее, оконченную».

Внезапно в руках незнакомца появилась скрипка, покрытая темно-красным лаком и с виду похожая на все другие. Но опытный взгляд Паоло по легким выгибам и особенной постановке грифа сразу определил ее достоинство, и старый мэтр замер от восторга.

«Хорошенькая вещица! — сказал, засмеявшись, его спутник. — Но упряма и капризна, как византийская принцесса с опаловыми глазами и дорогими перстнями на руках. Она вечно что-нибудь затевает и рождает мелодии, о которых я и не подозревал. Даже мне не легко справиться с нею». — И он заиграл.

Словно зарыдала Афродита на белых утесах у пенного моря и звала Адониса. Сразу Паоло сделалось ясно все, о чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно ему в земной жизни. Все изменилось. Тучные нивы шелестели под ветром полудня, но колосья были голубовато-золотые, и вместо зерен атели рубины. Роскошное солнце сверкало на небе, как спелый плод на дереве жизни, и странные птицы кричали призывно, и бабочки были порхающими цветами. А Скрипка-Прообраз звенела и пела, охватывая небо и землю, и воздух томительной негой счастья, которого не может вынести, не разбившись, сердце человека.

И сердце Паоло разбилось. Были унылы его глаза и сумрачны думы, когда встал он от рокового сна. Что из того, что он помнит услышанную мелодию? Разве есть на земле скрипка, которая повторит ее, не искажая? Коварный демон достиг своей цели и своей игрой, своими хитросплетенными речами отравил слабое и жадное сердце человека.

Бедная, любимая скрипка Страдивариуса! В недобрый час отдал тебя великий мастер в руки Паоло Белличини. Ты, которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли, говорила с людьми на их языке, ты погибаешь ненужной жертвой неизбежному! И опять на много веков отдалится священный миг победы человека над материей.

Мэтр Паоло Белличини крался, как тигр, приближаясь к заветному футляру. Осторожно вынул он свою верную подругу и горестно поникнул, впервые заметив ее несовершенства. Но при мысли, что он может отдать ее другому, старый мэтр вздрогнул в остром порыве ревности. Нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной. И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки.

Вбежавшие на шум ученики отвезли мэтра в убежище для потерявших рассудок. Было такое зданье, угрюмое и мрачное, на самом краю города. Визги и ревы слышались оттуда по ночам, и сторожа носили под платьем кольчугу, опасаясь неожиданного нападения. Там, в низком и темном подвале поместили безумного Паоло. Ему казалось, что на его руках кровь. И он тер их о шероховатые каменные стены, выливал на них всю воду, которую получал для питья. Через пять дней сторож нашел его умершим от жажды и ночью закопал во рву, как скончавшегося без церковного покаяния.

Так умерла лучшая скрипка Страдивариуса; так позорно погиб ее убийца.

Африканская охота

Из путевого дневника

I

На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту её форм, и всегда, всегда окружённой дикими зверями. Над её головой раскачиваются обезьяны, за её спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет её ноги, рядом на согретом солнцем утёсе нежится пантера.

Художники не справлялись ни с ростом колонизации, ни с проведением железных дорог, ни с оросительными или осушительными земляными работами. И они были правы: это нам здесь, в Европе, кажется, что борьба человека с природой закончилась, или во всяком

случае перевес уже, очевидно, на нашей стороне. Для бывавших в Африке дело представляется иначе.

Узкие насыпи железных дорог каждое лето размываются тропическими ливнями, слоны любят почёсывать свои бока о гладкую поверхность телеграфных столбов и, конечно, ломают их, гиппопотамы опрокидывают речные пароходы. Сколько лет англичане заняты покорением Сомалийского полуострова и до сих пор не сумели продвинуться даже на сто километров от берега. И в то же время нельзя сказать, что Африка не гостеприимна, — её леса равно открыты для белых, как и для чёрных, к её водоёмам по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждёт именно гостей и никогда не признает их хозяевами.

Европеец, если он счастливо проскользнёт сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжёлыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьёт хвостом бока, и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о рёбра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и, если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и своё тело и свой дух: тело — чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух — чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь не похожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным.

II

Красное море — бесспорно часть Африки, и ловля акулы в Красном море может быть прекрасным вступлением к африканским охотам.

Мы бросили якорь перед Джеддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зелёных мелей Джедды, окаймляемых чуть розоватой пеной. Не в честь ли их и хаджи-мусульмане, бывавшие в Мексике, носят зелёные чалмы?

Пока грузили уголь, было решено заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Но акул совсем не было видно, или они проплыли так далеко, что их лощманы не могли заметить приманки; акула очень близорука, и её всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые наводят её на добычу и получают за это свою долю — они-то и называются лощманами.

Наконец, в воде появилась тёмная тень, сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дёрнули за верёвку, но вытащили лишь крючок. Акула только дёрнула приманку, но не проглотила её. Теперь, видимо огорчённая исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплскивала хвостом по воде. Сконфуженные лощманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослабел, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами; такие глаза я видел только у старых, особенно свирепых кабанов. Десять матросов с усилием таскали канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт парохода и словно винтом бурлила им в воде. Помощник капитана, перегнувшись через перила, разом выпустил в неё пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и затихла. Пять чёрных дыр показали на её голове и беловатых губах. Ещё усилие, и страшная туша уже у самого борта. Кто-то тронул её за голову, и она лязгнула зубами. Видно было, что она совсем свежа и собирается с силами для решительного боя. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким прямым ударом проткнул ей грудь и, натужившись, довёл разрез до конца. Хлынула вода, смешанная с кровью, розовая селезёнка аршина в два длиною, губчатая печёнка и кишки вывалились и закачались в воде, как ещё невиданной формы медузы.

Акула сразу сделалась легче, и её без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце, и оно, пульсируя, двигалось то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лощман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыться в каких-нибудь отдалённых бухтах позор невольного предательства. Но тот был безутешен: верный до конца, он подскакивал над водой, как бы желая посмотреть, что там делают с его госпожой, крутился вокруг плавающих внутренностей, к которым жадно спешили другие акулы, и всячески высказывал своё последнее отчаянье.

Акуле отрубили челюсти, чтобы вырвать зубы, всё остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелёными мелями Джедды был широкий и ярко-жёлтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест.

Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность, и раскалённое солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пёстрый, с тысячью уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного и враждебного домового. Он крадёт их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале и что он посмотрел на неё, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в лёгкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идёт на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к соседнему торговцу атласистую с затейливым узором шкуру, чтобы выменять её на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и всё начинается сначала.

Однажды к вечеру я пришёл в маленькую сомалийскую деревушку, где-то на краю Харрарской возвышенности. Мой слуга, юркий харрарит, тотчас же сбежал к старшине рассказать, какой я важный господин, и тот явился, неси мне в подарок яиц, молока и славного полугодовалого козлёнка. По обыкновению, я стал расспрашивать его об охоте. Оказалось, что леопард бродил полчаса тому назад на склоне соседнего холма. Так как известие было принесено стариком, ему можно было верить. Я выпил молока и отправился в путь; мой слуга вёл, как приманку, только что полученного козлёнка.

Вот и склон с выцветшей, выжженной травой, с мелким колючим кустарником, похожий на наши свалочные места. Мы привязали козлёнка посередине открытого места, я засел в куст шагах в пятнадцати, сзади меня улёгся с копьем мой харрарит. Он таращил глаза, размахивал оружием, уверяя, что это восьмой леопард, которого он убьёт; он был трус, и я велел ему замолчать. Ждать пришлось недолго; я удивляюсь, как отчаянное блеяние нашего козлёнка не собрало всех леопардов округа. Я вдруг заметил, как зашевелился дальний куст, покачнулся камень, и увидел приближающегося пёстрого зверя, величиную с охотничью собаку. Он бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрожающа. У него был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что первое мгновение мне пришла в голову несообразная мысль, не бежал ли он из какого-нибудь странствующего цирка? Потом сразу забило сердце, тело выпрямилось само собой, и, едка поймав мушку, я выстрелил.

Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дёргались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова всё больше и больше клонилась на сторону: пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я понял, что мне нечего ждать его нападения, опустил ружьё и повернулся к моему ашкеру. Но его место было уже пусто, там валялось только брошенное копье, а далеко сзади я заметил фигуру в белой рубашке, отчаянно мчащуюся по направленью к деревне.

Я подошёл к леопарду; он был уже мёртв, и его остановившиеся глаза уже заволокла беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передёрнуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъёма. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно жёлтым от поднимающейся луны; кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козлёнок отбежал так далеко, как ему позволяла натянутая верёвка, и стоял, опустив голову и цепенея от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно.

Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток сомалей с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на щеи и лбу, как бисер, поблёскивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник, харрарит. Это он всполошил всю деревню известием о моей смерти.

То медлительная и широкая, то узкая и кипучая, как горный поток, река Гавашь окружена лесами. Не лесом мрачным, сырым, тянущимся на сотни миль, а лесами-оазисами, как те, о которых поётся в народных песнях, полными звоном ручьёв, солнечными просветами и птичьим пересвистываньем. Там на просторных лужайках пасутся буйволы, в топких местах и в глубине кустарников залетают кабаны. С востока и запада туда идут поохотиться люди, с севера, из Данакильской пустыни — львы.

Встречаются они редко, так как одни любят день, другие — ночь. Днём львы дремлют на вершинах холмов, откуда, как со сторожевой вышки, обозревают окрестность; если приближается человек, они неслышно сползают на другую сторону холма и уже тогда убегают. А ночью люди окружают свой лагерь кольцом ярких костров. Таким образом взаимные нападения крайне редки.

Как-то в полдень в одном из таких лесов, где я забавлялся, стреляя марабу, мой слуга, бывалый абиссинец, громадный, с рябым лицом, указал мне на след у самой воды. «Анбасса (лев), — сказал он, понизив голос, — он сюда ходит пить». Я усомнился: если лев пил здесь сегодня ночью, то кто поручится, что он и завтра придёт сюда же. Но мой слуга поднял с земли беловатый твёрдый шарик, доказывающий, что лев приходил сюда и прежде; я был убеждён. Убить льва — затаённая мечта всякого белого, приезжающего в Африку, будь то скупщик каучука, миссионер или поэт. По зрелом обсуждении вопроса, мы решили устроить на дереве помост и засесть там на целую ночь. Так и лев может подойти ближе, и стрелять сверху вернее.

Удобное место нашлось неподалёку, на краю небольшой лужайки. Мы работали до вечера и соорудили неуклюжий косой помост, на котором можно было, свесив ноги, кое-как усесться вдвоём. Чтобы не стрелять лишний раз, мы поймали аршинную черепаху и поужинали её печёнкой, изжаренной на маленьком костре. Ночь застала нас на своих местах.

Ждали долго. Сперва было слышно, как запоздалые кабаны ворочались в кустарниках, потом беспокойно прокричала какая-то птица, и стало так тихо, будто весь мир разом опустел. Потом взошла луна, и мы увидели посреди лужайки дикобраза, который к чему-то принюхивался и рыл землю. Но вот вдали раскатисто ухнула гиена, и он, семеня, побежал в чащу. У меня страшно затекали ноги. Мы просидели так часов пять.

Только путешественник может себе представить, что такое усталость, и как может хотеться спать. Я уже раза два чуть не упал с моей вышки и наконец, озлобившись, решил слезть. Лучше отложить охоту на следующую ночь, а днём хорошенько выспаться. Я лёг ничком в кустах, положив рядом с собой ружьё, мой слуга остался на дереве. Как всегда бывает с очень усталым человеком, меня охватил не сон, а тяжёлое оцепенение. Я не мог шевельнуться, но слышал все дальние шорохи, чувствовал, как склонялась и бледнела луна.

Вдруг я очнулся, как будто от толчка, — я только потом сообразил, что это мой слуга зашептал мне с дерева: «Гета, гета (господин, господин)», — и на дальнем конце лужайки увидел льва, чёрного на фоне тёмных кустов. Он выходил из чащи, и я заметил только громадную, высоко поднятую голову над широкой как щит, грудью. В следующий миг я выстрелил. Мой маузер рывкнул особенно громко в полной тишине, и, словно эхо, вслед за этим пронёсся треск ломаемых кустарников и поспешный скак убегающего зверя. Мой слуга уже соскочил с дерева и стоял рядом со мной, держа наготове свою берданку.

Усталости как не бывало. Нас захлестнуло охотничье безумье. По кустам мы обежали лужайку, — идти напрямик мы всё-таки не решались, — и стали разглядывать место, где был лев. Мы знали, что он убегает после выстрела, только если ранен очень тяжело, или не ранен совершенно. Зажигая спичку за спичкой, мы ползком искали в траве капель крови. Но их не было. Лесное диво счастливо унесло свою рыжую шкуру, громоподобный голос и грозную негу бархатных и стальных движений.

Когда рассвело, мы позавтракали остатками черепахи.

V

Мой друг, молодой и богатый абиссинец лидж Адену, пригласил меня погостить в его имени. — «О, только два дня пути от Аддис-Абебы, — уверял он, — только два дня по хорошей дороге». Я согласился и велел на завтра оседлать моего мула. Но лидж Адену настаивал, чтобы ехать на лошадях, и привёл мне на выбор пять из своего табуна.

Я понял, почему он так хотел этого, сделав с ним в два дня по меньшей мере полтора ста вёрст.

Чтобы рассеять моё недовольство, вызванное усталостью, лидж Адену придумал охоту, и не какую-нибудь, а облаву.

Облава в тропическом лесу — это совсем новое ощущение: стоишь и не знаешь, что покажется сейчас за этим круглым кустом, что мелькнёт между этой кривой мимозой и толстым платаном; кто из вооружённых копытами, когтями, зубами выбежит с опущенной головой, чтобы пулей приобщить его к твоему сознанию; может быть, сказки не лгут, может быть, действительно есть драконы...

Мы стали по двум сторонам узкого ущелья, кончающегося тупиком; загонщики, человек тридцать быстроногих галласов, углубились в этот тупик. Мы прицепились к камням посреди почти отвесных склонов и слушали удаляющиеся голоса, которые раздавались то выше нас, то ниже и вдруг слились в один торжествующий рёв. Зверь был открыт.

Это была большая полосатая гиена. Она бежала по противоположному скату в нескольких саженьях над лидж Адену, а за ней с дубиной мчался начальник загонщиков, худой, но мускулистый, совсем голый негр. Временами она огрызалась, и тогда её преследователь отставал на несколько шагов. Я и лидж Адену выстрелили одновременно. Задышающийся негр остановился, решив, что его дело сделано, а гиена, перекувырнувшись, пролетела в аршине от лидж Адену в воздухе щёлкнула на него зубами, но, коснувшись ногами земли, как-то справились и опять деловито затрусила вперёд. Ещё два выстрела прикончили её.

Через несколько минут снова послышался крик, возвещающий зверя, но на этот раз загонщикам пришлось иметь дело с леопардом, и они не были так резвы.

Два-три могучих прыжка, и леопард был наверху ущелья, откуда ему повсюду была вольная дорога. Мы его так и не видели.

Третий раз пронёсся крик, но уже менее дружный, вперемежку со смехом. Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак, полулюдей, удирающих с той комической неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. Но позади бежало несколько старых самцов с седой львиной гривой и оскаленными жёлтыми клыками. Это уже были звери в полном смысле слова, и я выстрелил. Один остановился и хрипло залаял, а потом медленно закрыл глаза и опустился на бок, как человек, который собирается спать. Пуля затронула ему сердце, и, когда к нему подошли, он был уже мёртв.

Облава кончилась. Ночью, лёжа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как всё это просто, хорошо и совсем не больно.

Путешествие в страну эфира

Старый доктор говорил: «Наркотики не на всех действуют одинаково; один умрет от грамма кокаина, другой съест пять грамм и точно чашку черного кофе выпьет. Я знал одну даму, которая грезилла во время хлороформирования и видела поистине удивительные вещи; другие попросту засыпают. Правда, бывают и постоянные эффекты, например, сияющие озера курильщиков опиума, но в общем тут очевидно таится целая наука, донныне лишь подозреваемая, палеонтология де Кювье, что ли. Вот вы, молодежь, могли бы послужить человечеству и стать отличным пушечным мясом в руках опытного исследователя. Главное — материалы, материалы», — и он поднял к лицу запачканный чем-то синим палец.

Странный это был доктор. Мы позвали его случайно прекратить истерику Инны, не потому, чтоб не могли сделать это сами, а просто нам надоело обычное зрелище мокрых полотенец, смятых подушек, и захотелось быть в стороне от всего этого. Он вошел степенно, помахая очень приличной седой бородкой, и сразу вылечил Инну, дав ей понюхать какое-то кисловатое снадобье. Потом не отказался от чашки кофе, расселся и принялся болтать, задирая нос несколько больше, чем позволяла его старость. Мне это было безразлично, но Мезенцов, любивший хорошие манеры) бесился. С несколько утрированной любезностью он осведомился) не результатом ли подобных опытов является та синяя краска, которой замазаны руки и костюм доктора.

— Да, — важно ответил тот, — я последнее время много работал над свойствами эфира.

— Но, — настаивал Мезенцов, — насколько мне известно, эфир — жидкость летучая) и она давно успела бы испариться, так как, — тут он посмотрел на часы, — мы имеем счастье наслаждаться вашим обществом уже около двух часов.

— Но ведь я же все время твержу вам, — нетерпеливо воскликнул доктор, — что науке почти ничего неизвестно о действиях наркотиков на организм. Только я кое-что в этом смысле, я! И могу заверить вас, мой добрый юноша, — Мезенцова, которому было уже тридцать, передернуло, — могу заверить вас, что, если вы купите в любом аптекарском магазине склянку эфира, вы увидите вещь гораздо удивительнее синего цвета моих рук) который, кстати сказать, вас совсем не касается. На гривенник эфира, господа, и эта чудесная турецкая шаль на барышне покажется вам грязной тряпкой по сравнению с тем, что вы узнаете.

Он сухо раскланялся, и я вышел его проводить. Возвращаясь, я услышал Инну, которая своим томным и, как всегда после истерики, слегка хриплым голосом выговаривала Мезенцову: — Зачем вы его так, он в самом деле умен.

— Но я, честное слово, не согласен служить пушечным мясом в руках человека, который не умеет даже умыться как следует, — оправдывался Мезенцов.

— Я всецело на вашей стороне, Инна, — вступился я, — и думаю, что нам придется прибегнуть к чему-нибудь такому, если мы не хотим, чтобы наша милая тройка распалась. Бодлэра мы выучили наизусть, от надушенных папирос нас тошнит, и даже самый легкий флирт никак не может наладиться.

— Не правда ли, милый Грант, не правда ли? — как-то сразу оживилась Инна. — Вы принесете ко мне эфиру, и мы все вместе будем его нюхать. И Мезенцов будет... конечно.

— Но это же вредно! — ворчал тот. — Под глазами пойдут круги, будут дрожать руки ...

— А у вас так не дрожат руки? — совсем озлилась Инна. — Попробуйте, поднимите стакан с водой! Ага, не смеете, так скажете, не дрожат?!

Мезенцов обиженно отошел к окну. — Я завтра не могу, — сказал я. — А я послезавтра, — отозвался Мезенцов. — Господи, какие скучные! — воскликнула Инна. — Эта ваша вечная занятость совсем не изящна. Ведь не чиновники же вы, наконец! Слушайте, вот мое последнее слово: в субботу, ровно в восемь, не спорьте — я все равно не слушаю, вы будете у меня с тремя склянками эфира. Выйдет что-нибудь — хорошо, а не выйдет, мы пойдем куда-нибудь. Так помните, в субботу! А сейчас уходите, мне надо переодеться.

II

В субботу Мезенцов зашел за мной, чтобы вместе обедать. Мы любили иногда такие тихие обеды за одной бутылкой вина, с нравоучительными разговорами и чувствительными воспоминаниями. После них особенно приятно было приниматься за наше обычное, не всегда пристойное ничегонеделание.

На этот раз, сидя в общем зале ресторана, заглушаемые громовым ревом оркестра, мы обменивались впечатлениями от Инны. Я был ей представлен месяца два тому назад и через несколько дней привел к ней Мезенцова. Ей было лет двадцать, жила она в одной, но очень большой комнате, снимая ее в совсем безличной и тихой семье. Она была довольно образована, по-видимому со средствами, жила одно время за границей, фамилия ее была не русская. Вот все, что мы знали о ней с внешней стороны. Но зато мы оба были согласны, что нам не приходилось встречать более умной, красивой, свободной и капризной девушки, чем Инна. А что она была девушкой, в этом клялся Мезенцов, умевший восстанавливать прошлое женщины по ее походке, выражению глаз и углам губ. Здесь он считал себя знатоком и не без основания, так что я ему верил.

В конце обеда мы решили, что вдыхать эфир слишком глупо, что гораздо лучше увести Инну на скетинг, и в половине девятого подъехали к ее дому, везя с собою большого бумажного змея, которого Мезенцов купил у бродячего торговца. Мы надеялись, что этот подарок утешит Инну в отсутствии эфира.

Войдя, мы остановились в изумлении. Комната Инны преобразилась совершенно. Все безделушки, все эстампы, такие милые и привычные, были спрятаны, а кровать, стол и оттоманку покрывали пестрые восточные платки, перемешанные со старинной цветной парчей. Мезенцов потом мне признался, что на него это убранство произвело впечатление готовящейся выставки фарфора или эмалей. Впрочем, ткани были отличные, а цвета драпировки подобраны с большим вкусом.

Но удивительнее всего была сама Инна. Она стояла посреди комнаты в настоящем шелковом костюме балдеры с двумя круглыми вставками для груди, на голых от колена ногах были надеты широкие туфли без задков, между туникой и шароварами белела полоска живота, а тонкие, чуть-чуть смуглые руки обвивали широкие медные браслеты. Она сосала сахар, намоченный в одеколоне, чтобы зрачки были больше и ярче. Признаюсь, я немного смутился, хотя часто видел таких баядерок в храмах Бенареса и Дели. Мезенцов немного

улыбался и старался куда-нибудь сунуть своего бумажного змея. Наши надежды поехать в скетинг рассеялись совершенно, когда мы заметили на столе три большие граненые флакона.

— Здравствуйте, господа, — сказала Инна, не протягивая нам руки, — светлый бог чудесных путешествий ждет нас давно. Берите флаконы, занимайте места и начнем.

Мезенцов криво усмехнулся, но смолчал, я поднял глаза к потолку.

— Что же, господа? — повторила так же серьезно Инна и первая с флаконом в руках легла на оттоманке. — Как же его надо вдыхать? — спросил Мезенцов, неохотно усаживаясь в кресло.

Но тут я, видя, что вдыхание неизбежно, и не желая терять даром времени, вспомнил наставления одного знакомого эфиромана.

— Приложите одну ноздрю к горлышку и вдыхайте ею, а другую зажмите. Кроме того, не дышите ртом, надо, чтобы в легкие попадал один эфир, — сказал я и подал пример, откупорив свой флакон.

Инна поглядела на меня долгим признательным взглядом, и мы замолчали.

Через несколько минут странного томления, я услышал металлический голос Мезенцова: — Я чувствую, что поднимаюсь. Ему никто не ответил.

III

Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных, волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова нарастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.

Море вокруг, рыжее, плещущее яро. На гребнях волн синяя пена; не в ней ли доктор запачкал свои руки и пиджак?

Я поплыл на запад. Кругом плескались дельфины, чайки резали крыльями волну, а меня захлестывала горькая вода, и я был готов потерять сознание. Наконец, захлебнувшись, я почувствовал, что у меня идет носом кровь, и это меня освежило. Но кровь была синяя, как пена в этом море, и я опять вспомнил доктора.

Огромный вал выплеснул меня на серебряный песок, и я догадался, что это острова Совершенного Счастья. Их было пять. Как отдыхающие верблюды, лежали они посреди моря, и я угадывал длинные шеи, маленькие головки и характерный изгиб задних ног. Я пробежал под пышновеерными пальмами, подбрасывал раковины, смеялся. Казалось, что так было всегда и всегда будет. Но я понял, что будет совсем другое, миновал один поворот.

Нагая Инна стояла предо мной на широком белом камне. Руки, ноги, плечи и волосы ее были покрыты тяжелыми драгоценностями, расположенными с такой строгой симметрией, что чудилось, они держатся только связанные дикой и страшной Инниной красотой. Ее щеки розовели, губы были полураскрыты, как у переводящего дыхание, расширенные, потемневшие зрачки сияли необычайно.

— Подойдите ко мне, Грант, — прозвучал ее прозрачный и желтый, как мед, голос. — Разве вы не видите, что я живая?

Я приблизился и, протянув руку, коснулся ее маленькой, крепкой, удлиненной груди.

— Я живая, я живая, — повторяла она, я от этих слов веяло страшным и приятным запахом канувших в бездонность земных трав.

Вдруг ее руки легли вокруг моей шеи, и я почувствовал легкий жар ее груди и шумную прелесть близко склонившегося горячего лица.

— Унеси меня, — говорила она, — ведь ты тоже живой.

Я схватил ее и побежал. Она прижалась ко мне, торопя. — Скорей! Скорей!

Я упал на поляне, покрытой белым песком, а кругом стеною вставала хвоя. Я поцеловал Инну в губы. Она молчала, только глаза ее смеялись. Тогда я поцеловал ее опять...

Сколько времени мы пробыли на этой поляне, — я не знаю. Знаю только, что ни в одном из сералей Востока, ни в одном из чайных домиков Японии не было столько дразнящих и восхитительных ласк. Временами мы теряли сознание, себя и друг друга, и тогда похожий на большого византийского ангела андрогин говорил о своем последнем блаженстве и жаждал разделения, как женщина жаждет печали. И тотчас же вновь начиналось сладкое любопытство друг к Другу.

Какая-то большая планета заглянула на нашу поляну и прошла мимо. Мы приняли это за знак и, обнявшись, помчались ввысь. Снова красные и зеленые облака катали нас на своих дугообразных хребтах, снова звучали резкие, гнусные голоса всемирных гуляк. Бледный, с закрытыми глазами, в стороне поднимался Мезенцов, и его пергаментный лоб оплетали карминно-красные розы. Я знал, что он бормочет заклинанья и творит волшебство, хотя он не поднимал рук и не разжимал губ. Но что это? Красные и зеленые облака кончились, и мы среди белого света, среди фигур бесформенных и туманных, которых не было раньше. Значит, мы потеряли направление, и вместо того, чтобы лететь вверх, к внешнему миру, опустились вниз, в неизвестность. Я посмотрел на Инну, она была бледна, но молчала. Она еще ничего не заметила.

IV

Место это напоминало античный театр или большую аудиторию Сорбонны. В обширном амфитеатре, расположенном полукругом, толпились закутанные в белое безмолвные фигуры. Мы очутились среди них, и из всеобщей белизны ярко выделялись розы Мезенцова и драгоценности Инны.

Перед нами, там, где должны были бы находиться актеры или кафедры, я увидел старого доктора. В черном изящном сюртуке он походил на лектора и двигался как человек, вполне владеющий своей аудиторией. Очевидно было, что он сейчас начнет говорить. Как перед большой опасностью, у меня сжалось сердце, захотелось крикнуть, но было поздно. Я услышал ровный, твердый голос, сразу наполнивший все пространство.

«Господа! Лучшее средство понять друг друга — это полная искренность. Я бы с удовольствием обманул вас, если бы мне было это нужно. Но это мне не нужно. Чем отчетливее вы будете сознавать свое положение, тем выгоднее, для меня. Я даже буду пугать вас, искушать. Моя правдивость сделает то, что вы сумеете противостоять всякому искушению. Вы находитесь сейчас в моей стране, я предлагаю вам остаться в ней навсегда. Подумайте! Отказаться от любви и ненависти, смен дня и ночи. У кого есть дети, должен отказаться от детей. У кого есть слава, должен отказаться от славы. Под силу ли вам столько отречений?»

Я ничего не скрываю. Пока вы коснулись лишь кожицы плода и не знаете его вкуса. Может быть, он вам покажется терпким или кислым, слишком сладким или слишком ароматным. И когда вы раскусите косточку, не услышите ли вы тихого, страшного запаха горького миндаля? Кто из вас любит неизвестность, хочет, чтобы завтрашний день был целомудрен, как невеста, не оскорбленная даже в мечтах?

Только тех, чей дух подобен электрической волне, только веселых пожирателей пространств зову я к себе. Они встретят здесь неизмеримость, достойную их. Здесь все, рожденное в первый раз, не походит на другое. Здесь нет смерти, прерывающей радость, движенья, познаванья и любованья. И здесь все вам родное, потому что все — это вы сами! Но время идет, срок близится; или разбейте склянки с эфиром, или вы навеки в моей стране!»

Доктор кончил и наклонился. Бурный восторг всколыхнул собрание. Замахали белые рукава, и понесся оглушительный ропот: «Доктора, доктора!»

Я никогда не думал, чтобы лицо Инны могло засветиться таким безмолвным счастьем, таким трепетным обожаньем. Мезенцова я не заметил, хотя и высматривал его в толпе. Между тем, крики все разрастались, и я испытывал смутное беспокойство. У меня как-то отяжелели ноги, и я стал замечать мое затрудненное дыханье. Вдруг над самым ухом я услышал озабоченный голос Мезенцова, зовущего доктора, и открыл глаза.

V

Мой флакон эфира был почти пуст. Мне чудилось, точно меня откуда-то бросили в эту, уже знакомую комнату, с восточными тканями и парчей.

— Разве ты не видишь, что с Инной? Ведь она умирает! — кричал Мезенцов, склонившись над оттоманкой.

Я подбежал к нему. Инна лежала, не дыша, с полуоткрытыми побелевшими губами, а на лбу ее надулась тонкая синяя жила.

— Отними же у нее эфир, — пробормотал я и сам поспешил дернуть ее флакон. Она вздрогнула, лицо ее исказилось от муки, и, не открывая глаз, уткнувшись лицом в подушку, она зарыдала сразу, как ушибшийся ребенок.

— Истерика! Слава Богу, — сказал Мезенцов, опуская полотенце в кувшин с водою, — только теперь уже мы не позовем доктора, нет, довольно! — он стал смачивать Инне лоб и виски, я держал ее за руку. Через полчаса мы могли начать разговор.

Я обладаю особенно цепкой памятью чудесного, всегда помню все мои сны, и понятно, что мне хотелось рассказывать после всех. Инна была еще слаба, и первым начал Мезенцов.

— Я ничего не видел, но испытывал престранное чувство. Я качался, падал, поднимался и совершенно забыл различие между добром и злом. Это меня так забавляло, что я решил причинить кому-нибудь зло и только не знал кому, потому что никого не видел. Когда мне это надоело, я без труда открыл глаза. Потом рассказывала Инна:

— Я не помню, я не помню, но ах, если бы я могла вспомнить! Я была среди облаков, потом на каком-то песке, и мне было так хорошо. Мне кажется, я и теперь чувствую всю теплоту того счастья. Зачем вы отняли у меня эфир? Надо было продолжать.

Я сказал, что я тоже видел облака, что они были красные и зеленые, что я слышал голоса и целые разговоры, но повторить их не могу. Бог знает почему, мне захотелось скрытничать. Инна на все радостно кивала головой и, когда я кончил, воскликнула:

— Завтра же мы начнем опять, только надо больше эфиру.

— Нет, Инна, — ответил я, — завтра мы ничего не увидим, у нас только разболится голова. Мне говорили, что эфир действует только на неподготовленный к нему организм, и, лишь отвыкнув от него, мы можем вновь что-нибудь увидеть. — Когда же мы отвыкнем? — Года через три!

— Вы смеетесь надо мной, — рассердилась Инна, — я могу подождать неделю, ну две, и то это будет пытка, но три года... нет, Грант, вы должны что-нибудь придумать.

— Тогда, — пошутил я, — поезжайте в Ирландию к настоящим эфироманам, их там целая секта. Они, конечно, знают более совершенные способы вдыхания, да и эфир у них, наверно, чище. Только умирают они очень быстро, а то были бы счастливейшими из людей.

Инна ничего не ответила и задумалась. Мезенцов поднялся, чтобы уйти, я пошел с ним. Мы молчали. Во рту неприятно пахло эфиром, папираса казалась горькой.

Когда мы опять зашли к Инне, нам сказали, что она уехала, и передали записку, оставленную на мое имя.

«Спасибо за совет, милый Грант! Я еду в Ирландию и, надеюсь, найду там то, чего искала всю жизнь. Кланяйтесь Мезенцову. Ваша Инна.

P.S. Зачем вы тогда отняли у меня эфир?»

Мезенцов тоже прочитал записку, помолчал и сказал тише обыкновенного:

— Ты заметил, как странно изменились после эфира глаза и губы Инны? Можно подумать, что у нее был любовник.

Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни.

Гибели обреченные

I

Было утро, а еще не все туманы покинули земные болота. Еще носились прохладные морские ветры. А круглое сверкающее солнце уже поднялось на горизонте и нежно целовало землю, чтобы измучить ее после горячей лаской полуденного зноя. Пели невиданные птицы, страшные чудовища боролись на поверхности взволнованного моря. Золотые мухи казались искрами, упавшими с уже мертвой луны.

И первый человек вышел из пещеры.

Он встал на высоком утесе, где роскошная трава сбилась в причудливые узоры. И перед ним расстигалось неведомое море. Жадным и любопытным взором смотрел он на новый доставшийся ему мир, а в голове его еще бродили смутные воспоминания, знакомые, но полузабытые слова. Он не знал, кто дал ему это прекрасное сильное тело, кто забросил его в темную пещеру, из которой он вышел к пределам зеленоватого моря и лоснящихся брызгами черных утесов. Но он уже чувствовал, как законы нового бытия заставляют трепетать каждый фибр его тела безумной жаждой движения и слова. И стоял задумчивый и опьяненный.

Запоздавшая дикая кошка кралась между кустов. Пятнистым животом припадала к мягкой траве. Ее зрачки, круглые и загадочные, остановились на человеке, чаруя его странную тайной злого. Но она была голодна. Миг — и длинное гибкое тело мелькнуло в воздухе, в грудь человека впились острые, стальные когти, и в его лицо заглянула круглая оскаленная морда с фосфорическим блеском глаз. Простая случайность грозила уничтожить любимейшее творение Бога. Но могучие инстинкты всколыхнулись в груди человека, и он, не знакомый ни с опасностью, ни со смертью, радостно бросился навстречу борьбе. Сильными руками оторвал он разъяренного врага, швырнул его на траву и обоими коленями придавил к земле это пушистое бьющееся тело. Случайно он оцупал тяжелый камень. И сам не зная зачем и как, он ударил им по оскаленной морде, еще и еще. Послышался зловещий хруст и предсмертный хрип, потом все стихло, и борьба и движение. Изумленно созерцал человек эту перемену. Изумленно смотрел он на неподвижное тело кошки с раздробленной головой. И не в силах был связать всего прошедшего.

Острая боль заставила его очнуться. Он был ранен, и частые крупные капли текли по его изодранной груди. Ноги его подкашивались, и в ушах стоял странный звон. Внезапно он почувствовал, что уже сидит на мягкой траве, и что море, скалы и берег двигаются перед ним все быстрее и быстрее. И, опрокинувшись, он потерял сознание.

Солнце светило так же ярко, но в небе уже начиналось что-то страшное. Синеватые облака медленно и как-то нехотя проползали на горизонте. Но вот рванул ветер, и они заметались, словно испуганные птицы. Где-то загрохотало, и носорог, спокойно дремавший в болоте, приоткрыл свои маленькие глазки и глубже зарылся в холодный ил. Его беспокоило скопившееся электричество.

Сразу потемнело, и шумные, теплые потоки дождя туманным пологом скрыли окрестность. Гремело в небе, и глухо рокотало море, вздымая гигантские черные волны. И при огненных вспышках молний резким контуром вырисовывались фигуры встревоженных обитателей земли. Там пещерный медведь, бегущий в горы укрыться от грозы, там лани, прижавшиеся к утесу, а там еще какие-то неведомые существа, испуганные и трепещущие. Казалось, что весь новый, недавно родившийся мир был осужден к гибели. Но кто-то великий сказал свое запрещение. Он наложил руку на тучи, и они пролили вместо вихрей и мрака нежные слезы раскаяния. И теплая влага омыла воспаленные раны на груди лежащего человека. Девственноздоровые силы тела довершили остальное. И мало-помалу его беспмятство перешло в легкий освежительный сон. И опять безумная жажда жизни огнем прошла в его жилах, и он открыл глаза, такой же могучий, такой же радостный и готовый на все.

Буря кончилась. Последние облака темной угрозой столпились на востоке, а на западе опускалось уже бессильное солнце и задумчиво улыбалось, как будто жалея, что ему не удалось вдоволь наиграться с землей.

Человек стремительно поднялся. Он чувствовал себя внезапно созревшим. Он знал борьбу, знал страдание и видел смерть. Но тем глубже, тем прекраснее показался ему мир.

Опьяненный самим собой, своей красотой и мощью, он начал пляску, первую Божественную пляску, естественное выражение чувства жизни. Закружился и запрыгал, и каждый новый прыжок новой радостью плескал в его широко раскрывшееся сердце.

Из-под ног его вырвался тяжелый камень и с грохотом покатился в пропасть; долго соскакивал с камня на камень, ломал кусты и, с силой ударившись, разбился на дне. «Тремограст», — повторило далекое эхо. Человек внимательно прислушался и, казалось, что-то соображал. Медленно прошептал он: «Тремограст». Потом весело засмеялся, ударил себя в грудь и уже громко и утвердительно крикнул: «Тремограст», и эхо ответило ему.

Он был в восторге, найдя себе имя, такое звучное и напоминающее паденье камня. Полный благодарности, он решил тотчас же идти искать того, кто первый за скалами громко произнес это слово. Но взошла луна, холодная и печальная, как женщина, послышались ночные шорохи, и человеку сделалось страшно. На него надвигалось что-то гибкое и неведомое, против чего не властны ни его могучие руки, ни красивое, гордое слово «Тремограст», и, как ящерица, забившись среди камней, он начал терпеливо ждать, когда удалится эта новая опасность.

II

Пришел день, а за ним еще многие другие. И не было конца ликование и восторгу. Все удавалось счастливому первенцу Бога. Мысли, как звезды, рождались в его голове, руки были искусны, и природа с любовью подчинялась его желаниям.

Из мраморных глыб он сложил себе обширную пещеру и украсил ее царственными шкурами убитых им львов и пантер. Из гибкого тиса сделал лук и перетянул его сплетенными жилами гигантского буйвола. Перьями изумрудных птиц окрылил он легкие стрелы и смеялся от радости, когда они пели, вонзаясь в голубой воздух. С этим луком и стрелами он охотился в прохладных равнинах за быстрыми ланями, в угрюмых скалистых ущельях боролся со свирепыми медведями и в топких, заросших тростником болотах поражал гиппопотамов, которые только ночью выходят из липкой и глубокой тины.

И жемчужными вечерами, когда выплывали на берег гордые морские кони, и их ржанье, как божественный хохот, прокатывался по водной пустыне, он подкрадывался к ним, веселый и жестокий, проползая под низко-склоненными ветвями и вдыхая пряный запах окропленной росой травы. Золотой, звенящей осой пролетала стрела и вонзилась в круто-согнутую шею или в лоснящийся круп одного из

красивых животных. Диким ужасом схваченные, мчались остальные, а товарищ их бился, с глазами полными муки, и под ним на вечернем песке расплывались алые пятна крови. И к нему гигантскими прыжками уже стремился беспощадный Тремограст, чтобы насладиться предсмертной дрожью поверженного врага, смехом встретить его последний стон и, содрвав атласисто-белую шкуру, украсить ею свое мраморное жилище.

И после, ночью, так сладок бывал отдых победителя.

Дни проходили, и Тремограст забыл свои смутные воспоминания и странное чувство какой-то потери, которое томило его в первый день творения.

Он полюбил мир земли, его пьянящие запахи, смеющиеся гулы и изменчиво-влажные краски. Ему нравилось подолгу лежать ничком, прижимая к лицу благоухающие, сочные розы. Он думал, что тогда земля яснее и свободнее рассказывает свои светлые тайны. И он поднимался с сознанием, что он любим.

С одинаковым упоением он убивал животных и целовал нежные белые лилии. Он радовался и тому и другому. Потому что он не знал еще сладострастия сопоставлений.

Он любил уходить далеко от своей пещеры и встречать все новые, увлекательные неожиданности, от которых бьется сердце и блещут глаза.

Он проникал в пещеры, где в подземных озерах живут страшные, безглазые рыбы, и взбирался на вершины гор, с которых видно полмира.

Он всему дал имена, имена ароматные, звучные и красочные, как сами предметы.

Одного только боялся он — луны.

Когда всходила она, та, которой он не смел назвать имя, он чувствовал, как томление, доходящее до ужаса, мучительная грусть и еще что-то кольцом охватывает его сердце, и ему хотелось острым камнем разодрать себе грудь, броситься с утеса в море, сделать что-нибудь ужасное и непоправимое, только бы уйти от этого взгляда, печально вопрошающего о том, на что нет ответа.

Он пробовал бороться с этой тяжелой чарой. Кричал бранные слова, резким диссонансом звучавшие в задумчивой тишине, и пускал в светлый диск свои длинные меткие стрелы. Но напрасно! Стрелы падали обратно, равно как и слова, отраженные эхом. И эта неуязвимость и безгневность печального врага доводили его почти до безумья!

Вскоре он перестал бороться, хотя и сознавал, что еще не раз во времени встретятся их взоры, перекрестятся их пути и одному из них придется уступить.

По ночам он зажигал в своей пещере веселые костры, которые грели и манили своей легко постижимой тайной.

А утром поднималось солнце, ветры начинали петь в ущельях, и зеленое море, просыпаясь, шевелило свои мягкие бархатные волны.

Солнце, ветер и море он любил.

Так проходили дни за днями.

III

Далеко в море, у которого жил Тремограст, возвышался маленький остров, видный только в очень ясные солнечные дни.

Тогда тонкими линиями вырисовывалась его легкая масса, и над ней извивался, словно дымок, розоватый туман. И изредка оттуда прилетали особенно красивые птицы.

Этот остров давно дразнил воображение Тремограста. Ему казалось, что там зреют плоды, сочнее и ароматнее, чем в его лесах, и разбросаны камни, перед которыми ничто блеск тусклого мрамора и редко-встречаемого малахита.

И однажды утром он спрятал лук и стрелы, лианой привязал к руке свою тяжелую дубину, с которой он никогда не расставался, и бросился в воду, чтобы плыть к далекому острову — загадочному счастью. Долго боролся он с волнами, рассекал их стройными руками и захлебывался соленой пеной; и только к вечеру, обессиленный, он упал на давно желанный берег.

Перед ним косые лучи солнца освещали лесную прогалину, края которой густо заросли кипарисами. Наверху в полумраке листья чувствовалось еще движение, прыжки беспокойных обезьян и шорохи вечерних птиц, а внизу уже царила величавая тишина. Высокие разноцветные травы притаились, как и причудливые камни, разбросанные здесь и там. Казалось, ждали грозы или чего-то еще более могучего.

Из-за большого мшистого обломка скалы вышла невысокая гибкая девушка, и сразу заметил и навсегда запомнил изумленный Тремограст ее легкую поступь, большие глаза, из которых катились крупные слезы, и сказочно-богатую темно-синюю с золотыми узорами одежду.

Она плакала... Почему?! Может быть, ее испугал тигр, или злая птица унесла какое-нибудь из ее украшений! И Тремограст порывисто схватил в руке свою верную дубину, хотел спешить к ней защитить, но внезапно остановился.

Вслед за нею вышел юноша. Он был одет в блестящий панцирь, на котором вились страусовые перья, и все его тело светилось, как будто из него исходили серебряные лучи. Он подошел и взял девушку за руку.

— Лейла, — сказал он, и звук его голоса задрожал и умер безнадежным вопросом, — Лейла!

— О Габриель, — рыдая, ответила девушка, — ты слишком прекрасен, ты не знаешь последней страшной тайны, которую сказал старый филин на запретной горе, ты скоро умрешь, Габриель!

— Что из того? Миг смерти изумруден, смерть целует, как сонное виденье, а жизнь печальнее сломленной лилии. Недавно ко мне приходил тот Великий и сказал, что скоро конец; и я смеялся в первый раз с тех пор, как увидел тебя. Ты не любишь меня, Лейла, а смерть любит.

— О, не говори так, Габриель, твои слова слишком прозрачны, они мучат своей чистотой. Разве я виновата, что тот Великий, который одарил тебя осенне-золотой душой и пронизал своими лучами, дал мне это юное страстное тело со всеми вихрями, со всеми жаждами, со всей бесконечной тоской смеющейся земли. Ты бог, Габриель, а я, я — женщина.

— Лейла! Некогда и я искал сладострастия, и меня влекли боли и радости могучей земли. Но далекие звезды властно сказали, что за ними есть что-то иное. И с тех пор моя душа — это цветок, устремившийся в бесконечность. Бесконечности нет, Лейла. Но она будет в тот миг, когда смерть скажет свое золотое тихое — нет. Почему ты не хочешь взять этот миг, Лейла?

— О Габриель! Не то сказал филин на запретной горе, полночью, когда светила луна. Да! Законы, которые он знает, не для тебя, Габриель. Ты умрешь, потому что невозможное требует жертв. Ты умрешь для меня, и мой первый поцелуй принадлежит тебе.

Девушка приблизила свое лицо к загоревшемуся лицу юноши, ее тонкие руки обвили его панцирь, и в воздухе раздался тихий звук, похожий на падение жемчужины, звук, которого никогда еще не слышал Тремограст. Он содрогнулся от внезапной ревности, вдруг нахлынувшего желания такого же счастья. И, выпрямившись во весь рост, он громко крикнул, чтобы обратить на себя внимание.

Незнакомцы вздрогнули от изумления. Девушка с испуганным взглядом бросилась в глубь просеки, и ее темно-синяя одежда быстро слилась с бархатным сумраком. Юноша направился к Тремограсту, вынимая на ходу волнистый меч, украшенный рубинами.

— Кто ты, — крикнул он голосом звонким, как жужжание стрелы, — кто ты, отвечай, или ты умрешь.

— Я не боюсь, — удивленно ответил Тремограст, — но если ты хочешь, друг, я тебе скажу: я — Тремограст, обитатель земли там, за морем; у меня есть мраморная пещера с красивыми камнями и теплыми шкурами животных; если хочешь, я отдам ее тебе за девушку.

— За девушку?!

— Да! Больше белоснежных коней, гордых павлинов и этого тихого моря понравилась она мне; ее губы краснее закатного неба; ее взгляды нежнее умирающей лани; и ее любовь должна быть слаще убийства.

Юноша слушал задумчиво, но вот выпрямился, и обидным презрением прозвучали его слова.

— Кто ты, — крикнул он, — что осмеливаешься мечтать о высших восторгах. Строй себе пещеры, охоться, грейся у костра, но не приближайся к вершинам, которые тебе недоступны; ты будешь сброшен, и горько будет твое падение.

Сказав это, он подошел к морю, но не погрузился в него, а заскользил по поверхности, и его бег напоминал быстрый полет ласточки над самой землей, в час, когда на небе собираются гроззовые тучи. Тремограст пробовал преследовать его, но волны зашевелились, как будто запреща, и, пока он боролся с ними, уже скрылся сияющий контур загадочного юноши. Тремограст поплыл домой.

Страшно было это возвращение по взволнованному ночному морю со зловеще-подвижными пятнами багровой луны. Черное безумье обуяло в эту ночь луну. Как змея, скользила она посреди чудовищных облаков, словно бешеный конь, металось ее отражение. Казалось, она угрожала смертью тому, кто не ответит на ее вечный вопрос.

Но Тремограст плыл, спокойный и строгий, и думал о том, что он скоро ответит луне.

IV

Вернувшись, Тремограст нашел в своей пещере гостей. Возле большого весело-трещащего костра полу-сидели, полу-лежали две человеческие фигуры. Одна была прикрыта старой уже выцветшей шкурой небольшого рыжего медведя, да и то скорее случайно найденной, а не добытой на охоте. Костюм второй был еще беднее: там не было ничего, кроме нескольких виноградных ветвей, прикрепленных к поясу лианами. Когда они встали, чтобы приветствовать Тремограста, который приближался к ним, красивый, как лев, идущий на буйвола, усталый и рассерженный, с синими жилами на могучих руках, пламя костра осветило их лица. Одетый в медвежью шкуру оказался худощавым и гибким мужчиной, с высоким лбом и со спокойным знающим взглядом. Его товарищ — юношей, почти мальчиком с грустной линией рта и с робкими задумчивыми глазами. Они, казалось, не были смущены появлением Тремограста и ждали его спокойно и уверенно.

Старший протянул вперед раскрытую правую руку, чтобы показать, что в ней нет оружия, младший остановился поодаль, скрестив руки на груди. Тремограст подошел и гневно спросил пришельцев, кто они и что они тут делают. Ему ответил одетый в шкуру медведя:

— Меня зовут Эгаим, и горные птицы дали мне прозвище — Знающий тайны. Этот юноша, которого ты видишь, называется Элаи, и он владеет чудесным даром: тайны, которые я открываю, он перекладывает в песни, звучнее, чем ветер и море. Мы — твои братья, Тремограст, и мы пришли помочь твоему великому делу, о котором уже думают камни, шепчут травы и рыкают в пустынях львы. Тремограст нахмурился.

— Какому делу? Охотиться и зажигать костры могу я сам, а высоты... что до них мне и тебе? Наши тела на светятся серебряными лучами, наши души не цветы.

— Не говори, чего не думаешь, Тремограст! Не затем так горят твои глаза, раздуваются ноздри и алеют губы, чтобы вечно жить на равнинах в забавах, которые ты делишь с пантерами. Уже не раз над тобой поднималась луна, призывая тебя к высшим победам. Вспомни девушку с грустными глазами, которую ты видел сегодня на острове. Мне рассказал об этом старый филин на горе, заросшей вереском и лопухами.

Тремограст вошел в пещеру и присел на глыбу мрамора, покрытую шкурой морского коня. Пламя костра осветило его зажженное безумной надеждой лицо.

— Если так, — сказал он, — то будьте гостями в моей пещере и расскажите мне тайны, которые нашептала вам земля. Я ничего не слышал от нее, кроме нежных вздохов и влюбленных слов. Может быть, вы знаете также, как победить луну? Древняя распря связывает меня с нею. Но сегодня я видел ее испуганною, хотя и гневною. И мне показалось, что я начинаю понимать многое.

Легкой грустью подернулось лицо Эгаима:

— Элаи знает эту тайну лучше, чем я; спой, Элаи, ту песню, которую ты пел в ночь нашего состязания: камни говорили под властью моих заклинаний, от твоей песни они заплакали.

Элаи запел:

В простор от тягостного плена земля бежит среди огней,

Но, как зловещая гиена, луна гоняется за ней.

Есть яд! Не тот, который травы в пустынях сумрачных таят,

Не огневой и не кровавый, но тем ужаснее тот яд.

Но грех, великий грех вселенной, позор и гибель — не понять,

Что на луне, всегда надменной, святая кроется печать.

Могучи грозные стихии, но все они минутный сон!

Не мы, но, может быть, другие поймут таинственный закон.

Голос Элаи оборвался, и он замолчал. Молчал и Тремограст, задумчивый и печальный. Эгаим выпрямился и протянул руку к луне, бледной и подозрительной, уже заглядывающей в отверстие пещеры. Худощавый и гибкий, с глазами, горящими в предутреннем сумраке, он напоминал мудрую, священную змею.

— Ты видишь, Тремограст, — зазвенел его голос, — что луна мучит землю. Ты призван быть ее освободителем. Ты можешь быть князем земли. Но для этого ты должен победить. На далеких горах живут могучие боги. Одного из них ты видел сегодня. Они прекрасны, они обольстительнее утренних звезд. Но они не дети нашей земли, они пришли из далека. Ее горести, ее надежды для них чужды, и за то я

обрекаю их гибели. Хочешь быть князем земли, Тремограст?! Поднимись на вершины и победи богов!

В пещеру врвался волнующий пряный аромат. Слышно было, как тяжело вздыхает в беспокойном сне разметавшаяся земля. И зловещая падающая луна на легкое мгновение преобразилась, обожгла неотразимой прелестью и шепнула стыдливо и быстро: «Спаси меня, Тремограст, я страдаю».

Тремограст медленно промолвил:

— Я решил. Завтра мы выступаем в путь.

И, наклонившись к костру, он зажал в руке раскаленный уголек, чтобы болью победить волнение, которое он не хотел показать пришельцам.

V

Два часа было довольно, чтобы оживить могучие тела первых обитателей земли. И последние звезды еще не потухли на изумрудноутреннем небе, когда они покинули мраморную пещеру. Старые утесы приветливо улыбались, и сереберяно-белые колокольчики звенели что-то невнятное, но радостное о близкой победе и жалели, что не могут идти вместе с ними. И ветер, внезапно выскакивавший из глухих ущелий, кувырчался по равнинам и весело трепал одежды путников.

Впереди шел Эгаим и громко читал утренние молитвы. За ним следовал Тремограст, могучий и гордый, как царь, и на его лице, таком прекрасном, теперь лежала печать серьезного и вдумчивого торжества.

Юный и хрупкий Элаи не сводил с него мерцающих влюбленных глаз и своим певучим голосом рассказывал об Эгаиме.

Странный человек был Эгаим: он знал удивительные тайны. Из ароматных трав он добывал страшные яды и сладкие, преображающие душу напитки; он даже осмеливался вырывать мандрагору с ее корнями, которые имеют человеческое лицо и кричат зловеще и пронзительно. Он говорил с птицами на их языке и не раз уходил на далекую, пустынную гору совещаться о тайнах с филином. И когда он пел утренние молитвы, уродливые летучие мыши казались прекраснее больших разноцветных бабочек. Звездные знаки говорили ему о прошедшем и будущем.

Так рассказывал Элаи, а Тремограст, изредка взглядывая в его бледное лицо и восторженно горящие глаза, думал, что этот слабый юноша, может быть, умнее мудрого Эгаима и сильнее его, Тремограста. Потому что он походил и на высокие тонкие травы, и на легких голубых птиц, и на утренние звезды.

В полдень решено было сделать привал. Эгаим и Элаи начали устраивать костер, а Тремограст со своим луком и стрелами отправился на охоту. Местность была ему незнакома, и он долго бродил без успеха. Птицы пролетали слишком высоко, и пугливые рыжие суслики торопливо прятались в норы от шороха его шагов. Усталый и раздраженный, он уже хотел вернуться к стоянке, над которой вился приветливый дымок, как вдруг странно-красивая могучая масса, угрожающе фыркая, появилась перед ним из сухого и низкого кустарника. Это был буйвол.

Тремограст затрепетал от радости и, взмахнув дубиной, как тигр, прыгнул ему навстречу. Но буйвол, очевидно, раздумал принять бой и, повернувшись, обратился в дикое бегство, размахивая хвостом и бросая испуганные, свирепые взгляды по сторонам. Тремограст бежал за ним так близко, что чувствовал дрожь земли, ударяемой могучими копытами. Но он не мог уловить момента для удара.

Погоня приближалась к костру, у которого в беспечных позах лежали Эгаим и Элаи. Уже Тремограст кричал им, чтобы они спасались, потому что в своем неудержимом бегстве буйвол мчался прямо на них. Но Элаи, приподнявшись на локте, с любопытством следил за охотой, а Эгаим, протянув руку к бешеному животному, крикнул какое-то странное слово. Крикнул... и Тремограст покатился через голову, наткнувшись с разбега на мертвую тушу внезапно пораженного буйвола. Он быстро вскочил и с недоумением огляделся вокруг себя.

Небо было так же прозрачно, далеко кричала какая-то птица, и тяжело валялся мертвый буйвол, на теле которого не было ни одной раны.

Легкая улыбка змеилась на губах Эгаима.

— Охота была удачна, Тремограст, — сказал он, — помоги же мне снять шкуру с нашей добычи. Мясо свирепого буйвола — хорошая пища для воинов.

Тремограст задумчиво принялся за работу, ел лениво и рассеянно и, только когда надо было собираться в путь, промолвил с непривычной застенчивостью: «Теперь я понимаю то, о чем говорил Элаи».

Карты

Древние маги любили уходить из мира, погружаться в соседние сферы, говорить о тайнах с Люцифером и вступать в брак с ундидами и сильфидами. Современные — старательно подбирают крохи старого знания и полночью, в хмурой комнате, посреди каменного города вещими словами заклинаний призывают к своему магическому кругу духов бесформенных, страшных, но любимых за свою непостижимость.

Волшебный и обольстительный огонь зажег Бодлер в своем искусственном раю, и, как ослепленные бабочки, полетели к нему жадные искатели мировых приключений. Правда, вслед за ними поспешили и ученые, чтобы, как назойливые мухи, испачкать все, к чему прикоснутся их липкие лапки. Восторги они называли галлюцинацией извращенного воображения.

Никто не слушал их перед светом Высшей правды существования иных вселенных и возможности для человека войти в новые, нездешние сады.

Виденья магов принадлежат областям нашего подсознательного я, астрального существования, чей центр, по старым книгам, — грудь, материя — кровь и душа — нервная сила.

Искусственный рай рождается скрытыми законами нашего тела, более мистического, чем это думают физиологи. И нам хочется наслаждений более тонких, более интеллектуальных, радующих своей насмешливой улыбкой небытия. Таким наслаждением являются карты, не игра в них, часто пошлая, часто страшная, нет, они сами, мир их уединенных взаимоотношений и их жизнь, прозрачная, как звон хрустальной пластинки.

Чтобы понять все, что я скажу сейчас, вспомните рисунки Обри Бердслея, его удивительную Саломею, сидящую в бальном платье перед изящным туалетным столиком, и аббата Фанфрелюша в замке Прекрасной Елены, перелистывающего партитуру Вагнера.

Этими певучими гротесками, очаровательными несообразностями художник хотел рассказать людям то, что не может быть рассказано.

И всякий, знающий сложное искусство приближений, угадываний и намеков, радостно улыбнется этим смеющимся тайнам и взглянет нежным взором на портрет Обри Бердслея, как странник, который на чужбине случайно услышал родной язык.

Тот же способ подсказывания и намека я возьму для моей causerie[1] о картах.

Карты, их гармоничные линии и строго обдуманного цвета, ничего не говорят нам о прошлом, не владеют чарой атавистических воспоминаний; к будущему человечества и нашего сознания они так же великолепно равнодушны. Они живут теперь же, когда о них думают, особой жизнью, по своим, свойственным только им, законам. И для того, чтобы рассказать эти законы, мне придется перевести их на язык человеческих чувств и представлений. Они много потеряют от этого, но, если кто-нибудь не поленился и в ненастный осенний день раскроет ломберный стол и, разбросав по нему в беспорядке карты, начнет вдумываться в определенную физиономию каждой, я

надеюсь, что он поймет их странное несложное бытие.

Тузы — это солнца карточного неба. Черной мудростью мудрый пиковый и надменный трефовый владеют ночью; день принадлежит царственно-веселому бубновому и пронизанному вещей любовью червонному.

Все четыре короля рождены под их влиянием и сохраняют отличительные черты своих повелителей; но они потеряли способность светиться собственным светом, для своего проявления они прибегают к сношениям с картами низшего порядка, они унижаются до эмоций: посмотрите, как пиковый бросает украдкой недовольные взоры на шаловливого юркого мальчишку, своего валета; трефовый упал еще ниже: он тяготеет к бессмысленно-добрым восьмеркам и неуклюжим девяткам. Короли бубновый и червонный стоят много выше, но все же и на них заметна печать оскудения.

Дамы, эта вечная женственность, которая есть даже в нездешних мирах, влюблены в заносчивого, дерзкого бубнового валета, каждая сообразно своей индивидуальности. Пиковая обнимает его своими смуглыми худыми руками, и поцелуй змеиных губ жжет, как раскаленный уголек. Трефовая легким знаком приказывает ему приблизиться.

Бубновая, гордая *chatelaine*[2], раздувает свои выточенные нервные ноздри и ждет, скрывая любовь и ревность.

И стыдливая червонная счастлива от одной близости этого надменного мальчишки.

Юркий пиковый, положительный трефовый, избалованный бубновый и скверно-развратный червонный — таков мир валетов, мир попок, драк и жестоких шалостей. Они любят издеваться и бросать нечистоты туда, в нижние ряды карт.

Там, внизу, уже нет жизни, есть только смутное растительное прозябание, бытие цифр, облеченных в одежду знаков. Но личность проглядывает и там. Один мой приятель обратил мое внимание, что пятерка имеет злое выражение. Я пригляделся к ним и заметил то же самое. Если когда-нибудь будет революция знаков против цифр, в этом, наверно, окажутся виновными пятерки.

Из двоек таинственна только пиковая, хорошо знаковая любителям покера.

Вверх по Нилу

9 мая

Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян. Каждой ночью мне снится иная страна, знакомая и прекрасная, каждой ночью я ясно помню, что мне надо делать, но, просыпаясь, забываю все. Проходят дни, недели, а я все еще в Каире.

11 мая

Завтра решится все. Сегодня на вечере у французского консула я встретил высокого англичанина с надменной линией губ и детски-веселыми голубыми глазами. Мне сказали, что он художник и едет к истокам Нила. И при первом взгляде я понял, что он знает многое. Если вообще тайна жива среди арийских народов, то англичане чаще других владеют ею. Я пригласил его на кофе и с тревогой ждал ответа. Он обещал прийти.

12 мая

— Сигару, мистер Тъери?

— Благодарю, мистер Грант.

— Говорят, в истоках Нила лихорадки и москиты.

— Да, но там есть также священные крокодилы особенной редкой породы, изумрудные.

— Арабы интереснее негров.

— Один нищий дервиш рассказал мне, что в тропических лесах еще могуче племя мудрых эфиопов под властью потомка короля-волхва Балтазара.

— Это вроде романов Райдера Хаггарда.

— Нисколько! Райдер Хаггард был доволен, встречая свирепых работорговцев, увертливых карликов и красивых девушек с белой кожей. Но мы, люди тысяча девятьсот шестого года, мы ищем скрытого. И мы находим тайны там, где Хаггард не увидел бы ничего, кроме высохшей пальмы и больной негритянки.

— Но где же золото, пурпур и роскошь черных царей?

— Вы видите эту золотую монету? Разве она радует Вас; а эти красные шелковые занавески, этот ковер из старой Персии, на котором, быть может, заклинали солнечных духов, все это слишком неискусно скрывает свою тяжелую скуку. И мне кажется, что вот-вот и наши великолепные зданья вдруг раскроются неудержимым гигантским зевком. Я был бы огорчен, если бы в моем путешествии встретил что-нибудь подобное.

— Что же можно встретить?

— Новое познание, которое укажет другую сторону всех вещей. Найдите его — и Вы будете изумлены, как Вы могли считать облако атмосферическим явлением, когда оно на самом деле звездокрылая бабочка из царства примитивов Джотто. И кокосовый орех расскажет Вам больше, чем книги всего мира.

— Если Вы позволите, мистер Тъери, я поеду с Вами.

— Тогда надо торопиться, мистер Грант, я выезжаю завтра на рассвете.

24 мая

Мы едем почти две недели и сегодня высадились на берег около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. Поблизости не было ни души, и мы вошли в нее без проводника. Лестница висала, поднималась и опускалась и внезапно окончилась пугающей заманчиво-черной ямой. Мистер Тъери лениво пожал плечами и пошел наверх, а я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться, держа в руке смоляной факел, ронявший огненные капли в темноту. Скоро я добрался до сырого, растреснутого дна и, присев на камень, огляделся. Мой факел освещал только часть пещеры, старую, старую и странно родную.

Где-то сочилась вода. Валялись остатки рассыпавшейся мумии. Мелькнула и скрылась большая черная змея. «Она никогда не видела солнца», — с тревогой подумал я. Задумчивая жаба выползла из-за камня и, видимо, хотела подойти ко мне. Но ее пугал свет факела.

Мне стало вдруг так грустно, как никогда еще не бывало. Чтобы рассеяться, я подошел к стене и начал разбирать полустертую иероглифическую надпись. Она была написана на очень старом египетском, много старше луврских папирусов. Только в Британском музее я видел такие же письма. Но, должно быть, благословение задумчивой жабы прояснило мой ум, я читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах или рецепт приготовления мумий. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все.

Я плакал слезами благодарности и чувствовал, что теперь мир переменится, одно слово... и новое солнце заплещет в золотистой лазури и все ошибки превратятся в цветы.

Мой факел затрещал и начал гаснуть. Но я прочитал довольно. Я начал подниматься и при последней вспышке огня опять увидел черную змею, мелькнувшую неясным предостережением, и милые, милые святые буквы.

Я без труда отыскал мистера Тъери, который сидел неподалеку и рисовал мертвого крокодила. При моем приближении он поднял на меня свои детские, незнающие глаза. Я улыбнулся и сказал мое тайное слово, которое я принес из глубин пирамиды. Солнце закружилось, запрыгало и покатилося, как черный шар, в бездонность, а на его месте загорелись слова: «Ты не дочитал, несчастный, и то, что ты сказал, — яд!» В ужасе упал я на землю и, как сквозь сон, слышал встревоженный земной голос: «Что с Вами, мистер Грант?»

17 июня

Три недели пролежал я в сильной нильской лихорадке и только сегодня могу снова приняться за дневник. Мистер Тъери привез меня обратно в Каир и ухаживал за мной, как за ребенком. Но, кажется, он о чем-то догадывается, потому что, когда я сказал ему, что мы должны возвратиться к пирамиде, он начал распространяться о неоплатониках и их солнечных заклинаниях и, наконец, сказал, почти не скрываясь: «Бойтесь задумчивых жаб».

Откуда он знает?

Африканский дневник

Глава первая

Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принёс в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собраньи мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивавшем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли я уже с рассказом о моём путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на академиков, как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно, в смягчённой форме я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приёмную одного из вершителей академических судеб.

С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных ещё не

разобранными коллекциями кабинетов, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал учёных, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах, и таких, чья мечта — добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде приём, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности её выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится ещё один сочлен. А выход к морю есть. Это — Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений — в России их не меньше, чем где бы то ни было, — совсем было приобрёл его для русского правительства. Но наше Министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озёрами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моём родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошёл бы на всевозможные лишения и опасности.

Приготовление к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, сёдла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия.

7-го апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе.

Странное впечатление производит на северянина Одесса. словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжёрами. Вечернее гуляние по Дерibasовской, напоминающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфический одесский говор, с изменёнными удареньями, с неверным употребленьем падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, её детски-наивная вера во всемогущество хитрости, её экстатическая жажда успеха. В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты. Развернув его, я увидел стихотворение Сергея Городецкого с изменённой лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведующий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за своё.

Несомненно, в Одессе много безукоризненно-порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена — Порт-Саид, Смирна, Одесса.

10-го апреля на пароходе Добровольного флота «Тамбов» мы вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Чёрное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зелёная малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подсказывали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звёзды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?

12-го утром — Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно-декоративная красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых весёлые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окружённые кипарисами

и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей, и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и не жгучее.

Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введённой в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно — русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать.

Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег, не пренебрегая обычным в Босфоре удовольствием попасть в волну, оставляемую проходящим пароходом, и бешено покачаться в течение нескольких секунд. В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были заперты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Четалдже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый удар.

По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин как в «Тысяче и одной ночи», мы прошли в Айя-Софию. На окружающем её тенистом дворе играли полуголые дети, несколько дервишей, сидя у стены, были погружены в созерцание.

Против обыкновения не было видно ни одного европейца.

Мы откинули повешенную в дверях циновку и вошли в прохладный, полутёмный коридор, окружающий храм. Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Ещё одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он лёгок необыкновенно. Мягкие ковры заглушают шаг. На стенах ещё видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зелёной чалме долго и упорно бродил вокруг нас. Должно быть, он следил, чтобы с нас не соскочили туфли. Он показал нам зарубку на стене, сделанную мечом султана Магомета; след от его же руки омочен в крови; стену, куда, по преданию, вошёл патриарх со святыми дарами при появлении турок. От его объяснений стало скучно, и мы вышли. Заплатили за туфли, заплатили непрошеному гиду, и я настоял, чтобы отправиться на пароход.

Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шёлковыми и бисерными искушениями, кокетливые перы, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку и прочёл «Отче наш» в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луддор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше.

В Константинополе к нам присоединился ещё пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, — заросли искривлённых мимоз с подозрительно тёмной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы; на азиатском берегу — волны песка, пепельно-рыжего, раскалённого. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые

арабы, дервиши или так бедняки, которые не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в неё, не трываясь, будто колдуня. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Суэцком канале умирляют и убаюкивают душу, чтобы потом её застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утёсы, разбросанные там и сям, похожи на ещё неведомых африканских чудовищ. Особенно один, совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы. Ночь ещё более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно поражённое дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звёзд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры — это морское свечение. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном.

Мы бросили якорь перед Джиддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зелёных мелей Джидды, окаймляемых чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи, мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зелёные чалмы.

Пока агент компании готовил разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавков изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряжённое ожиданье.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и её всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят её на добычу. Наконец в воде появилась тёмная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дёрнули за верёвку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила её. Теперь, видимо, огорчённая исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплёскивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая копнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усилиями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в неё пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять чёрных дыр показали на её голове и беловатых губах. Ещё усилье, и её подтянули к самому борту. Кто-то тронул её за голову, и она щёлкнула зубами. Видно было, что она ещё совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довёл разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезёнка аршина в два величину, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и её без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыть где-нибудь в отдалённых бухтах позор невольного предательства. А этот верный до конца подсказывал из воды, как бы желая взглянуть, что там делают с его госпожой, кружился вокруг плавающих внутренностей, к которым уже приближались другие акулы с весьма недвусмысленными намерениями, и всячески высказывал своё безутешное отчаянье.

Акуле отрубили челюсти, чтобы вырвать зубы, остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелёными мелями Джидды был широкий и ярко-жёлтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. Вечером мне принесли доставшиеся на мою долю три белых и зубчатых зуба акулы. Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандеб, мы остановились у Джibuти.

Глава вторая

Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджураской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значение, в нём живёт лишь один упрямый европеец, и моряки не без основанья говорят, что его «съела» Джibuти. За Джibuти — будущее. Её торговля всё возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в неё впервые, их было триста, теперь их четыреста. Но окончательно она созреет, когда

будет построена железная дорога, соединяющая её со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. Тогда она победит даже Массову, потому что на юге Абиссинии гораздо больше обычных здесь предметов вывоза: воловьих шкур, кофе, золота и слоновой кости. Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих её. Железная дорога даже не субсидирована.

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили вёсельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырёх часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетётся какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пёстрых чалмах, белые шляпы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обеих кафе полны народом. Между столов ходит карлик, двадцатилетний араб, аршин ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой головой. Он ничего не просит, но если ему дают кусок сахара или мелкую монету, он благодарит серьёзно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетиями восточной грацией. Потом все идет на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором чётко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями — все в ослепительно белой извести. В один из подобных вечеров мы совершили очаровательную поездку в загородный сад в обществе m-re Галеба, греческого коммерсанта и русского вице-консула, его жены и Мозар-бея, турецкого консула, о котором я говорил выше. Там узкие тропки между платанами и банановыми широколистными пальмами, жужжанье больших жуков и полный ароматами тёплый, как в оранжерее, воздух. На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода. То там, то сям виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу. Когда мы выходили, старик араб принёс нам букет цветов и гранат, увя, неспелых.

Быстро прошли эти три дня в Джибути. Вечером прогулки, днём валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба, они бегают удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забиваются в норы, утром работа. По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени Исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля... Гуссейна, который живёт в деревне Харауа, в трёхстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакиями и, увя, всегда побеждаемо последними; что Джибути (по-сомалийски Хамаду) построено на месте не населённого прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть ещё люди, поклоняющиеся чёрным камням; большинство всё же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказали мне ещё, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключения. Проводникам из этого племени довериться нельзя.

Сомалийцы обнаруживают известный вкус в выборе орнаментов для своих щитов и кувшинов, в выделке ожерелий и браслетов, они даже являются творцами моды среди окружающих племён, но в поэтическом вдохновении им отказано. Их песни, нескладные по замыслу, бедные образами, ничто по сравнению с величавой простотой абиссинских песен и нежным лиризмом галласских. Я приведу для примера одну, любовную, текст которой в русской транскрипции приведён в приложении.

ПЕСНЯ

«Беррига, где живёт племя Исса, Гурти, где живёт племя Гургура, Харар, который выше земли данакилей, люди Галь-бет, которые не покидают своей родины, низкорослые люди, страна, где царит Исаак, страна по ту сторону реки Селлель, где царит Самаррон, страна, где вождю Дароту Галласы носят воду из колодцев с той стороны реки Уэба, — весь мир я обошёл, но прекраснее всего этого, Мариан. Магана, будь благословенна. Рераудаль, где ты скромнее, красивее и приятнее цветом кожи, чем все арабские женщины».

Правда, все первобытные народы любят в поэзии перечисленье знакомых названий, вспомним хотя бы гомеровский перечень кораблей, но у сомалийцев эти перечисления холодны и не разнообразны.

Три дня прошли. На четвёртый, когда было ещё темно, слуга-араб со свечой обошёл комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Ещё сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после спящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и несколько не лучше второго, обыкновенно ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дороже за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дороги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол, Сильный и т. д. Уже в

несколько километров, когда начался подъём, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Вид из окна был унылый, но не лишённый величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озёра грязной воды. Из куста выбегает диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакилы с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копыя. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от неё — тайна. На маленьких станциях голые чёрные ребятишки протягивали к нам ручки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всём Востоке слово: бакшиш (подарок).

В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 километрах от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек приготовляет очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростёртыми объятьями, отвёл нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнёсся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-абиссински.

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдёт, так как дождями размыло путь, и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошёл в томительном ожидании, только грек не скрывал своей радости: у него не только завтракали, у него и обедали. Ночью всяк разместился, как мог. Мой спутник остался спать в вагоне, я неосторожно принял предложение кондукторов-французов лечь в их помещении, где была свободная кровать, и до полночи должен был выслушивать их казарменно-нелепую болтовню. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере 8 дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двух. Мы остались потому, что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества, кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше, чем в 8 дней. Днём мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отделились километра на 3 от станции. Солнце клонилось к закату, мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. «Мындерну» (в чём дело?), спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копыя в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Но на вооружённого они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьём. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней.

На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ними же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая «ейдехе, ейдехе» — род русской «дубинушки», не политической, а рабочей, — взялись за ручки дрезин, и мы отправились.

Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так, что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью. Окрестности были очень богаты дичью. Мы опять видели шакалов, газелей и даже на берегу одного болота нескольких марабу, но они были слишком далеко. Одному из наших ашкеров удалось убить стрепета величиной почти с маленького страуса. Он был очень горд своей удачей.

Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти на них, и ещё час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции. Было холодно, слышался рёв гиены. А в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа.

Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его вниманье? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха.

Я далёк от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть «пригорков и ручейков». Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведённую под пальмами, навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность — пусть смеются надо мной городские любители природы — это тоже прекрасно. И я с благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку.

Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Хараре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро: Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харарит Абдулаие, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быstroногих черномазых бродяг, как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу.

Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я её не видел, особенно её европейская часть. Я помню время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток. Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую ближе к вокзалу и туземную, то есть просто беспорядочное нагромождение хижин, загоронок для скота и редких лавок. В европейской части живут французы и греки. Французы — господа положения: они или служат на железной дороге, где получают хорошее жалование, или содержат лучшие отели и ведут крупную торговлю; начальник почты — француз, доктор — тоже. Их уважают, но не любят за постоянно проявляемое ими высокомерие к цветным расам. В руках греков и изредка армян вся мелкая торговля Абиссинии. Абиссинцы называют их «грик» и отделяют от прочих европейцев, «френджей». В европейское, то есть во французское, общество они за немногими исключениями не приняты, хотя многие из них зажиточны. В одном маленьком греческом кафе, которое по вечерам превращается в настоящий игорный дом, я видел ставки по несколько сот талеров, принадлежащие весьма подозрительным оборванцам.

В европейской части города нет ни экипажей, ни фонарей. Улицы освещаются луной и окнами кафе.

В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам Дживаджи и Мохамет-Али, шёлковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шёлковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, готовят по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности — просто важного начальника) висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами.

Чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд. На террасе дома, выходящей на довольно обширный двор, сидел, поджав под себя ноги, статный абиссинец, главный судья, окружённый помощниками и просто друзьями. Шагах в пяти перед ним на земле лежало бревно, за которое не должны были переступать тяжущиеся даже в пылу защиты или обвинения. Двор был полон ашкерами, принадлежащими судье, и просто любопытными. Когда я вошёл, судья вежливо приветствовал меня, велел подать стул и, заметив, что я интересуюсь тяжбой, сам дал несколько разъяснений. По ту сторону бревна стоял высокий абиссинец с красивым, но искажённым злобою лицом, и приземистый, одна нога на деревяшке, араб, весь полный торжеством в ожидании близкой победы. Дело состояло в том, что абиссинец взял у араба мула, чтобы куда-то проехать, и мул издох. Араб требовал уплаты, абиссинец доказывал, что мул был больной. Говорили по очереди. Абиссинец перепрыгивал через бревно и в такт своим аргументам тыкал пальцем прямо в лицо судье. Араб принимал красивые позы, распахивал и запахивал свою шамму (белая мантия, общая для всех обитателей Абиссинии) и, говоря, выбирал выраженья и, видимо, старался для галёрки. Действительно, дружный сочувственный смех сопутствовал его выступленьям. Даже судья с улыбкой показывал головой и бормотал: «Ойю гут» («это удивительно»). Наконец, когда оба тяжущиеся поклялись смертью Менелика (в Абиссинии всегда кланутся смертью императора или кого-нибудь из высших сановников), утверждая противное, восторг сделался общим. Я не дождался конца и, записав ашкеров, ушёл, но видно было, что победит араб. Судиться в Абиссинии — очень трудная вещь. Обыкновенно выигрывает тот, кто заранее сделает лучший подарок судье, а как узнать, сколько дал противник? Дать же слишком много тоже невыгодно. Тем не менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд.

Днём прошёл ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что случилось с рекой. Её нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно чёрной воды и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли

назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. На островке прямо перед нами стояло большое дерево. Волны с каждым ударом обнажали его корни, обдавая его брызгами пены. Дерево вздрагивало всеми ветвями, но держалось крепко. Под ним уже почти не оставалось земли, и лишь два-три корня удерживали его на месте. Между зрителями даже составлялись пари: устоит оно или не устоит. Но вот другое дерево, вырванное где-то в горах потоком, налетело и, как тараном, ударило его. Образовалась мгновенная запруда, которой было достаточно, чтобы волны всей своей тяжестью обрушились на погибающего. Посреди рёва воды слышно было, как лопнул главный корень, и, слегка качнувшись, дерево как-то сразу нырнуло в водоворот всей зелёной метёлкой ветвей. Волны бешено подхватили его, и через мгновение оно было уже далеко. А в то время, как мы следили за гибелью дерева, ниже нас по течению утонул ребёнок, и весь вечер мы слышали, как голосила мать.

Наутро мы отправились в Харар.

Глава третья

Дорога в Харар пролегает первые километров двадцать по руслу той самой реки, о которой я говорил в предыдущей главе. Её края довольно отвесны, и не дай Бог путнику оказаться на ней во время дождя. Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов. И не мы одни воспользовались удобным случаем. По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили данакилы, галласские женщины с отвислой грудью несли в город вязанки дров и травы. Длинные цепи верблюдов, связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизанные на нитку забавные чётки, проходя, пугали наших мулов. Ожидали приезда в Дире-Дау харарского губернатора дедьязмага Тафари, и мы часто встречали группы выехавших встретить его европейцев на хорошеньких резвых лошадках.

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зелёная трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим чёрные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь ещё не созданной легенде.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, ещё находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами. Абиссинцы славятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъём: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устаёшь. Бьётся сердце и захватывает дух: словно идёшь на любовное свидание. И за то бываешь вознаграждён неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможденные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная спокойная вода, словно серебряный щит: горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъём длился полтора часа. Мы были на Харарском плоскогории. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы — старательно возделанные поля дурро. В галласской деревушке мы купили инджиры (род толстых блинов из чёрного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб) и съели её, окружённые любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро Оромоло, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадил красивого ибиса и через пять часов очутились перед Хараром.

Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружён стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времён Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то поднимаются, то спускаются ступенями, тяжёлые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, — всё это полно прелести старых сказок. Мелкие мошенничества, проделываемые в городе, тоже совсем в древнем духе. Навстречу нам по многолюдной улице шёл с ружьём на плече мальчишка — негр лет десяти, по всем признакам раб, и за ним из-за угла следил абиссинец. Он не дал нам дороги, но так как мы ехали шагом, нам не трудно было объехать его. Вот показался красивый харарит, очевидно, торопившийся, так как он скакал галопом. Он крикнул мальчишке посторониться, тот не послушался и, задетый мулом, упал на спину, как деревянный солдатик, сохраняя на лице всё ту же спокойную серьёзность. Следивший из-за угла абиссинец бросился за хараритом и, как кошка, вскочил позади седла. «Ба Менелик, ты убил человека». Харарит уже приуныл, но в это время негритенок, которому, очевидно, надоело лежать, встал и стал отряхивать с себя пыль. Абиссинцу всё-таки удалось сорвать талер за увечье, чуть-чуть не нанесённое его рабу.

Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и ещё более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel'a. Но всё-таки приятно было выпить освежительного пинцерменту и сыграть партию в засаленные и обгрызенные шахматы.

В Хараре я встретил знакомых. Подозрительный мальтиец Каравана, бывший банковский чиновник, с которым я смертельно рассорился в Аддис-Абебе, первый пришёл приветствовать меня. Он навязывал мне чьего-то чужого скверного мула, намереваясь получить комиссионные. Предложил сыграть в покер, но я уже знал его манеру игры. Наконец, с обезьяньими ужимками посоветовал послать дедьязмагу ящик с шампанским, чтобы потом забежать перед ним и похвастаться своей распорядительностью. Когда же ни одно из его стараний не увенчалось успехом, он потерял ко мне всякий интерес. Но я сам послал искать другого моего аддис-абебского знакомого — маленького чистенького пожилого копта, директора местной школы. Склонный к философствованию, как большинство его соотечественников, он высказывал подчас интересные мысли, рассказывал забавные истории, и всё его мирозерцание производило впечатление хорошего и устойчивого равновесия. С ним мы играли в покер и посетили его школу, где маленькие абиссинцы лучших в городе фамилий упражнялись в арифметике на французском языке. В Хараре у нас оказался даже соотечественник, русский подданный армянин Артём Иоханжан, живший в Париже, в Америке, в Египте и около двадцати лет живущий в Абиссинии. На визитных карточках он значится как доктор медицины, доктор наук, негодичант, комиссионер и бывший член Суда, но когда его спрашивают, как получил он столько званий, ответ — неопределённая улыбка и жалобы на дурные времена.

Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. У абиссинцев разгораются глаза: может быть, белый не знает цены и его можно надуть. К отелю тянется цепь мулов, иногда очень хороших, но зато безумно дорогих. Когда эта волна спадёт, начинается другая: ведут мулов больных, израненных, разбитых на ноги в надежде, что белый не понимает толк в мулах, и только потом поодиночке начинают приводить хороших мулов и за настоящую цену. Таким образом, в три дня нам посчастливилось купить четырёх. Много помог нам наш Абдулайе, который хотя и брал взятки с продавцов, но всё же очень старался в нашу пользу. Зато низость переводчика Хайле выяснилась за эти дни вполне. Он не только не искал мулов, но даже, кажется, перемигнулся с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать нас там. Я его отпустил тут же в Хараре.

Другого переводчика мне посоветовали искать в католической миссии. Я отправился туда с Иоханжаном. Мы вошли в полуотворённую дверь и очутились на большом безукоризненно чистом дворе. На фоне высоких белых стен с нами раскланивались тихие капуцины в коричневых рясах. Ничто не напоминало Абиссинии, казалось, что мы в Тулузе или в Арле. В просто убранной комнате к нам выбежал, именно выбежал, сам монсеньёр, епископ галласский, француз лет пятидесяти с широко раскрытыми, как будто удивлёнными глазами. Он был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведённые среди дикарей, в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Он как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили. Он знал одного переводчика, это галлас Поль, бывший воспитанник миссии, очень хороший мальчик, он его ко мне пришлёт. Мы попрощались и вернулись в отель, куда через два часа пришёл и Поль. Рослый парень с грубоватым крестьянским лицом, он охотно курил, ещё охотнее пил и в то же время смотрел сонно, двигался вяло, словно зимняя муха. С ним мы не сошлись в цене. После, в Дире-Дауа, я взял другого воспитанника миссии, Феликса. По общему утверждению всех видевших его европейцев, он имел такой вид, точно его начинает тошнить; когда он поднимался по лестнице, хотелось почти поддержать его, и однако он был совершенно здоров, и тоже *un tres brave garçon*, как находили миссионеры. Мне сказали, что все воспитанники католических миссий таковы. Они отдают свою природную живость и понятливость взамен сомнительных моральных достоинств.

Вечером мы отправились в театр. Дедьязмаг Тафари увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счёт отправились в Харар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашенные стены, земляной пол — всё это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и молодым прекрасным принцем сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клеветает на него царю. Принц изгнан, царь проводит всё своё время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном. Он хочет жениться на ней, но когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, и все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдаёт ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование.

Единственный режиссёрский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актёры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдалённо относившиеся к общему действию пьесы.

Декорации, увы, были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красоту и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами. Как ни странно, но это не только не вредило впечатлению, но даже усиливало его. Получалось приятное единообразие голосов и движений, которое так редко встречается в наших театрах. Особенно хорош был актёр, игравший наложницу: набелённый, нарумяненный, с красивым цыганским профилем, он выказал столько страсти и кошачьей грации в сцене обольщения короля, что зрители были искренно взволнованы. Особенно разгорались глаза у переполнявших театр арабов.

Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеров и через три дня были уже на обратной дороге. Ночевали на половине подъёма, и это была наша первая ночь в палатке. Там уместились только две наши кровати и между них, как ночной столик, два поставленные один на другой чемоданы типа выработанного Грумм-Гржимайло. Ещё не обгоревший фонарь распространял зловонье. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковородке, обычная здесь еда в пути) и варёным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше.

Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в отеле в двух часах езды от Харара и ожидает, чтобы харарские власти были официально извещены о его прибытии в Аддис-Абебу. Об этом хлопотал германский посланник в Аддис-Абебе. Мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперёд.

Несмотря на то, что консул ещё не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нём наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю все приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы — баранов и кур. Возжи полунезависимых сомалийских племён присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми руками.

Мы пробыли у консула около часа и, приехав в Харар, узнали грустную новость, что наши ружья и патроны задержаны в городской таможне. На следующее утро наш знакомый армянин, коммерсант из окрестностей Харара, заехал за нами, чтобы вместе ехать навстречу консулу, который, наконец, получил нужные бумаги и мог совершить торжественный въезд в Харар. Мой спутник слишком устал накануне, и я поехал один. Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почётного конвоя и водворения порядка. Белые, то есть греки, армяне, сирийцы и турки — все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество.

Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своём богато расшитом золотом мундире, ярко-зелёной ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смиренных (он не был хорошим наездником), два ашкера взяли её под уздцы, и мы тронулись обратно в Харар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный празднующийся люд. В общем, было человек до шестисот. Греки и армяне, ехавшие сзади, напирали на нас нещадно, каждый стараясь показать свою близость к консулу. Один раз даже его лошадь вздумала бить задом, но и это не останавливало честолобцев. Большое замешательство произвела какая-то собака, которая вздумала бегать и лаять в этой толпе. Её гнали, били, но она всё принималась за своё. Я отделился от шествия, потому что у моего седла оборвался подхвостник, и со своими двумя ашкерами вернулся в отель. На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтверждённому приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство.

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмага Тафари. К дедьязмагу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмага, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедьязмага, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящий во внутренний, довольно грязный двор, напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголосе или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмага. Дедьязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точёному лицу, окаймлённому чёрной вьющейся бородкой, по большому полному достоинству газельим глазам и по всей манере держаться в нём сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Маконнена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вёл свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказа из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харар. Тогда мы просили дедьязмага о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедьязмага в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой.

Она сестра Лидж Иясу, наследника престола, и следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем её мужу, и черты её лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила её фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьязмаг проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил

нас сняты её несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основания находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с её двумя девочками-служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Хараре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев — красных, синих, зелёных и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причём избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимающих, к чему всё это, хараритов. Надо мной насмеялись, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал её сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный предмет — чалму, которую носят харариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери кавоса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашёл там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встаёт картина жизни целого народа и всё растёт нетерпенье увидеть её больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрёл штук семьдесят чисто хараритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, то есть только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджигу к сомалийскому племени Габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав.

Глава четвёртая

Харар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигре, бежавшими от религиозных преследований, и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с данакильской пустыней, с востока — с землёй Сомали, а с юга — с высокой и лесистой областью Мета; в общем, занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. Собственно харариты живут только в городе и выходят работать в сады, где растёт кофе и чад (дерево с опьяняющими листьями), остальное пространство с пастбищами и полями дурро и маиса ещё в XVI веке занято галласами, коту, то есть земледельцами. Харар был независимым государством до... В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Гергере наголову разбил харарского негуса Абдуллаха и взял его самого в плен, где тот вскоре и умер. Его сын живёт под надзором правительства в Абиссинии, номинально называется харарским негусом и получает солидную пенсию. Я его видел в Аддис-Абебе: это красивые полный араб с приятной важностью лица и движений, но с какой-то запуганностью во взгляде. Впрочем, он не высказывает никаких поползновений вернуть себе престол. После победы Менелик поручил управление Хараром своему двоюродному брату расу Маконнену, одному из величайших государственных людей Абиссинии. Тот удачными войнами распространил пределы своей провинции на всю землю данакилей и на большую часть Сомалийского полуострова. После его смерти Хараром управлял его сын дедзаг Ильяма, но через год он умер. Потом дедзаг Бальча. Это был человек сильный и суровый. О нём до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным уважением. Когда он прибыл в Харар, там был целый квартал весёлых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга (как рабынь), поставив их покупателям условие, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что она занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник её преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как харариты, не поняв, как следует, принца, распространили его даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Хараром. Он отказывался платить подати негусу, утверждая, что по эту сторону Гаваша негус — он, и предлагал отрешить его от губернаторства; он знал, что им дорожили как единственным в Абиссинии искусным стратегом. Теперь он губернатор в отдалённой области Сидамо и ведёт себя там так же, как в Хараре. Дедьязмаг Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором Фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздаёт по двадцать, тридцать жирафов, то есть ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас, но очень редко.

И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят хараритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. «Сыну ангелов, не носящему рубашки, не следует входить в дома чёрных хараритов» — поётся в их песенке, и обыкновенно они исполняют этот завет. Всё это мне кажется не совсем справедливым. Харариты действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это их несчастье, что им приходилось жить среди рыцарей-абиссинцев, трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена. Они очень начитаны, отлично знают Коран и арабскую литературу, но особенной религиозностью не отличаются. Их главный святой — шейх Абукир, пришедший лет двести тому назад из Аравии и похороненный в Хараре. Ему посвящены многочисленные платаны в городе и окрестностях, так называемые аулия. Аулия здешние мусульмане называют всё обладавшее силой творить чудеса во славу Аллаха. Есть аулия покойники и живые, деревья и предметы. Так, на базаре в Гинире мне долго отказывались продать зонтик туземной работы, говоря, что это аулия. Впрочем, более образованные знают, что неодушевлённый предмет не может быть священным сам по себе и что чудеса творит дух того или иного святого, поселившегося в этом предмете.

Умер ли Менелик?

Умер ли Менелик — вот вопрос, от которого зависит судьба самой большой независимой страны в Африке, страны с пятнадцатью миллионами населения, древней православной Абиссинии. Если да — могучие феодалы поднимут спор за императорский трон, недавно покоренные народы возмутятся, и все это окажется предлогом для европейцев разделить между собой Абиссинию. Этот раздел уже решен, и по тайному соглашению французы получают восточные области, итальянцы — северные и часть южных, англичане — все остальное. Не знают только, как поступить с центральной частью, где озеро Тана. Из него берет свое начало голубой Нил, главный ороситель Египта. Итальянцы, овладев этим озером, могут отвести воду в свою ныне бесплодную Эритрею, она станет новым Египтом, а старый, лишенный воды, сольется с Сахарой. Англичане, конечно, не могут на это согласиться и требуют Тану себе, хотя они и так при разделе получат больше других.

Если же жив Менелик — все будет по старому. Министры из столицы Абиссинии, Аддис-Абебы, будут повелевать феодалами, сильные гарнизоны — держать в повиновении покоренные племена: белые не посмеют напасть на сплоченный, безумно храбрый и удивительно выносливый народ. Европейские школы, которые уже есть в Абиссинии, выпустят ряд людей, способных к управлению и понимающих опасности, грозящие их стране, и она останется независимой еще много веков, чего, конечно, заслуживает вполне.

Постараемся же разобраться этот вопрос и для этого вернемся к событиям 1906 года. Уже давно Менелик хотел сломить власть феодалов. Эти надменные расы, засевшие в своих то горных, то лесистых областях, охотно признавали его своим владыкой, но они не хотели признать его наследником любимого внука Лиджа Иассу, сына его дочери и покоренного крестившегося вождя Уоло. В значительной мере справедливо они утверждали, что, если Менелик не хочет признать наследниками своих сыновей, то следует отдать престол чистокровному абиссинцу и потомку царя Соломона, как вся царская фамилия. Менелик решился на рискованный шаг: он сохранил за расами губернаторские права в их областях, но все управление поручил министрам, которых избрал из преданных ему лиц, по большей части незнатного происхождения. Тотчас же вслед за этим влиятельный вождь, рас Маконен, направился со своими харрарскими отрядами на Аддис-Абебу. Его отравили по дороге. В Тигрэ вспыхнуло восстание и после кровавых битв было подавлено. Остальные расы глухо волновались, но вдруг пронесся слух, что Менелик умер.

В Аддис-Абебе мне рассказывали ужасные вещи. Императору дали яд, но страшным напряжением воли, целый день скача на лошади, он поборол его действие. Тогда его отравили вторично уже медленно действующим ядом и старались подорвать бодрость его духа зловещими предзнаменованиями. Для суеверных абиссинцев мертвая кошка указывает на гибель увидавшего ее. Каждый вечер, входя в спальню, император находил у постели труп черной кошки. И однажды ночью императрица Таиту объявила, что после внезапной смерти Менелика правительницей становится она, и послала арестовать министров. Те, отбившись от нападавших, собрались на совет в доме митрополита Абуны Матеоса, наутро арестовали Таиту и объявили, что Менелик жив, но болен, и видеть его нельзя.

С тех пор никто, кроме официальных лиц, не мог сказать, что видел императора. Даже европейские посланники не допускались к нему. Именем еще малолетнего наследника, Лиджа Иассу, управлял его опекун рас Тасама, который во всем считался с мнениями министров. В судах и при официальных выступлениях, как прежде, все решалось именем Менелика. В церквах молились о его выздоровлении.

Так прошло шесть лет, и Лидж Иассу вырос. Несколько охот на слонов, несколько походов на еще непокоренные племена — и у львенка загорелись глаза на императорский престол. Рас Тасама внезапно умер от обычной среди абиссинских сановников болезни: от яда; и однажды, тоже ночью, Лидж Иассу со своими приближенными ворвался в императорский дворец, чтобы доказать, что Менелик умер, и он может быть коронован. Но правительство не дремало: министр финансов, Хайле Георгис, первый красавец и щеголь в Аддис-Абебе, собрав людей, выгнал Лиджа Иассу из дворца, военный министр Уольде Георгис, прямо с постели, голый, бросился на телеграфную станцию и саблей перерубил провода, чтобы белые не узнали о смутах в столице. Лиджу Иассу было сделано строжайшее внушение, после которого он должен был отправиться погостить к отцу, в Уоллю. Европейским посланникам было категорически подтверждено, что Менелик жив.

Несколько недель тому назад я опять прочел в газетах, что Менелик умер, а на другой же день — опровержение этого слуха. Значит, повторилось что-нибудь подобное только что рассказанному.

Итак, жив ли Менелик, или нет? По-моему — жив, потому что жива лучшая его часть — могучая и сплоченная Абиссиния, такая, какую он ее создал. Когда будет окончательно сказано, что он умер, он действительно умрет с независимостью Абиссинии, символом которой он являлся. Об его предке, царе Соломоне, рассказывают, что он заставил духов строить храм и, почувствовав приближение смерти, приказал привязать свое тело к трону, чтобы духи не заметили, что он мертв, и продолжали свою работу. То же самое повторилось и в наши дни.

И по всей Абиссинии звучит песня, сложенная не в золотые дни побед и правления любимого императора, а в туманные дни его второго призрачного бытия:

Смерти не миновать; был император Аба-Данья[3],

но у леопарда болят глаза,

он не выходит из своего логовища!

Лошадь Аба-Даньи не стала бы трусливой:

трусливая лошадь тени боится,

начиная от слона и кончая жирафом.

Кому завещал он свой щит?

Пока еще он продолжает грозить,

но люди держат его лишь по привычке!

Записки кавалериста

Глава I

Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы — поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы — это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы — наши отцы, — говорит кавалерист пехотинцу, — за вами как за каменной стеной».

<...>

Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но, где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и страшном языке пулемет лепетал непонятное.

Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкою, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.

Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключаящему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня.

На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла: он отступал нерасстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить — совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов.

По трясуемому наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.

<...>

Мы были в Германии.

Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения, — каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жадной стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?

Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.

<...>

Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.

Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из монтекристо. Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезавшими, то — я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздававшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвивавшееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и как последнее впечатление я запомнил крупную фигуру в черной шинели, с каской на голове, на четвереньках, с медвежьей хваткой вылезавшую из соломы.

Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнее противника, это — единственное оправдание всей жизни кавалериста.

<...>

На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась шпугатурка да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.

Самое тяжелое для кавалериста на войне, это — ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уедет из-под самого носа одураченного врага.

<...>

Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и, молча, целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости щрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними.

О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром вприкуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу, — никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас!! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа: «Вшистка германи забрали», хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченого хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!

Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была — заставить заговорить артиллерию, и та, действительно, заговорила. Глухой выстрел, протяжное завыванье, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья — в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: «Правее, правее!»

<...>

Мы повернули и галопом стали уходить.

<...>

Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение.

На следующий день противник несколько отошел и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения.

Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помеся средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами.

<...>

Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.

<...>

Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать — всегда радость, но наступать по неприятельской земле, это — радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевато усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.

<...>

...Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок.

Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.

<...>

...Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома.

Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: «Серьезный барин, наверно, генерал... ну и вредный, надо быть, когда ругается...»

<...>

...Вот за лесом послышалась ружейная пальба — партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали продвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услышали невдалеке частую, частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидели забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими.

Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.

<...>

Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедляя аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того чтобы опять вскочить на лошадь.

Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное.

Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежащую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколот дров, растопил печь и как был, в шинели, бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже за полночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел на кухню, мечтая погреться у пылающих углей.

<...>

...И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею.

На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать, и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впиалась в дверной косяк вершка на два от моей головы.

В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски; она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать грозное: «Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»

<...>

Дикие были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо труб, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.

<...>

Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат <...> но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение.

Глава III

Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утечи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.

Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим

просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.

Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.

В таких местах, что бы ты ни делал — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным.

Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?

<...>

На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.

Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.

Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а... а... а...» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, — те же медленность и неуклонность.

Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.

<...>

Поздно ночью мы отошли на бивак <...> в большое имение.

<...>

...В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдала ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидной дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.

Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.

Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напился парного молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяжное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.

Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибающаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.

<...>

...На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.

Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, оглянув врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.

Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.

Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился.

Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с

нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.

Глава IV

Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я.

Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, паньчи, не езжайте туда, там вас забьют германи».

В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, — дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему.

Вправо и влево почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути.

До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешили, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса.

Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал за спиной чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка.

Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.

На другой день уже смеркалось и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер.

Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.

Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешили, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запряганный в воронку от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.

Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый слугитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад.

Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно.

Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, — нет, это — бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов — тра, тра, тра, — и пули свистят, ноют, визжат.

Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но, увы! — ночной ветер в ключья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и, назло судьбе, все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.

Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернуться большие диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи.

Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в не понятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принохивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в безобразный кусок матово-белого льда и помчится вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал сигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках — курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.

В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроились стройным четырехугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.

Было решено выровнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали, он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас.

Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в «Войне и мире» посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу, — это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: «Так... отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо...» И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно.

Мы, уланы, беседовали со степенными бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей.

К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок.

По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где «кози», то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и наконец объявили, что «кози» именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: «Ничего, пойдём, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций.

В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони — гусарский разъезд. «Вот и кози!» — воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя», — попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.

На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты за четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом — вольноопределяющийся, куда? — и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. «Не проедете, — сказали они, — вон уже где палят». Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я повернул, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки.

На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил: «Ну что, не проехали?» — «Никак нет, там уже неприятель». — «Вы его сами видели?» — «Так точно, сам». Он повернулся к своим ординарцам: «Пальба из всех орудий по местечку». Я поехал дальше.

Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем — с донесением всегда посылают двоих — и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал быстро спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников — нас преследовали; они поняли, что нас только двое.

В это время сбоку опять слышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака — двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней. «Что там у вас?» — спросил я бородача. «Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?» — «Восемь конных». Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. «Ну, поедем, что ли!» — вдруг словно нехотя сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно трянули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородач вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него.

Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится, — говорили они, — у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки.

Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.

К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки... и отшатнулись, услыша громовой голос толстого старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое, — кричал он, — мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!»

Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров. «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: «Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!» Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал. «Вы вольноопределяющийся?» — «Доброволец». — «Чем прежде занимались?» — «Был писателем». — «Настоящим?» — «Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги». — «Теперь пишете какие-нибудь записки?» — «Пищу». Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным: «Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились». Я искренно обещал ему это. «Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!» И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию.

Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.

Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу; и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать.

Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил его узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии, холмы, из-за которых можно было неожиданно показаться, и овраги, по которым легко было уходить.

Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел — это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того, чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался прямо на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка — никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеженарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала наша неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.

Дивное зрелище — наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динозавров и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призывали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы.

Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах.

Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы до халупы все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю халупу, где собирались раненые. Их было человек десять. Они были заняты работой. Раненные в руку притаскивали жерди, доски и веревки, раненные в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец, с горлом, проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и непрерывно курил сигарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками — говорить он не мог — показал, что хочет помочь их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две сигарки. Мы возвращались обратно немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдывалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прикончился.

Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем боя. Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться за халупами, которые уже начинали загораться.

Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробивались к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, скинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного героизма. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер, пулеметчик, схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на двадцать и крикнул: «Везите пулеметы обратно, или убью и вас и себя». Несколько немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкрикивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: «Вижу, пулеметы тащат. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же пулеметы, — и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев: — Ну, ну, иди, не задерживайся!»

Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь, — тайна следования сохраняется строго, — мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о паненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных теплушек. Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей, — главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко, — жадно запоминаешь слова еще не слышанного языка. Это — целый спорт, скорее других научиться болтать попольски, малороссийски или литовски.

Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями.

Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, а местами даже сами отступили. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником.

Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, — кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытаться судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне (только что произведенному в унтер-офицеры) с четырьмя солдатами было поручено осмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд, — жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой, — никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника. Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнать дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велел поддержать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движения повода.

Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных лошадей; потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе, он, очевидно, собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать по крайней мере. Пули засвистали над головой, зацелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли. Когда мы поднялись на холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее.

В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер, и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжении ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: «Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте посмотрите, так ли это, и, если понадобится, выставьте промежуточный пост». Я оставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила, так было темно и холодно. Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывавшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед нами в темноте послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. «Кто идет?» — крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас. Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываешься о дороге, скачешь по следам... Я уже почти настиг беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту; и он так же, как мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост, восемь полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма, и выставил промежуточный пост в лощине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это — счастливейший миг моей жизни. Но, увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли, — заблудший ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы, от горячего чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.

Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу возвращающимся постам. Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет — и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: «К пешему строю... выходи...» — и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и германцы поползли на нас. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там, то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно, наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличивалась, как разгорающийся огонь. Наши цепи пошли было в наступление, но их пришлось вернуть.

Тогда, словно богословы из «Вия», вступавшие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея. Торопливо рявкали орудия, шрапнель с визгом и ревом неслась над нашими головами и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного.

Наша пехота где-то наступала, и немцы перед нами отходили, выравнивая фронт. Иногда и мы на них напирали, чтобы ускорить очищение какого-нибудь важного для нас фольварка или деревни, но чаще приходилось просто отмечать, куда они отошли. Время было нетрудное и веселое. Каждый день разъезды, каждый вечер спокойный бивак — отступавшие немцы не осмеливались тревожить нас по ночам. Однажды даже тот разъезд, в котором я участвовал, собрался на свой риск и страх выбить немцев из одного фольварка. В военном совете приняли участие все унтер-офицеры. Разведка открыла удобные подступы. Какой-то старик, у которого немцы увели корову и даже стащили сапоги с ног, — он был теперь обут в рваные галоши, — брался провести нас болотом во фланг. Мы все обдумали, рассчитали, и это было бы образцовое сражение, если бы немцы не ушли после первого же выстрела. Очевидно, у них была не застава, а просто наблюдательный пост. Другой раз, проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые, или наш солдатик оказался героем, — неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло.

Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно. Он был один в деревне, когда туда зашел сильный неприятельский разъезд. Удирать было поздно. Он быстро расседлал свою лошадь, запрягал седло в солому, сам накинул на себя взятый у хозяина зипун, и вошедшие немцы застали его усердно молотящим в сарае хлеб. В его дворе был оставлен пост из трех человек. Казаку захотелось поближе посмотреть на германцев. Он вошел в халупу и нашел их играющими в карты. Он присоединился к играющим и за час выиграл около десяти рублей. Потом, когда пост сняли и разъезд ушел, он вернулся к своим. Я его спросил, как ему понравились германцы. «Да ничего, — сказал он, — только играют плохо, кричат, ругаются, все отжигить думают. Когда я выиграл, хотели меня бить, да я не дался». Как это он не дался — мне не пришлось узнать: мы оба торопились.

Последний разъезд был особенно богат приключениями. Мы долго ехали лесом, поворачивая с тропинки на тропинку, объехали большое озеро и совсем не были уверены, что у нас в тылу не осталось какой-нибудь неприятельской заставы. Лес кончился кустарниками, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы или нет, — вот вопрос. Понемногу мы стали выдвигаться из кустов — все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился к нам, крича: «Германи, германи, их много... бегите!» И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что мы окружены, и обнажили шашки, чтобы, как только подъедут дозорные, пробиваться в конном строю. Но, к счастью, мы скоро догадались, что в тылу никого нет — это просто рвутся разрывные пули, ударяясь в стволы деревьев. Дозорные справа уже вернулись. Они задержались, потому что хотели подобрать предупредившего нас жителя, но увидели, что он убит — прострелен тремя пулями в голову и в спину. Наконец прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отрапортовал офицеру: «Ваше сиятельство, германец наступает слева... и я ранен». На его бедре виднелась кровь. «Можешь сидеть в седле?» — спросил офицер. «Так точно, пока могу!» — «А где же другой дозорный?» — «Не могу знать, кажется, он упал». Офицер повернулся ко мне: «Гумилев, поезжайте посмотрите, что с ним?» Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы.

Собственно говоря, я подвергался не большей опасности, чем оставаясь на месте: лес был густой, немцы стреляли не видя нас, и пули летели всюду; самое большее я мог наскочить на их передовых. Все это я знал, но ехать все-таки было очень неприятно. Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный разрывной пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним — частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на корточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади.

«Что ты здесь делаешь?» — «Лошадь убили... седло снимаю». — «Скорей иди, такой-сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается». — «Сейчас, сейчас, я вот только белье достану. — Он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток. — Вот, подержите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, немец близко». Мы поскакали, провожаемые пулями, и он все время вздыхал у меня за спиной: «Эх, чай позабыл! Эх, жалость, хлеб остался!»

Обратно доехали без приключений. Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия. Но мы все часто вспоминали убитого за нас поляка и, когда заняли эту местность, поставили на месте его смерти большой деревянный крест.

Поздно ночью или рано утром — во всяком случае, было еще совсем темно — в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге. Первым моим движением было натянуть сапоги, вторым — пристегнуть шашку и надеть фуражку. Мой арихмед — в кавалерии вестовых называют арихмедами, очевидно испорченное риткнехт, — уже седлал наших коней. Я вышел на двор и прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни неперемного спутника ночных тревог — стука пулемета, ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С. и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я проделал несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело.

Но, увы, преследование вышло не совсем таким, как я думал. Едва мы вышли на шоссе, нас остановили и заставили ждать час — еще не собрались полки, действовавшие совместно с нами. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Как мы сердились, что она нам загораживает дорогу. Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план — вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже высшее начальство. Но тогда мы этого не знали и продвигались медленно, негодуя на самих себя за эту медленность.

От передовых разъездов к нам приводили пленных. Были они хмурые, видимо потрясенные своим отступлением. Кажется, они думали, что идут прямо на Петроград. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струнку.

В одной халупе, около которой мы стояли, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в двадцатый раз, рассказывал про немцев: один и тот же немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении и при отступлении. Первый раз он все время бахвалился победой и повторял: «Русс капут, русс капут!» Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на его вопрос: «Ну что же, русс капут?» — ответил с чисто немецкой добросовестностью: «Не, не, не! Не капут!»

Уже поздно вечером мы свернули с шоссе, чтобы ехать на бивак в назначенный нам район. Вперед, как всегда, отправились квартирьеры. Как мы мечтали о биваке! Еще днем мы узнали, что жители сумели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг впереди послышалась стрельба. Что такое? Это не по аэроплану, — аэропланы ночью не летают, это, очевидно, неприятель. Мы осторожно въехали в назначенную нам деревню, а прежде въезжали с песнями, спешили, и вдруг из темноты к нам бросилась какая-то фигура в невероятно грязных лохмотьях. В ней мы узнали одного из наших квартирьеров. Ему дали хлебнуть мадеры, и он, немного успокоившись, сообщил нам следующее: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, выскакивали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, ворота были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых, кое-кто уже попадал, оставили лошадей и побежали в сад. Рассказчик наткнулся на каменную стену в сажень вышиной, с верхушкой, усыпанной битым стеклом. Когда он почти влез на нее, его за ногу ухватил немец. Свободной ногой, обутой в тяжелый сапог, да со шпорой вдобавок, он ударил врага прямо в лицо, тот упал, как сноп. Соскочив на ту сторону, ободранный, расшибшийся улан потерял направление и побежал прямо перед собой. Он был в самом центре неприятельского расположения. Мимо него проезжала кавалерия, пехота устраивалась на ночь. Его спасла только темнота и обычное во время отступления замешательство, следствие нашего ловкого маневра, о котором я писал выше. Он был, по его собственному признанию, как пьяный и понял свое положение, только когда, подойдя к костру, увидел около него человек двадцать немцев. Один из них даже обратился к нему с каким-то вопросом. Тогда он повернулся, пошел в обратном направлении и, таким образом, наткнулся на нас.

Выслушав этот рассказ, мы призадумались. О сне не могло быть и речи, да к тому же лучшая часть нашего бивака была занята немцами. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за нами тоже на бивак въехала наша артиллерия, Гнать ее назад, в поле, мы не могли, да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о судьбе своей дамы, как кавалерист о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием. То, что он может каждую минуту ускакать, заставляет его оставаться на своем посту до конца.

У нас оставалась слабая надежда, что в имение перед нами был только небольшой немецкий разъезд. Мы спешили и пошли на него цепью. Но нас встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда мы залегли перед деревней, что-бы не пропускать хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию.

Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули — самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех, двое, очевидно, попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит. Был он красивый, стройный, отличный наездник. Его револьвер валялся около него, а на теле, кроме огнестрельной, было несколько штыковых ран. Видно было, что он долго защищался, пока не был приколот. Мир праху твоему, милый товарищ! Все из нас, кто мог, пришли на твои похороны!

В этот день наш эскадрон был головным эскадроном колонны и наш взвод — передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы.

Наш путь лежал через имение, где накануне обстреляли наших квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегаящими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы, офицер горячился и напирал на него своим конем. Наш командир разрешил вопрос, сказав допрашивающему: «Ну его к черту, — в штабе разберут. Поедем дальше!»

Дальше мы осмотрели лес, в нем никого не оказалось, поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке напротив неприятель. Фольварков в конном строю атаковать не приходится: перестреляют; мы спешили и только что хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше нас подоспевшим гусарским разъездом. Наше вмешательство было бы нетактичным, нам оставалось лишь наблюдать за боем и жалеть, что мы опоздали.

Бой длился недолго. Гусары бойко делали перебежку и уже вошли в фольварк. Часть немцев сдалась, часть бежала, их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел нас и взмолился к нашему офицеру: «Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть». Офицер согласился. «И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил», — просил гусар. Ему обещали, и это потому, что в мелких кавалерийских стычках сохраняется средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит его победителю.

Вскоре нам привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в этом фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих пруссаков, действительной службы вдобавок, а забирающих было не больше двадцати.

Когда путь был расчищен, мы двинулись дальше. В ближайшей деревне нас встретили старообрядцы, колонисты. Мы были первыми русскими, которых они увидели после полуторамесячного германского плена. Старики пытались целовать наши руки, женщины выносили крынки молока, яйца, хлеб и с негодованием отказывались от денег, белобрысые ребятишки глазели на нас с таким интересом, с каким вряд ли глазели на немцев. И приятнее всего было то, что все говорили на чисто русском языке, какого мы давно не слышали.

Мы спросили, давно ли были немцы. Оказалось, что всего полчаса тому назад ушел немецкий обоз и его можно было бы догнать. Но едва мы решили сделать это, как к нам подскакал посланный от нашей колонны с приказанием остановиться. Мы стали упрашивать офицера притвориться, что он не слышал этого приказа, но в это время примчался второй посланный, чтобы подтвердить категорическое приказание ни в каком случае не двигаться дальше.

Пришлось покориться. Мы нарубили сашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Скоро к нам подтянулась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около девятисот человек. И вдруг над этим сборищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, вдруг раздался характерный вой шрапнели, и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди нас. Послышалась команда: «По коням! Садись», и как осенью стая дроздов вдруг срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щелбеча, так помчались и мы, больше всего боясь оторваться от своей части. А шрапнель все неслась и неслась. На наше счастье, почти ни один снаряд не разорвался (и немецкие заводы подчас работают скверно), но они летели так низко, что прямотаки прорезывали наши ряды. Несколько минут мы скакали через довольно большое озеро, лед трещал и расходился звездами, и я думаю, у всех была лишь одна молитва, чтобы он не подломился.

Когда мы проскакали озеро, стрельба стихла. Мы построили взводы и вернулись обратно. Там нас ожидал эскадрон, которому было поручено стеречь пленных. Оказывается, он так и не двинулся с места, боясь, что пленные разбегутся, и справедливо рассчитав, что стрелять будут по большей массе скорее, чем по меньшей. Мы стали считать потери — их не оказалось. Был убит только один пленный и легко поранена лошадь.

Однако нам приходилось призадуматься. Ведь нас обстреливали с фланга. А если у нас с фланга оказалась неприятельская артиллерия, то, значит, мешок, в который мы попали, был очень глубок. У нас был шанс, что немцы не сумеют использовать его, потому что им надо отступать под давлением пехоты. Во всяком случае, надо было узнать, есть ли для нас отход, и если да, то закрепить его за собой. Для этого были посланы разъезды, с одним из них поехал и я.

Ночь была темная, и дорога лишь смутно белела в чаще леса. Кругом было беспокойно. Шарахались лошади без всадников, далеко была слышна перестрелка, в кустах кто-то стонал, но нам было не до того, чтобы его подбирать. Неприятная вещь — ночная разведка в лесу. Так и кажется, что из-за каждого дерева на тебя направлен и сейчас ударит широкий штык.

Совсем неожиданно и сразу разрушив тревожность ожидания, послышался окрик: «Wer ist da?» — и раздалось несколько выстрелов. Моя винтовка была у меня в руках, я выстрелил не целясь, все равно ничего не было видно, то же сделали мои товарищи. Потом мы повернули и отскакали сажен двадцать назад.

«Все ли тут?» — спросил я. Послышались голоса: «Я тут»; «Я тоже тут, остальные не знаю». Я сделал переключку, — оказались все. Тогда мы стали обдумывать, что нам делать. Правда, нас обстреляли, но это легко могла оказаться не застава, а просто партия отсталых пехотинцев, которые теперь уже бегут сломя голову, спасаясь от нас. В этом предположении меня укрепляло еще то, что я слышал треск сучьев по лесу: посты не стали бы так шуметь. Мы повернули и поехали по старому направлению. На том месте, где у нас была перестрелка, моя лошадь начала храпеть и жаться в сторону от дороги. Я соскочил и, пройдя несколько шагов, наткнулся на лежащее тело. Блеснув электрическим фонариком, я заметил расщепленную пулей каску под залитым кровью лицом, а дальше — синевато-серую шинель. Все было тихо. Мы оказались правы в своем предположении.

Мы проехали еще верст пять, как нам было указано, и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Тогда нас поставили на бивак, но какой это был бивак! Лошадей не расседывали, отпустили только подпруги, люди спали в шинелях и сапогах. А наутро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.

Глава X

Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из леса пехоту, которой мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные серые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой.

Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступающих рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге — след немецкой пики — он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек восемь. Мы быстро установили положение противника, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны, а потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае.

Но едва мы выехали из леска, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешили, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника — в бинокль я разглядел большие светлые усы. «Вот он, вот он, черт с рогом», — шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении.

Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам предоставил

поступать с немцами по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: «Взвод, пли!» В тот же миг немец скрылся, очевидно упал за бугор. Больше никто не показывался. Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут уже без всякой команды поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно. Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку.

И действительно, они повернули и врассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем и, когда они поднимались на возвышенности, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал.

Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаху ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды.

По дороге мы увидели наших пехотинцев, угрюмо выходящих из лесу и собирающихся кучками. «Что, земляки, отходите?» — спросил их я. «Приказывают, а нам что? Хоть бы и не отходить... что мы позади потеряли», — недовольно заворчали они. Но бородастый унтер рассудительно заявил: «Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет». В это время с нашей стороны показалась еще одна рота. «Братцы, к нам резерв подходит, продержимся еще немного!» — крикнул пехотный офицер. «И то», — по-прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные.

В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы.

Немного дальше мы встретили окруженного своим штабом командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздыхались: «Седой какой, в дедушки нам годится. Нам, молодым, война так, заместо игры, а вот старым плохо».

Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собраться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму.

Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге.

Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой и он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: «К коням... садись». Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна.

Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами: «Тревога! Сейчас выезжаем». Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса.

Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле

шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпаемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целые десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,

Как огонь, он разрывает тьму,

Тело, ничего не понимая,

Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня.

Часов в десять утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позиции, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки и, так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню, должно быть, что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. «Ага, артиллерийский обстрел», — подумал я, и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновение сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли.

Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, не заметившие, очевидно, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик: «Halt!» Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я побежал к нему и попросил подвезти меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади, она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами, но зато какая радость была сознавать, что я уже не несчастный заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно, и всей русской армии.

Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за двадцать на бивак. Наша пехота зашла наступавшим немцам во фланг, и чем дальше они продвинулись бы, тем хуже было бы для них. Бивак был отличный, халупы просторные, и первый раз за много дней мы увидели свою кухню и поели горячего супа.

Глава XI

Как-то утром вахмистр сказал мне.

...«Поручик Ч. едет в дальний разъезд, проситесь с ним».

Я послушался, получил согласие и через полчаса уже скакал по дороге рядом с офицером.

Тот на мой вопрос сообщил мне, что разъезд действительно дальний, но что, по всей вероятности, мы скоро наткнемся на немецкую заставу и принуждены будем остановиться. Так и случилось. Проехав верст пять, головные дозоры заметили немецкие каски и, подкравшись пешком, насчитали человек тридцать.

Сейчас же позади нас была деревня, довольно благоустроенная, даже с жителями. Мы вернулись в нее, оставив наблюдение, вошли в крайнюю халупу и, конечно, поставили вариться традиционную во всех разъездах курицу. Это обыкновенно берет часа два, а я был в боевом настроении. Поэтому я попросил у офицера пять человек, чтобы попробовать пробраться в тыл немецкой заставе, пугнуть ее, может быть, захватить пленных.

Предприятие было небезопасное, потому что если я оказывался в тылу у немцев, то другие немцы оказывались в тылу у меня <...> Но предприятием заинтересовались два молодые жителя, и они обещали кружной дорогой подвести нас к самым немцам.

Мы все обдумали и поехали сперва задворками, потом низиной по грязному талому снегу. Жители шагали рядом с нами <...> Мы проехали ряд пустых окопов, великолепных, глубоких, выложенных мешками с песком.

...В одиноком фольварке старик все звал нас есть яичницу, он выселялся и ликвидировал свое хозяйство и на вопрос о немцах отвечал, что за озером с версту расстояния стоит очень много, очевидно несколько эскадронов, кавалерии.

Дальше мы увидели проволочное ограждение, одним концом упершееся в озеро, а другим уходящее <...> Я оставил человека у проезда через проволочное ограждение, приказал ему стрелять в случае тревоги, с остальными отправился дальше.

Тяжело было ехать, оставляя за собой такую преграду с одним только проездом, который так легко было загородить рогатками. Это мог сделать любой немецкий разъезд, а они крутились поблизости, это говорили и жители, видевшие их полчаса тому назад. Но нам слишком хотелось обстрелять немецкую заставу.

Вот мы въехали в лес, мы знали, что он неширок и что сейчас за ним немцы. Они нас не ждут с этой стороны, наше появление произведет панику. Мы уже сняли винтовки, и вдруг в полной тишине раздался отдаленный звук выстрела. Громовой залп испугал бы нас менее. Мы <...> переглянулись. «Это у проволоки», — сказал кто-то, мы догадались и без него. «Ну, братцы, залп по лесу и айда назад... авось поспеем!» — сказал я. Мы дали залп и повернули копей.

Вот это была скачка. Деревья и кусты проносились перед нами, комья снега так и летели из-под копыт, баба с ведром в руке у речки глядела на нас с разинутым от удивления ртом. Если бы мы нашли проезд задвинутым, мы бы погибли. Немецкая кавалерия переловила бы нас в полдня. Вот и проволочное ограждение — мы увидели его с холма. Проезд открыт, но наш улан уже на той стороне и стреляет куда-то влево. Мы взглянули туда и сразу пришпорили коней. Наперерез нам скакало десятка два немцев. От проволоки они были на том же расстоянии, что и мы. Они поняли, в чем наше спасение, и решили преградить нам путь.

«Пики к бою, шашки вон!» — скомандовал я, и мы продолжали нестись. Немцы орали и вертели пики над головой. Улан, бывший на той стороне, подцепил рогатку, чтобы загородить проезд, едва мы проскачем. И мы действительно проскакали. Я слышал тяжелый храп и стук копыт передовой немецкой лошади, видел всклокоченную бороду и грозно поднятую пику ее всадника. Опоздай я на пять секунд, мы бы сшиблись. Но я проскочил за проволоку, а он с размаху промчался мимо.

Рогатка, брошенная нашим уланом, легла криво, но немцы все же не решились выскочить за проволочное ограждение и стали спешиваться, чтобы открыть по нам стрельбу. Мы, разумеется, не стали их ждать и низиной вернулись обратно. Курица уже сварилась и была очень вкусна.

К вечеру к нам подъехал ротмистр со всем эскадронам. Наш наблюдательный разъезд развертывался в сторожевое охранение, и мы, как проработавшие весь день, остались на главной заставе.

Ночь прошла спокойно. Наутро запел телефон, и нам сообщили из штаба, что с наблюдательного пункта замечен немецкий разъезд, направляющийся в нашу сторону. Стоило посмотреть на наши лица, когда телефонист сообщил нам об этом. На них не дрогнул ни один мускул. Наконец ротмистр заметил: «Следовало бы еще чаю скипятить». И только тогда мы рассмеялись, поняв всю неестественность нашего равнодушия.

Однако немецкий разъезд давал себя знать. Мы услышали частую перестрелку слева, и от одного из постов приехал улан с донесением, что им пришлось отойти. «Пусть попробуют вернуться на старое место, — приказал ротмистр, — если не удастся, я пришлю подкрепление». Стрельба усилилась, и через час-другой посланный сообщил, что немцы отбиты и пост вернулся. «Ну и слава Богу, не к чему было и поднимать такую бучу!» — последовала резолюция.

Во многих разъездах я участвовал, но не припомню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К., в один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное ограждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюхо в снегу, проваливаясь в ямы, натываясь на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы. Мы проехали таким образом верст двадцать.

Под конец остановились. Взвод остался в деревне; вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было выслано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. Шагах в восьмистах остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепилась, не стреляли, видимо надеясь, что мы подъедем ближе. Тогда я решился на последний опыт — симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернулись и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли.

Другому разъезду менее повезло. Он наткнулся на засаду, и у него убили лошадь. Потеря небольшая, но не тогда, когда находишься за двадцать верст от полка. Обратно мы ехали шагом, чтобы за нами мог поспеть пеший.

Метель улеглась, и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком, задремал и стал мерзнуть, а потом и замерзать. Было такое ощущение, что я голый сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал <...>

А мы еще не сразу нашли свой бивак и с час стояли, коченея, перед халупами, где другие уланы распивали горячий чай, — нам было видно это в окна.

С этой ночи начались мои злоключения. Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смирить температуру. Термометр показал 38,7.

Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: «Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!» Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него.

Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивуак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда.

Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлечения брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу.

Весь следующий день я употребил на скитанья по штабам: сперва — дивизии, потом бригады и, наконец, — полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на лечение в Петроград.

Целый месяц после этого мне пришлось пролежать в постели.

Глава XII

Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое шестого июля 1915 г. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем.

Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как нам надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию.

Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма — полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходилось скакать и наткаться на обвисшие ветви и стволы, пока наконец не наскочишь на круп передних коней. Не один глаз был подбит и не одно лицо расцарапано в кровь.

На поляне — мы только ощупью определили, что это поляна, — мы спешили. Здесь должны были остаться коноводы, остальные — идти в окоп. Пошли, но как? Вытянувшись гуськом и крепко сцепившись друг другу в плечи. Иногда кто-нибудь, наткнувшись на пень или провалившись в канаву, отрывался, тогда задние ожесточенно толкали его вперед, и он бежал и окликал передних, беспомощно хватая руками мрак. Мы шли болотом и ругали за это проводника, но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото. Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить.

Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос: «А вот сами увидите, стреляет немец, должно быть, утром в атаку пойдет». «Типун тебе на язык, — подумали мы, — в такую погоду да еще атака!»

Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюденье, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили: неприятель делает перебежку и окапывается, открыт частый огонь.

Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил снова и увидел новый взмах лопаты. Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались.

Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было полтора эскадрона, то есть человек восемьдесят, австрийцев раз в пять больше. Неизвестно, могли бы мы удержаться в случае атаки.

Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и наконец заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. «Ура! — крикнул я, — это наша артиллерия кроет по их окопам».

В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. «Ничего подобного, — сказал он, — это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!»

Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была минута или две, а надо было предупредить об отходе

всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: «К коням... живо! Нас обходят!» Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща под мышкой лопаты и шашки, которые они было сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил не целясь и со всех ног бросился догонять моих товарищей.

Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя. Дальше был бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес. Там можно было бы и отстреливаться, и продолжать отход, судя по обстоятельствам. Теперь же, ввиду поминутно стреляющего врага, оставалось только бежать, и притом как можно скорее.

Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать и под градом пуль и снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь. Особенно страшно было видеть ротмистра, который каждую минуту привычным жестом снимал пенсне и аккуратно протирал сыреющие стекла совсем мокрым носовым платком.

За сараем я заметил корчившегося на земле улана. «Ты ранен?» — спросил я его. «Болен... живот схватило!» — простонал он в ответ.

«Вот еще, нашел время болеть! — начальническим тоном закричал я. — Беги скорей, тебя австрийцы проколют!» Он сорвался с места и побежал; после очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере.

Вскоре на бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага.

Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: «Уланы, братцы, помогите!» Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды да офицер. «Возьмите кто-нибудь пулемет», — приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шаг.

Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за ляжку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать — раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. «Ничего на этот раз, везем дальше... что задерживаться?» — радостно объявил мне пулеметчик, — и мы продолжали свой путь.

Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены ноги и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили нескольких несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спастись. Нам всем было его жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется.

Глава XIII

Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь; один из коноводов даже был ранен, но мы все вздохнули свободно, минут десять пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней.

Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступающему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал оборачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку — не пропадать же, денег стоит — и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил: «Вот, георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб». Действительно, австриец был украшен каким-то крестом.

Только подойдя к деревне З., мы выпугались из австрийского леска и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что

неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища, перед ржаным полем, пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на две тысячи шагов и постепенно опуская, но наши разъезды, видевшие австрийцев, выходящих из лесу, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать.

Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки впятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторявшаяся команда: «Опустить прицел на сто!» Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель.

Оборачиваясь, я позади себя сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это был кустарник, но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец один дальнотзорный крикнул: «Это наша пехота идет!» — и даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули.

Вскоре сомненьям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких коренастых бородачей, и мы услышали ободряющие слова: «Что, братики, или туго пришлось? Ничего, сейчас все устроим!» Они бежали мерным шагом (так пробежали десять верст) и нисколько не запыхались, на бегу свертывали сигарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью.

Вот уж они скрылись во ржи, и я услышал чей-то звонкий голос, кричавший: «Мирон, ты фланг-то загибай австрийцам!» — «Ладно, загнем», — был ответ. И сейчас же грянула пальба пятисот винтовок. Они увидели врага.

Мы послали за коноводами и собрались уходить, но я был назначен быть для связи с пехотой. Когда я приближался к их цепи, я услышал громовое «ура». Но оно как-то сразу оборвалось, и раздались отдельные крики: «Лови, держи! Ай, уйдет!» — совсем как при уличном скандале. Неведомый мне Мирон оказался на высоте положения. Половина нашей пехоты под прикрытием огня остальных зашла австрийцам во фланг и отрезала полтора их батальона. Те сотнями бросали оружие и покорно шли в указанное им место, к группе старых дубов. Всего в этот вечер было захвачено восемьсот человек и кроме того возвращены утерянные вначале позиции.

Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. «Спасибо, братцы, — говорили мы, — без вас бы нам была крышка!» — «Не на чем, — отвечали они, — как вы до нас-то держались? Ишь ведь их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы». Мы согласились, что это действительно было счастье.

Глава XIV

В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов. Иногда случалось, что после дня ожесточенного боя отступали обе стороны и кавалерии потом приходилось восстанавливать связь с неприятелем.

Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый и благоуханный вечер, когда мы поседлали по тревоге и крупной рысью, порой галопом, помчались неизвестно куда, мимо полей, засеянных клевером, мимо хмелевых беседок и затихающих ульев, сквозь редкий сосновый лес, сквозь дикое кочковатое болото. Бог знает, как разнесся слух, что мы должны идти в атаку. Впереди слышался шум боя. Мы спрашивали встречных пехотинцев, кто наступает, немцы или мы, но их ответы заглушались стуком копыт и бряцаньем оружия.

Мы спешили в перелеске, где уже рвались немецкие снаряды. Теперь мы знали, что нас прислали прикрывать отход нашей пехоты. Целые роты в полном порядке выходили из лесу, чтобы построиться на поляне позади нас. Офицеры старательно выкрикивали: «В ногу, в ногу!» Ждали командира дивизии, и все подтянулись, лихо заломили фуражки набекрень и даже выравнялись, совсем как на плацу.

В это время наш разъезд привез известие, что мимо нас, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в составе одной бригады. Нами овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча. Мы видели, как наш командир подъехал к начальнику дивизии, офицеры говорили, что надо, чтобы пехота поддержала нас ружейным и

пулеметным огнем. Однако из этих переговоров ничего не вышло. У начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас поддержать.

Пехота ушла, немцев не было. Темнело. Мы шагом поехали на бивак и по дороге поджигали скирды хлеба, чтобы не оставался врагу. Жалко было подносить огонь к этим золотым грудам, жалко было топтать конями хлеб на корню, он никак не хотел загораться, но так весело было скакать потом, когда по всему полю, докуда хватал взгляд, зашевелились, замахали красными рукавами высокие костры, словно ослепительные китайские драконы, и послышалось иератическое бормотанье раздуваемого ветром огня.

Весь конец этого лета для меня связан с воспоминаниями об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть: хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы! Однажды нас перебросили верст за тридцать на берег Буга. Там совсем не было наших войск, но не было и немцев, а они могли появиться каждую минуту.

Мы с восхищением обозревали еще не затронутую войной местность. Те из нас, что были прожорливее других, отправились поужинать у беженцев: гусей, поросят и вкусный домашний сыр; те, что были почистоплотнее, принялись купаться на отличной песчаной отмели. Последние прогадали. Им пришлось спасаться нагишом, таща в руках свою одежду, под выстрелами неожиданно показавшегося на той стороне немецкого разъезда.

На берег были высланы цепь стрелков и разъезд на случай, если понадобится переправляться. С лесистого пригорка нам отлично было видно деревню на том берегу реки. Перед ней уже кружили наши разъезды. Но вот оттуда послышалась частая стрельба, и всадники карьером понеслись назад через реку, так что вода поднялась белым клубом от напора лошадей. Тот край деревни был занят, нам следовало узнать, не свободен ли этот край.

Мы нашли брод, обозначенный вехами, и переехали реку, только чуть замочив подошвы сапог. Рассыпались цепью и медленно поехали вперед, осматривая каждую ложбину и сарай. Передо мной в тенистом парке возвышался великолепный помещичий дом с башнями, верандой, громадными венецианскими окнами. Я подъехал и из добросовестности, а еще больше из любопытства решил осмотреть его внутри.

Хорошо было в этом доме! На блестящем паркете залы я сделал тур вальса со стулом — меня никто не мог видеть, — в маленькой гостиной посидел на мягком кресле и погладил шкуру белого медведя, в кабинете оторвал уголок кисеи, закрывавший картину, какую-то Сусанну со старцами, старинной работы. На мгновение у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства; может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу.

Что бы тогда подумал об уланах вернувшийся хозяин? Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше.

Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот когда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин.

Глава XV

Ночь была тревожная, — все время выстрелы, порою треск пулемета. Часа в два меня вытащили из риги, где я спал зарывшись в снопы, и сказали, что пора идти в окоп. В нашей смене было двенадцать человек под командой подпрапорщика. Окоп был расположен на нижнем склоне холма, спускавшегося к реке. Он был неплохо сделан, но зато никакого отхода, бежать приходилось в гору по открытой местности. Весь вопрос заключался в том, в эту или следующую ночь немцы пойдут в атаку. Встретившийся нам ротмистр посоветовал не принимать штыкового боя, но про себя мы решили обратное. Все равно уйти не представлялось возможности.

Когда рассвело, мы уже сидели в окопе. От нас было прекрасно видно, как на том берегу немцы делали перебежку, но не наступали, а только окапывались. Мы стреляли, но довольно вяло, потому что они были очень далеко. Вдруг позади нас рывкнула пушка, — мы даже вздрогнули от неожиданности, — и снаряд, перелетев через наши головы, разорвался в самом неприятельском окопе. Немцы держались стойко. Только после десятого снаряда, пущенного с тою же меткостью, мы увидели серые фигуры, со всех ног бежавшие к ближайшему

лесу, и белые дымки шрапнелей над ними. Их было около сотни, но слысь едва ли человек двадцать.

За такими занятиями мы скоротали время до смены и уходили весело, рысью и по одному, потому что какой-то хитрый немец, очевидно отличный стрелок, забрался нам во фланг и, не видимый нами, стрелял, как только кто-нибудь выходил на открытое место. Одному прострелил накидку, другому поцарапал шею. «Ишь ловкий!» — без всякой злобы говорили о нем солдаты. А пожилой почтенный подпрапорщик на бегу приговаривал: «Ну и веселые немцы! Старичка и того расшевелили, бегать заставили».

На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты. Мы заняли каждый свое место и, в ожидании утренней атаки, задремали, кто стоя, кто присев на корточки.

Песок со стены окопа сыпался нам за ворот, ноги затекали, залетавшие время от времени к нам пули жужжали, как большие, опасные насекомые, а мы спали, спали слаще и крепче, чем на самых мягких постелях. И вещи вспоминались все такие милые — читанные в детстве книги, морские пляжи с гудящими раковинами, голубые гиацинты. Самые трогательные и счастливые часы, это — часы перед битвой.

Караульный пробежал по окопу, нарочно по ногам спящих, и, для верности толкая их прикладом, повторял: «Тревога, тревога». Через несколько мгновений, как бы для того, чтобы окончательно разбудить спящих, пронесся шепот: «Секреты бегут». Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы, мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участвующимся жужжаньем немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать, послышалась команда: «Не стрелять», — и мы поняли, что отбили первую атаку.

После первой минуты торжества мы призадумались, что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная, по силе нашего огня немцы определили, сколько нас, и вторая атака, конечно, будет решительная, они могут выставить пять человек против одного. Отхода нет, нам приказано держаться, что-то останется от эскадрона?

Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигурку в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже кишел людьми, как городская площадь в базарный день.

— Пехота? — спросил я.

— Пехота. Вас сменять, — ответило сразу два десятка голосов.

— А сколько вас?

— Дивизия.

Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот что ожидает немцев, сейчас пойдущих в атаку, чтобы раздавить единственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться и посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить.

Мы уже садились на коней, когда услышали частую немецкую пальбу, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание, и мы только многозначительно переглянулись.

Глава XVI

Корпус, к которому мы были прикомандированы, отходил. Наш полк отправили посмотреть, не хотят ли немцы перерезать дорогу, и если да, то помешать им в этом. Работа чисто кавалерийская.

Мы на рысях пришли в дереvушку, расположенную на единственной проходимой в той местности дороге, и остановились, потому что головной развезд обнаружил в лесу накаплиvающихся немцев. Наш эскадрон спешился и залег в канаве по обе стороны дороги.

Вот из черневшего вдали леса выехал несколько всадников в касках. Мы решили подпустить их совсем близко, но наш секрет, выдвинутый вперед, первый открыл по ним пальбу, свалил одного человека с конем, другие ускакали. Опять стало тихо и спокойно, как бывает только в теплые дни ранней осени.

Перед этим мы больше недели стояли в резерве, и неудивительно, что у нас играли косточки. Четыре унтер-офицера, — я в том числе, — выпросили у поручика разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг германцам и, если удастся, немного их пугнуть. Получили предостережение не утонуть в болоте и отправились.

С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву мы наконец, не замеченные немцами, добрались до перелеска, шагах в пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась низко выкошенная поляна. По нашим соображениям, в перелеске непременно должны были стоять немецкие посты, но мы положились на воинское счастье и, согнувшись, по одному быстро перебежали поляну.

Забравшись в самую чащу, передохнули и прислушались. Лес был полон неясных шорохов. Шумели листья, щебетали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки, стук копыта, роющего землю, звон шашки, человеческие голоса. Мы крались, как мальчишки, играющие в героев Майн Рида или Густава Эмара, друг за другом, на четвереньках, останавливаясь каждые десять шагов. Теперь мы были уже совсем в неприятельском расположении. Голоса слышались не только впереди, но и позади нас. Но мы еще никого не видели.

Не скрою, что мне было страшно тем страхом, который лишь с трудом побеждается волей. Хуже всего было то, что я никак не мог представить себе германцев в их естественном виде. Мне казалось, что они то, как карлики, выглядывают из-под кустов злыми крысиными глазками, то огромные, как колокольни, и страшные, как полинезийские боги, неслышно раздвигают верхи деревьев и следят за нами с недоброй усмешкой. А в последний миг крикнут: «А, а, а!» — как взрослые, пугающие детей. Я с надеждой взглядывал на свой штык, как на талисман против колдовства, и думал, что сперва всажу его в карлика ли, в великана, а потом пусть будет что будет.

Вдруг ползший передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой темной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно случайно отошедших от своих: один — в мягкой шапочке, другой — в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками.

Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ как будто только того и дожидался, сразу согнулся и, как кошка, бросился в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги.

«А теперь айда!» — шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты.

После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и если буду ранен, то мои товарищи, которые бежали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурая зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению свободен.

Когда мы вернулись к своим, оказалось, что мы были в отсутствии не более двух часов. Летние дни длинные, и мы, отдохнув и рассказав о своих приключениях, решили пойти снять седло с убитой немецкой лошади.

Она лежала на дороге перед самой опушкой. С нашей стороны к ней довольно близко подходили кусты. Таким образом, прикрытие было и у нас, и у неприятеля.

Едва высунувшись из кустов, мы увидели немца, нагнувшегося над трупом лошади. Он уже почти отцепил седло, за которым мы пришли. Мы дали по нему залп, и он, бросив все, поспешно скрылся в лесу. Оттуда тоже загремели выстрелы.

Мы залегли и принялись обстреливать опушку. Если бы немцы ушли оттуда, седло и все, что в кобурах при седле, дешевые сигары и коньяк, все было бы наше. Но немцы не уходили. Наоборот, они, очевидно, решили, что мы перешли в общее наступление, и стреляли без передышки. Мы пробовали зайти им во фланг, чтобы отвлечь их внимание от дороги, они послали туда резервы и продолжали палить. Я думаю, что, если бы они знали, что мы пришли только за седлом, они с радостью отдали бы нам его, чтобы не затевать такой истории. Наконец мы плюнули и ушли.

Однако наше мальчишество оказалось очень для нас выгодным. На рассвете следующего дня, когда можно было ждать атаки и когда весь полк ушел, оставив один наш взвод прикрывать общий отход, немцы не тронулись с места, может быть ожидая нашего нападения, и мы перед самым их носом беспрепятственно подожгли деревню, домов в восемьдесят по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоня перед собою отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым.

Глава XVII

На этот раз мы отступали недолго. Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы растрепали ружейным огнем не один зарвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались, а две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть ночью поодиночке выбраться из нашего кольца.

Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое.

Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. «Совсем как на войне», — пошутил я, думая, что это выехала на позицию наша батарея. А хохол, эскадронный забавник, — в каждой части есть свои забавники — бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами.

И в то же время в лесу затрещали винтовки и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал: «К коням!», но испуганные лошади уже металась по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я — в ложине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее, прежде чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаюсь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине.

Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: «В порядке, в порядке». Я подскакиваю и докладываю: «Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!» Он останавливается и отвечает: «Поезжайте найдите его».

Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденькой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах и он сел на первую ему предложенную.

Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши — потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, и снаряды летали и в нас.

Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей.

Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два улана, полгода тому назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии. Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и сорок дней шли с боем по Германии.

Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек двенадцать. Из глубоких рвов, заброшенных риг, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии — бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами. Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозными и патрулями.

У Немана на них наткнулся маршевый немецкий батальон и после ожесточенной перестрелки почти окружил их. Тогда они бросились в реку и переплыли ее, только потеряли восемь винтовок и очень этого стыдились. Все-таки, подходя к нашим позициям, опрокинули немецкую заставу, преграждавшую им путь, и пробились в полном составе.

Слушая, я все время внимательно смотрел на рассказчика. Он был высокий, стройный и сильный, с нежными и правильными чертами лица, с твердым взглядом и закрученными русыми усами. Говорил спокойно, без рисовки, пушкински ясным языком, с солдатской вежливостью отвечая на вопросы: «Так точно, никак нет». И я думал, как было бы дико видеть этого человека за плугом или у рычага заводской машины. Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать «в гражданстве северной державы», то они незаменимы «в ее воинственной судьбе», а поэт знал, что это — одно и то же.

Черный генерал

Правду сказать, отец его был купцом. Но никто не осмелился вспомнить об этом, когда, по возвращении из Кембриджа, он был принят самим вице-королем.

На артистических вечерах он появлялся в таких ярких одеждах, так мелодично декламировал отрывки из Махабхараты, так искренне ненавидел все европейское, что его успех в Англии был обеспечен и не одно рекомендательное письмо от престарелых лэди увез он, отправляясь во втором классе в Бомбей.

В родном княжестве, потрясенный его великолепными кожаными чемоданами, раджа предложил ему на выбор или место сборщика податей с проходивших караванов или чин генерала. Все думали, что он выберет первое, потому что караванов было много, солдат мало. Он выбрал последнее. Никто не знал, что старый американец, которому он объяснял радж-йогу, умер, оставив ему в завещании столько же, сколько своему лакею, то есть довольно много.

В день своего назначения генерал явился во дворец. Хитрец, он предвидел все, и в его великолепных чемоданах оказалась совсем готовая великолепная генеральская одежда. Весь город собрался смотреть на него. Старуха мать рыдала от гордости, когда он промчался мимо нее на специально привезенной мотоциклетке. А лучший художник города отдал целую рупию слугам раджи за право смотреть в замочную скважину. Он смотрел долго, терпеливо и умело, как губка воду впитывая впечатление от роскошного костюма генерала и от его непомерно чванного лица. А потом пошел раскачивающейся верблюжьей походкой, что означало у него творческую задумчивость.

Самые нежные, самые яркие краски горели в точеных, как лепестки лотоса, деревянных чашечках, самые тонкие кисточки летали по ним с такой же быстротой и легкостью, как пальцы девушки летают по клавишам Фортепиано. Возникла лакированная красная стена, возникало томительно-синее небо, и на фоне всего этого возникал непомерно чванный генерал. Как были белы его штаны, как богато золотое шитье мундира, как величественны перья на треугольной шляпе! Воистину такого генерала можно было видеть, как цветение лотоса, только раз в столетье.

Умиленная толпа собиралась за спиной художника. Слышался гул восторга, раздавались дерзновенные предположения. Верно, генерал сделает его начальником над своими слугами; позволит всю жизнь кормиться на кухне; даст мешок со ста рупиями. А захожий поэт, высокий и костлявый старик из Тибета, позавидовал чужой славе и сложил песню по строгим правилам тибетского стихосложения:

Раджа,

Генерал раджи,

Мундир генерала раджи,

Девушка, которая расстегнет мундир генерала раджи,

Любовь, которая овладеет девушкой, расстегнувшей

??мундир генерала раджи,

Сын, который родится от любви, овладевшей

??девушкой, расстегнувшей мундир генерала

??раджи,

Трон, который завоюет сын, родившийся от любви,

??овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир

??генерала раджи,

Слава, которая окружит трон, завоеванный сыном,

??родившимся от любви, овладевшей девушкой,

??расстегнувшей мундир генерала раджи.

Индия, которая будет спасена славой, окружившей

??трон, завоеванный сыном, родившимся от

??любви, овладевшей девушкой, расстегнувшей

??мундир генерала раджи.

Песня тотчас была переписана тремя писцами на большом листе пергамента. Плату они должны были получить от генерала.

Вот опять, по тихим улицам города, пугая обезьян и павлинов, зашумела, завоняла и промчалась мотоциклетка — генерал возвратился домой. — «Ванну!» — и дрессированный, служивший прежде у европейцев слуга из Бомбея с поклоном указал на большой резиновый таз с теплой водой, потому что генерал не был спортсменом и боялся холодной. Вот плавно опустился на спинку кресла мундир, расстегнутый на этот раз не девушкой, а самим генералом. Вот примеру мундира последовали белые штаны с золотым лампасом. Только одна треуголка медлила покинуть свое место, когда артисты вошли. Художник впереди, поэт позади, в руках у каждого его произведение. За ними толпа почитателей и любопытных, среди нее заинтересованные в деле писцы. Генерал ахнул, гаркнул и задрожал. Точь в точь так же ахнул, гаркнул и задрожал, по его воспоминаниям, русский генерал, которому в ресторане подали незамороженное шампанское. — «Эти черные... какая наглость!»

Художник уронил картину. Генерал стал топтать ее ногами. Тибетское стихотворение было разорвано в клочки. Толпа замерла. Генерал бесновался. Он прыгал по комнате, как освирепелая обезьяна, голый, в одной треуголке, он визжал как шакал, которому переломили лапу. О, это был действительно страшный генерал.

Слуга из Бомбея напер плечом на вошедших. Точь в точь так же, по его воспоминаниям, европейские слуги напирали на гостей,

неугодных их господам. Через минуту все кончено. Слуга вытирал пол, оттого что ванна опрокинулась, а генерал успокаивался, разбирая свои чемоданы. Вот с торжественной медленностью он навесил на стену свою увеличенную фотографию в генеральском мундире. Хитрец, он предвидел свое назначение и снялся еще в Лондоне. Вот с счастливой улыбкой он приколот под портретом вырезку из газеты, где его имя упоминалось в числе приглашенных на какой-то светский вечер. А слуга прятал индийский портрет, чтобы продать его за грош старьевщику из Калькутты.

В дальнем квартале писцы, не получившие платы, били тибетского поэта, а слуги раджи били художника, требовавшего назад свою рупию.

У восточной сказки должен быть нравоучительный конец. Попытаюсь посрамить злого генерала. Вот он приехал в Париж. Посетил двух кафэшантных певиц, трех депутатов-социалистов и решил ознакомиться с артистической жизнью Франции. Выслушал несколько колкостей от Анатоля Франса; купил рисунок Матисса; был побит в одном кафе Аполлинером; и добился разрешения посмотреть работы Гончаровой. Там он увидел свой индийский портрет, попавший через Калькутту, Лондон и черного гусара в руки этой художницы.

О, если бы он сконфузился, если бы испытал позднее раскаянье! Тогда бы моя сказка была подлинно восточной. Но нет, негодяй воскликнул: — «Мадам, неужели вы интересуетесь такой дрянью? Тогда я пришлю вам из Индии их хоть тысячу».

И соврал, не придет. Потому что из-за таких, как он, не стало больше в Индии художников.

Веселые братья

Неоконченная повесть

Глава первая

В Восточной России вообще, а в Пермской губернии в частности, бывают летние ночи, когда полная луна заставляет совсем особенно пахнуть горькие травы, когда не то лягушки, не то ночные птицы кричат слишком настойчиво и тревожно, а тени от деревьев шевелятся как умирающие великаны. Если же вдобавок шумит вода, сбегая по мельничному колесу, и за окном слышен внятный шепот двух возлюбленных, то уснуть уж никак невозможно. Так по крайней мере решил Николай Петрович Мезенцов, приехавший в этот глухой угол собирать народные сказки и песни, а еще более гонимый вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русским интеллигентам.

Он проснулся, застонав от отвращения, когда большой рыжий таракан, противно шелестя, пробежал по его лицу, и уже не мог заснуть, охваченный ночной тревогой. В шептавшихся под окном он узнал по голосу Машу, хозяйскую дочку, и Ваню, ее суженого, работавшего как приемный сын у ее отца. Покровительствуя их любви, не одну ленту подарил Мезенцов Маше и не одну книжку Ване и поэтому нашел, что он вправе послушать в час бессонницы их беседу. Да и какие тайны могла бы иметь эта милая пара, он — запевала старообрядческим.... [гимнам], розовый и кудрявый, как венециановский мальчик, она — спокойная и послушная, с вечно сияющими, как в праздник, глазами.

Одна только тень нависла над их любовью — в образе Мити, ловкого парня с красным насмешливым ртом и черными, жесткими как у грека или цыгана, волосами. Взялся он неизвестно откуда, попросился переночевать, целый вечер шушукался с Ваней, а потом и застрял. И стал Ваня после этой беседы сам не свой. Щеки его еще порозовели, глаза заблестели, а работать стал ленивее и с Машей ласкаться как будто оставил, с завалинки первый уходить начал. Спросили прищельца, какой он волости, да есть ли у него паспорт, а тот ответил, что человек он прохожий, а паспорт его — нож за голенищем. Урядник приезжал, он напоил урядника.

«Не человек, а одно огорченье», — говорил старый мельник, хозяин Мезенцова, и Мезенцов соглашался с ним, потому что Митя решительно не хотел обратить на него внимания, а на его подходы отвечал часто обидным, но всегда остроумным зубоскальством. Но Мезенцов еще слишком мало знал Россию, чтобы придавать значение этому прищельцу. Однако, первые же слова вод окном заставили его прислушаться. — Уходишь? — звучал тоскливо Машин голос. — Совсем уходишь? И не скажешь, куда? — Вот чудачка! Да как же я тебе скажу, если это тайна? — Знаю, Митька тебя сбил. — Что же что Митька, он не хуже людей. — Разбойник он, вот что! — Кабы все такие разбойники были, не ходил бы дьявол по всей земле, как нынче ходит. — Так что, он с дьяволом что ли борется?

— Слушай, ты меня не выпытывай. Так и быть, что могу, сам скажу. Большое дело затеялось, настоящее. По деревням Бога забыли, а по городам есть такие, что и совсем в Него не верят и других сбивают! Это я доподлинно знаю. Книжки пишут, что земля не в шесть дней сотворена и что Адама с Евой вовсе не было. Прежде, когда добрых людей больше было, так таких на кострах жгли да в темницах гноили, а теперь к ним не подступишься, ученые все, в генеральских чинах. И решили тогда добрые люди хитростью действовать да злых

с толку сбивать. Сатана ведь, хоть лукавый, а ума настоящего в нем нет, на каждый обман поддается. И как запугают его приверженцев, так и скажут — смотрите все, кого слушаетесь; ничего-то они не знают, как сосунцы. И посрамят Сатану, но уже навсегда.

— А ты-то с ними что будешь делать?

— И мне дело найдется. Песни вот я сочиняю, так эти песни Веселым Братьям пригодятся, Митя сказывал. Потом я в отеческих писаниях толк знаю, это тоже им нужно.

— Недоброе дело все это.

— Поздно уж там разбирать. Я порешил. Хочешь лучше, песенку тебе скажу, что сегодня о полудне составил?

— Хорошо! Только тише, барин тут спит, — понизила голос Маша, и Мезенцов почувствовал легкий укол совести.

Ваня начал звучным шепотом и нараспев, словно читая псалом.

— Ангел ты мой, — и по звуку голоса можно было догадаться, что Маша прижимается к своему возлюбленному. — Иди — куда хочешь, все что ты ни задумаешь делать, все хорошо будет, а я тебя стану ждать, как царевна в сказках. И дождусь, непременно дождусь, потому что с такой любовью как не дожждаться.

— Нет, не жди меня, Маша, не вернусь я к тебе, — прозвучал тихий ответ. — Да и на что я тебе, ты все равно с Митей гуляла.

— Что ты говоришь?

— Ну да, онамедни он сам мне сказывал, как с собой идти подбивал.

— Нет, нет, неправда это, — задыхалась Маша. — Сон мне приснился один только неправда это, нет.

— Соврал разве, — задумчиво произнес Ваня. — Так мне остаться, может?

— Слушай, я тебе правду скажу, я ни в чем неповинна. Долго ходил он около меня, улещивал, глазами яркими своими поглядывал. Но я пряталась от него, и никогда мне и в мысль не приходило недоброе. Только онамедни шью я у окошка, солнце уже за лесочком, никого нет. И только мне вдруг так стало, как будто?! увидала я, что другая Маша, совсем как я, идет по опушке в березняк. И та меня видит, как я у окошка сижу, и обе мы не знаем, какая же из нас настоящая. А из березняка Митя выглядывает и смеется: иди ко мне, красавица, все равно настоящая-то у окошка сидит. Как услышала я это, так и подошла. И ничего мне не страшно и не стыдно, потому что знаю, что я одна за работой, вижу, как игла движется. А той, что у окна сидит, слышно как в березняке целуются, какие слова там говорят. Сколько времени прошло так, не знаю. Проснулась, как лучину надо было зажигать, отец вернулся:

— А много ты наработала? — с надеждой спросил Ваня.

В ответ послышался тихий плач.

Митя не походил на человека, которому можно было возвращаться туда, где он раз побывал.

Через полчаса, с небольшим свертком в руках (зубная щетка, сотня папирос и томик Ницше), Мезенцов вышел из деревни гимнастическим шагом, который по теории не должен был утомлять. Однако уже после трех верст[4] [он остановился и, окликнув возницу проезжавшей телеги, попросил подвезти его. Три часа спустя он сошел на перекрестке и продолжал путь пешком, спрашивая у редких прохожих, не видели ли они двух парней, одного розовощекого и пригожего, другого смуглого и злого.

Уже стемнела, и Мезенцов подумывал о ночлеге, когда в ответ на его обычный вопрос сидевший у обочины дороги человек воскликнул: «Злого? Меня, может?» Это был Митя.

— Где Ваня? — спросил Мезенцов резко, не здороваясь со своим врагом.

— Это не ваше дело, — усмехнулся тот. — На что он вам?

— Я пришел сказать ему, что Маша умерла и что ты ее убийца.

Голос Мезенцова звучал угрожающе, и угроза возымела свое действие.

— Тсс! Тсс! — прошептал Митя, поспешно вставая и подходи к Мезенцову. — Не кричите так громко! Значит, она покончила с собой. Повесилась?

— В реку бросилась.

— Это все равно. Вы ни за что не должны говорить Ване. Я знаю его. Он уйдет в монахи и просидит там всю жизнь, осел добродетельный.

— И правильно сделает, — сказал Мезенцов. — Он столько же повинен в смерти этой девушки, как и ты.

— Я возьму на себя его долю греха. Мне не страшен ад.

— Но Ваня должен знать, — настаивал Мезенцов сердито, — хотя бы для того, чтобы сказать тебе что он о тебе думает.

— Как бы не так! — закричал Митя, и нож блеснул у него в руке. — Убирайтесь сейчас же по добру по здорову, а не то...

— Как, вы здесь, барин? — раздался Ванин тихий голос. — Приятно путешествовать, не правда ли? Погода такая чудесная. Митя присел покурить, а я собирал землянику, смотрите, какая она крупная и сладкая. Хотите отведать?

— Послушайте, Ваня... — начал Мезенцов. — Мне надо сказать вам что-то очень серьезное...

— Эй, Ваня, — перебил его Митя, — ты знаешь, барин-то решил идти с нами, повидать все интересное, познакомиться с нашими братьями и побывать в нашем чудном городе в горах. Но прежде мы должны поставить ему некоторые условия. Оставь нас на минутку, ты нам мешаешь. Погуляй еще маленько.

— Ладно, — отозвался ничего не подозревавший Ваня. — Но поспешите, время ужинать.

И он отошел в сторону, поедая землянику.

— Послушайте, барин, — начал Митя вкрадчивым голосом, — я вас не трону. Я не такой дурной, как вы думаете. Но не говорите Ване пока про Машу. Можете сказать ему завтра... позже... а тем временем я обещаю показать вам что-то, о чем вы, горожане, и не подозреваете. Мужики только с виду простые. Попробуйте увидеть их такими, какие они есть, и вовек уж не забудете. Вы увидите также город, которого нет на карте и который поважнее будет для мира, чем Москва. И хотя вы и недолюбливаете меня, я буду вам добрым другом.

Мезенцов слишком устал душевно, чтобы настаивать дальше. К тому же ему припомнился Митин нож, который ему вовсе не хотелось увидеть снова. Да и этнографическое любопытство его было задето: как же было упустить возможность небывалого приключения, которое может навсегда создать ему славу в четвертом отделении Академии Наук в Петрограде!

— Ладно, — сказал он резко, — я не буду говорить сегодня. Только не забывайте, Митя... — он замолчал, не зная как ему выразить свою угрозу.

Митя, казалось, был удовлетворен.

— Давайте тогда ужинать! — крикнул он. — У нас есть хлеб и лук. Чего еще нужно человеку?!

Глава вторая

Мезенцов, Митя и Ваня, идя по обочине большой дороги, приближались к селу Огрызкову. За последние дни Митя стал что-то очень любезен с Мезенцовым. Брал у него папиросы, на ночлегах учил как устраиваться, чтобы было теплее, и раз доверчиво положил ему голову на колени, прежде взглядом спросив, можно ли. И Мезенцов с досадой сознавал, что чувствует себя польщенным.

Был душный, слишком красный вечер, порывы несвежего ветра завивали столбики пыли — в народе есть преданье, что, если разрезать такой столбик косой или серпом, на лезвии останется капля крови.

Ваня срывал травинки и старательно разгрызал их в суставах, а в промежутках мурлыкал «Величит душа моя Господа». Митя озирался и козырьком прикладывал руку над глазами, хотя солнце было уже низко.

— Небо-то, небо какое! — вдруг выкрикнул он и потер ладони.

— А какое? — нехотя спросил уставший Мезенцов.

— Да насквозь промолненное, пожарами попаленное. Драконами все излетанное вдоль и поперек. Любили драконы в старину на Русь прилетать за девушками. Народец-то тогда был не ахти какой, только слава, что богатыри, а вот девушки, так те действительно. Теперь таких уж не бывает. Да и драконы были орлы: красная краска даже синим отливала, хвост лошадиный, а клюв стрижа. И такой им закон был положен: унесет девушку, а Каспий и услаждается яблочными китайскими грудями ее сахарными. А умрет девушка, и он должен в тот же час умереть. Вот ты и рассуди: девушек много, драконов мало. Так и повывелись.

— Пустяки все это, — сказал Ваня.

— Пустяки-то пустяки, да болтали старики, а это тебе не Ваня [два слова нрзб.] — ученый на манер Аристотеля, — огрызнулся Митя и тотчас радостно закричал: — А вот и Миша, выполз голубь, знать, придумывает что-то.

Навстречу путникам на окраине уже ясно видного села ковыляла какая-то фигура, похожая на медведя. «Калека», с удивлением подумал Мезенцов. Однако, когда они подошли ближе, он не заметил в ней никакого убожества. Миша волочил за собой то ту, то другую ногу, а иногда шел совсем плавно и ровно. Руки его то отвешивались, то подбирались. Веки его, казалось, прикрывали ужасные бельма, и странно было видеть вдруг открывающиеся хорошие серые глаза. Он шел как-то боком и, не дойдя нескольких шагов, остановился, застыдившись.

— Здравствуй, ясный, — сказал Митя, целуя его. — Ну, каковы дела?

— Дела ничего, что дела, — бормотал Миша, потирая щеку, которой коснулись Митины губы, и, наконец осмелев, поклонился Мезенцову и Ване. — Простите меня.

— Что ты, что ты, милый? — заторопился Митя. — Это свои,

И он продолжал, обратившись к товарищам

— Он боится, что вы осудите его, зачем ноги не так, зачем руки не так, а что судить-то, еще неизвестно, сами мы лучше ли. Ну, пойдем, голубь, веди нас к себе. И он обнял Мишину шею с одной из самых своих очаровательных повадок.

Изба, в которую они вошли, была большая и светлая, потому что два окна ее выходили на запад. На окнах ситцевые занавески, приятные по краскам и затейливые по рисунку. Несколько покрашенных киноварью и суриком лубков — «Взятие Плевны», «Страшный Суд» и «Бова-королевич» — озаряли тесовые стены. Но сразу бросалось в глаза нечто неестественное, как павлиний хвост у быка, как собака на верхушке дерева. Это были высокие липовые [?] нары в углу, сплошь заставленные ретортами, колбами, змеевиками, банками с притертой пробкой. Горела спиртовка, такая, на каких [нрзб.] подогревают кофе, а над ней в стеклянном стаканчике клокотала какая-то бурая дрянь. Недоеденная селедка лежала посреди кристаллов купороса. «Так вот во что превратились алхимики», со злорадной усмешкой подумал Мезенцов. «Ясно, этот Миша ищет философский камень». Митя с почтением приблизился к нарам.

— Кипит? — спросил он, потрогав пальцем спиртовку. — И не лопнет?

— Зачем лопнет? Не лопнет, — ворчал Миша.

— А когда будет готово?

— Да года через два. — И который это раз?

— Третий.

— Значит, всего шесть лет. — Чего шесть, и шестнадцать проработаем. Задача-то какая!

— Ну, ну, авось ничего! А как выйдет! Ведь всю машину с места сдвинем. Ну, ты работай, мы не мешаем. Вот переночуем только и утром айда. А где у вас тут по вечерам девки собираются? — неожиданно закончил Митя.

— Какие девки? Чего им собираться? Работать надо да спать. Вот! На мосту знамо, а то где еще.

— В конце улицы мост-то?

— Во, во.

— Ну, идем что ли, ребята, на часок, чтоб братану не мешать. Целый день шел, плясать захотелось.

Мезенцову очень хотелось остаться, чтобы на свободе поговорить с сермяжным алхимиком, но он чувствовал, что Митя этого не допустит, и решил пойти и после незаметно вернуться.

На мосту уже заливалась гармоника, похожая на голос охрипшего крикуна, и голоса в свою очередь очень напоминали гармонику. Посреди круга девок парень в прилипшей к телу потной рубашке танцевал вприсядку. Он по-рачьи выпячивал глаза и поводил усами, как человек, исполняющий трудное и ответственное дело. Зрители грызли семечки, и порою шелуха падала на танцора и прилипала к его спине и волосам. Он этого не замечал. Митя, подмигивая мужикам и щекоча девок, в одно мгновение, как он один умел это, протолкался сквозь толпу, толкнул плясавшего так, что тот покатился в толпу, и, пронзительно взвизгнув, пустился в пляс. Девушки захохотали, потом замолчали очарованные. А опрокинутый только что парень уже подходил, вызывающе засунув руки в карманы и поглядывая недобрый взглядом. Видно было, что он решил драться. Митя последний раз подпрыгнул, щелкнул каблуком и остановился как раз, чтобы встретить врага. Быстро взглянул он на рачьи глаза и оттопыренные усы и усмехнулся [?], сразу оценив положение.

— Покурим, что ли? — сказал он, деловито открывая коробку папирос.

Парень остановился, озадаченный.

— Спичек вот нет, — продолжал Митя, — да ладно, достанем.

— У меня есть спички, — начал Мезенцов, догадавшийся об его тактике.

— Давай! А ты папиросу-то поглубже в зубы возьми, это тебе не козья ножка! Повернись по ветру, вот тебе и огонь.

— Да ты постой, — бормотал сбитый с толку парень.

— Чего стоять! Я плясать хочу. А папироса хорошая, ты не думай. Вижу первый сорт.

— Простите меня, — услышал за своей спиной Мезенцов и, обернувшись, увидел Мишу.

Теперь он напоминал какого-то только что порабощенного лесного зверя: согнувшись, нелепый и с ключками волос на совсем молодом лице. Мезенцов вспомнил, что ему хотелось разгадать тайну лаборатории. Митя плясал вдохновенно, закрыв глаза, как поющий соловей. Ваня с блаженной улыбкой ловил каждое его движение. С этой стороны опасности не было.

Огородами, обжигаясь в крапиве и пачкаясь в навозе, Миша провел к себе гостя, запер дверь на засов и стыдливо встал в сторонке. По его повадке Мезенцов понял, что перед ним нерешительность, может быть даже измена, и решил идти напролом.

— Что это вы тут делаете? — спросил он, кивнув на лабораторию.

Миша молчал.

— Что это вы делаете? Философский камень?

— Чего-с?

— Философский камень. Золото делать из железа.

Миша задрожал.

— Спаси Бог. Разве я на такое пойду? Да я уже давно в Сибири гнил бы, если что. Разве мыслимо?

И он остановился от возмущения. Мезенцов понял, что ошибся.

— Слушайте, Миша, я вам не враг, будьте со мной откровенны. С Митей я только так, знаком, и дел его не касаюсь, да по правде сказать, не нравятся мне эти дела.

— Бесу они нравятся, вот кому, — простонал Миша.

— Ну вот, видите, я знаю, что вам задали работу, но какую, не знаю. А может быть, я бы вам помог.

Миша в затруднении задергал бровями, губами, носом, даже ушами, как показалось Мезенцову.

— Будьте милостивы, — по-бабьи заскулил он, — не оставьте. Я ведь вижу, что вы из господского звания, не то что какой мужик или крестьянин. Эх, кабы мне образования, городского там или университет, я бы себя показал. Потому к счету я сызмальства охоту имею. Еще ходить не научился, а считать начал. К примеру, в деревне нашей было семьдесят три души, так я и любопытствовал, сколько же народу в семидесяти трех деревнях. И находил, ей-богу. Порола меня мать, а все отучить не могла. Дальше, как книжки читать стал, и того больше. Сколько народу на земле должно быть, сосчитал, сколько его было во времена Господа нашего Иисуса Христа. Тогда уж я в церковно-приходскую начал ходить, да не доходил. К другим наукам пристрастия не имел, и мамке одной было трудно. Женить уж меня думали, когда это началось. Зашел к нам переночевать некий как бы странник, только не странник он был, а шантрапа, подивовался моему счету и на утро увез меня — куда сам не знаю. И откуда деньги взялись у мошенника, на паре в тарантасе. Я сроду так не ездил. Ехали мы ехали, и на чугунке и водой, и вот приехали в село между гор, богатое село, избы новешенькие, бабы румяные, дородные. Повели меня к старшине, старичок такой там есть, худенький да белый. Как увидел л его, так и обомлел. Потому каждый человек когда опечалится, когда разгневается. А этот, сразу видно, не печаловался и не гневался за всю евоную жизнь. Смотрю, как это он весело да как это он ласково, и мурашки по спине так и бегают. И чего боюсь, сам не знаю. Послушал это он мой счет, головенкой закачал, доволен, значит, и говорит: «Ты будешь у нас наибольшим, как разрешишь мою задачу, и будешь жить в тереме самом богатом, и жену возьмешь себе по нраву. А отдохнешь, другую задачу дадим, и тогда уж навсегда к нам, на покой». Только это он зря. Не желаю я жить у него, потому я серьезный и снести не могу, когда даром зубы скалят. А те три недели, что я у них прожил, все там ржали да пляс плясали словно в маскарад сатанинский. Там я и с Митькой впервые увидался. Дела своего ему не дадено, к ученью он не приспособлен, а так, значит, должен по матушке Рассее ходить, за тем, кто к какому делу приставлен, приглядывать, да новых улещать. Берегитесь его, барин милый, баловной он, и нож у него что бритва.

— Какую же вам дали задачу? — сгорая от нетерпения, спросил Мезенцов.

Миша сокрушенно вздохнул.

— К химии меня приставили, в химии счет нужен. Про господина Лавуазье изволили слышать? ученый такой, из французов. Так вот, он доказал и основательно, что из естества ничего не пропадает, ни единая, значит, пылиночка. Спичку сожжешь, так она дымком да пеплом становится, и если собрать этот дымок и пепел да сложить уменючи, то вся спичка как прежде будет без всякого изъяна. Хитро, не правда ли? Я вот тут проверял, выходит в точку. А они говорят: ты счет знаешь, докажи, что не так. Потому, говорят, если естество пропадает, то его как бы и нет, а это значит, что Бог есть. Окаянные, говорю я, да разве Бога химией докажешь? Сердцем Его чувствовать надо. Это ты так, говорят, рассуждаешь, а другие иначе. А нам и о других подумать надо, чтобы Бога помнили. Разве с ними сговоришь?

— А другая задача? — спросил Мезенцов.

— Еще того мудренее. Земля вокруг солнца вертится, а ты, говорят, счет знаешь, докажи, что наоборот. Коперник и Галилей, говорят, нам не указка, они в Бога не верили. И что я за Ирод такой им дался! Хорошие господа, ученые, может министры какие или князья, трудились, придумывали, а я, темный мужик, им яму должен рыть. Как я в глаза их светлые погляжу, ежели обнаружу что? Да я со стыда сгорю, как они скажут: «Ну, Михайло, спасибо тебе, удружил». А не работать нельзя. Заколют. Вот так и бьюсь шестой год.

— Ну и что же, нашли что-нибудь?

Миша помолчал, глядя в угол.

— Это как сказать, — нехотя промолвил он. — Найти-то можно. Да только я не стараюсь. Как начинает выходить, я либо скляночку опрокину, либо бумажку с цифрами в огонь уроню. Как будто и нечаянно, а дела, глядишь, нет. Тоже не без понятия. Одно только утешительно, что мучители мои не торопятся. Работай, Миша, хоть тридцать лет, а добейся своего. А мне цыганка нагадала, что умру до седого волоса.

В дверь постучали, но, когда оробевший Миша отодвинул засов, вошел один Ваня.

— Так и есть, вместе, — покровительственно произнес он. — Мне и то Митя наш сказывал, чтобы я не допустил вас до разговору. Да что я ему, шпион-соглядатай, что ли? Пусть сам смотрит, коли хочет, а то возится там с девками, как жеребец. Ты все-таки выйди, Николай Петрович, чтобы он не помыслил о чем. Ведь бедовый!

Мезенцов сознал справедливость предостережения и вышел. Закат уже отгорел, и только одна густо-багровая полоса висела над беловатым морем тумана. Мезенцову вспомнилась Стрелка, и вдруг безумно захотелось сесть в автомобиль и крикнуть шоферу: «На Спасскую!» Чего ему еще бродить: все равно удивительнее мужика, щадящего господина Лавуазье и всю европейскую науку, он не встретит. Но вот он услышал голос Мити, и острая неприязнь к этому человеку придала ему силы. Нет, он проберется за ним в его осиное гнездо и там громко расскажет о Машинной смерти. Интересно, как отнесется к этому веселый белый старичок?

Митя остановился за углом. Он был не один. Свежий девичий голос звучал умоляюще:

— Князь мой яхонтовый, останься еще хоть на денек, как я буду без тебя?

— Да так и будешь, как была.

— Да зачем же тогда ты плясал так, слова такие говорил?

— Пляс — дело молодое, а слова что птицы — вылетят, и нет их...

— Слушай, я еще ни с кем не гуляла... первый раз... Хочешь верь, хочешь нет. Пойдем сейчас на гумно, мать не хватится.

— Мне что придти [?]. И этого нам не надобно. Есть у меня на чужой стороне зазнобушка, да и не одна. Ищи, ворона, себе ворона и оставь меня, ясна сокола. Чего же ты расхныкалась? Разве мало парней на свете? Ну, иди, иди, тут мои товарищи.

Мезенцов кашлянул, и Митя показался из-за угла. Лицо его еще сияло оживлением пляски, и только изогнутые брови сдвинулись, образовав маленькую гневную морщинку, которая очень его красила. Увидев Мезенцова, он широко улыбнулся.

— А Николай Петрович, что же ты с Мишей не пошушукался?

Мезенцов не ответил, и они вместе вошли в дом.

Спать ложились прямо на полу, подложив под голову попону, армяк и еще какое-то тряпье. Миша оказался, как и подобает ученому, очень нераспорядительный хозяин. В одном углу горела лампадка, в другом спиртовка. Ваня уже начал дышать глубоко и ровно, когда Митя вдруг привстал и прислушался.

— Миша, а Миша, — зашептал он, — а урядник тебя не преследует?

— Не! Зачем так? Он сам химией занимается.

— Сам?

— Ну да, Настоит спирт на грибах или на березовых листьях и пьет. Это, говорит, грибовка или березовка. Я, говорит, химик первеющий и скоро получу награду от министерской академии, Хороший человек.

— Ну, с Богом, спи.

На утро, когда путники уже были готовы, Миша застенчиво протянул Мезенцову книгу в старом кожаном переплете.

— Вот мне книжку дали химии научиться, только в ней многого нет, до чего я сам дошел.

Мезенцов посмотрел: на титульном листе стояло — [5]

— И у вас не было никакой другой? — невольно воскликнул Мезенцов.

— Нет! Обещали прислать да все не присылают.

— Ну, идем, идем! — вмешался Митя.

— А книжка ничего, она хорошая, старая, старее-то лучше.

— Прощай, Миша, работай, голубь!

В Мамаево пришли поздно ночью. Этот тяжелый, словно налившийся нездоровым светом день совсем обессилил Мезенцова. С полдороги у него разболелась голова, одеревенели ноги, и сам он как-то опьянел от проглоченной пыли и горького запаха сохнувших трав. Митя тоже что-то присмирел и больше не привязывался и не ласкался. Только Ваня был по прежнему розов и ясен, как венециановский юноша. Казалось, ни солнце его не обжигает, ни пыль на него не садится.

Светила полная луна, но село было тихо, точно вымерло. Ни одного огонька в окнах, ни одного запоздалого прохожего. Даже собаки не лаяли почему-то. Только на крыльце одной избы тихонько плакал шелудивый ребенок, словно не решаясь войти в дверь. Он заплакал сильнее, когда Митя спросил, где его мамка. Однако, пройдя половину улицы, путники услышали странный шум, доносившийся с противоположного конца села. Казалась, работала какая-то паровая машина, мельница или молотилка, работала с переборами, визгом, ревом. Мало-помалу уже можно было различить топот наг и пронзительное бабье пенье. Навстречу пробежал мужичонка в рваном армяке. Шапку он держал в руках, и на лице его было написано отчаянье, смешанное с безграничным восторгом. «Гуляет... не дай Бог как гуляет», — пробормотал он и скрылся. Наконец в поле за деревней Мезенцов увидел огромный молотильный сарай, из которого и доносился весь шум. Перед дверью были в беспорядке навалены, очевидно поспешно выкинутые, земледельческие орудия и несколько снопов, а в щели лился яркий свет. Этот свет почти ослепил путников, когда они вошли. Внутри было по крайней мере человек триста. Мужики с покрасневшими от вина и духоты лицами жались по углам, принарядившиеся парни собирались кучками, а перед ними пели осипшими уже голосами бабы и девки в огненно-ярких кумачных платках. Пеньем управлял низенький, лысый человечек с лицом подрядчика и в поддевке из тонкого сукна.

А посредине комнаты, совершенно один перед накрытым столом, сидел мужчина лет тридцати пяти, бывший центром общего внимания, Мезенцову сразу бросились в глаза его бледное, слегка опухшее, мускулистое лицо, иссиня-черные волосы и усы и самоуверенный, почти дерзкий взгляд. Позднее он разглядел черную тужурку с форменными петлицами, выдававшую в их владельце инженера путей сообщения. На столе стояла наполовину пустая бутылка шампанского и большой золотой кубок из тех, которые назначаются призами или дарятся на товарищеских проводах.

— Кто это? — шепотом спросил Мезенцов у соседнего мужика, но не получил ответа, потому что все вдруг замолчали — это сидевший поднял руку и устремил взор на вошедших.

— Привет вам, гранды Испании! — загремел его голос. — Откуда и куда направляете вы стопы?

— Мы люди прохожие, — хмурясь, отвечал Митя: видно было, что приветствие ему не понравилось.

— Прохожие, иначе проходимцы. Ну, а знаете ли вы, кто я?

— Откуда нам знать?

— Павла Александровича Шемяку не знаете? — и сидевший оглянулся вокруг, как бы ища сочувствия своему негодованию. — Инженера путей сообщения? А Сольвычегодско-Мамаевскую железную дорогу кто вам построит? Кто изыскания третьего дня закончил — птица? Нет, извините, не птичка, а я. Все теперь у вас будет: и книги, чтоб девкам папилютки закручивать, и калоши [?], чтобы падэспань танцевать, граммофоны, вино, сардинки и сифилис. Приобщитесь к культуре, а мне уж позвольте погулять. Позволяете, да? Правда? Ну, благодарю вас!

Он вежливо поклонился и вдруг крикнул, обращаясь к подрядчику:

— Афанасий Семенович, а ну, мою любимую! Афанасий Семенович неистово взмахнул коротенькими ручками. Бабы и девки грянули хором, невыразимое презрение слышалось в каждой их интонации:

Если барин без сапог,

Значит, барин педагог.

«И... ах!» — рявкнули мужики.

Если барин брехать рад,

Значит, барин адвокат

— продолжали женщины уже с тайным сочувствием.

«И-ах!» — громче орали мужики.

Если барин всем пример,

Значит, барин инженер —

тянули женщины, и благоговейный восторг перед воспеваемым сделал на мгновение их осипшие голоса почти прекрасными [?]. «И... и... и...» залились мужики, приседая от напряжения, с выпученными как на хлыстовских раденьях глазами, Шемяка слушал, прищурясь и наклонив голову.

— Хорошо, — с чувством сказал он и залпом опорожнил кубок, который сейчас же снова был наполнен услужливым Афанасием Семеновичем из бутылки, стоявшей под столом.

Но Шемяка больше не стал пить. Он поймал движение путников, повернувшихся было к дверям, и остановил их вопросом:

— Куда это? Ты, розовый, иди сюда, выпей.

Сразу десятком услужливых рук Ваня был выпихнут на середину сарая.

— Выпей, выпей, — повторял Шемяка настойчиво, заглядывая ему в глаза.

Ваня слегка побледнел и сжал губы.

— Не хочу вашего вина, — сказал он вдруг негромко, но твердо.

— Нет? Гнушаешься? — ласково продолжал Шемяка. — Ну, все равно! Видишь девок? Выбирай какую хочешь себе на ночь! Я скажу, любая пойдет.

Девки хихикнули [?], а некоторые и оробели.

— Не надо мне и девок ваших, — как бы на что-то решившись, громче ответил Ваня.

— Да ты что, обалдел? — зашептал ему Афанасий Семенович, но притих от гневного жеста Шемяки. — И девок не хочешь? Так, так! — задумчиво повторял инженер. — Чем же мне тебя подарить? Деньгами разве? — он засунул пальцы в жилетный карман, нетерпеливо выбросил на пол несколько десятирублевых бумажек и наконец достал совсем новенькую, похрустывающую пятисотенную. — Вот, возьми. Избу новую поставишь, лошадь купишь. Не все в грязи-то жить, с хлеба на квас перебиваться. Или — ты человек молодой — в Москву поезжай, учиться, в люди выйдешь.

Среди мужиков пронесся завистливый ропот. Девки придвинулись ближе.

— И денег ваших не хочу! — просто крикнул уже совсем бледный Ваня. — Ничего, ничего, потому что вы — дьявол!

Толпа замерла. — Что? — удивился Шемяка, как-то странно под мигнув.

Ваня в отчаянии оглянулся. Сзади стоял, слегка согнувшись, Митя и держал руку за голенищем. Это его ободрило.

— Потому что вы дьявол, — повторил он медленно, словно не своим голосом.

И только в этот миг Мезенцов заметил, отчего так светло в сарае. Во все стропила, балки, прилолки были воткнуты церковные свечи — копеечные, пятикопеечные и толстые рублевые. Нагретый воск душистыми белыми слезами капал на грязный пол и спины крестьян. Видно было, что Афанасий Семенович не останавливался ни перед чем, чтобы угодить своему господину.

— А ведь верно! — вдруг крикнул Шемяка с просветлевшим лицом и ударил ладонью по столу. — Как это никто не догадался, ты один? Эй вы, паршивцы, отвечайте, — обратился он к толпе, — дьявол я или нет?

— Точно так, батюшка Павел Александрович, дьявол, — низко кланяясь, загудели мужики.

— А вы, бабы, как думаете?

— Дьявол, батюшка, как есть дьявол!

— Ну, а Афанасий Семенович, значит, Вельзевул?

— Он самый, родимый, сразу видать.

Афанасий Семенович озирался сконфуженно и отирал пот с лысины. Шемяка засунул руку в карман и вытащил горсть полтинников и рублей, среди которых темнели и золотые.

— Подбирай уголечки, — и он швырнул деньги в метнущуюся толпу.

Митя воспользовался общим смятением, подхватил под руку Ваню, дернул за полу Мезенцова, и все трое оказались на воздухе. Луна уже зашла за тучу, и звезды казались особенно крупными и неподвижными.

— Переночуем в поле, — предложил Митя, — теперь тепло.

— Где мы были? — словно спросонья спросил Ваня, проведя ладонью по лицу.

— Где? — передразнил Митя. — Знать, в аду. Ты, растяпа, думал, что ад с печами да с котлом на манер бани, а он вот какой.

И Мезенцов почувствовал, что ни за что в жизни не вернулся бы он сейчас в этот сарай.

— Странники, странники, подьте сюда, — послышался за ними задыхающийся шепот, и, обернувшись, они увидели чистенькую, но странно чем-то взволнованную старушку, похожую на просфирню.

— Куда еще, тетка? — сурово спросил Митя. — Некогда нам. — Ахти, Господи, — всплеснула руками старушка. — Человек погибает, можно сказать, а они кобенятся. Подьте, подьте.

И так убедителен был ее испуганный голос, что уже через минуту путники оказались в низенькой, душной, полной народа избе, куда еще доносились крики и топот Шемякина торжества. Здесь были только старики и старухи, седые, благообразные. Вдыхая и охая, они наклонялись к широкой лавке, стоявшей у дальней стены под образами. А на лавке, страшно выпятив волосатую грудь и закатив глаза, извивался худой, чернобородый, почти нагой мужчина. Во рту, его была пена, зубы скрежетали, ногти впивались в ладони, так что шла кровь. Шесть человек с трудом удерживали его в лежащем положении.

— Что это с ним? — разом спросили Митя и Мезенцов. Ваня все еще не мог отойти после разговора с Шемякой.

— Третий день этак мается, — зашептали вокруг.

— Да из-за чего?

— Кто ж его знает, сердешного. Кто говорит, Имя Господне похулил, кто что.

— Да вы расскажите по порядку.

— Расскажи им, дядя Анисим, они в святых местах бывали, много знают, — раздался голоса.

— Третий день эдак, — начал дядя Анисим, красивый, похожий на Серафима Саровского старик. Спервоначально огнем его прохватывало, инда дымился весь. На вторые сутки стал как лед, холодно трогать было, тряпками обворачивали. Полчаса руку над свечой держали, закоптела вся, а как стерли сажу-то, такая как была. А теперь червь неумный геенной точит его, боимся, как бы не отошел. Да вот, глядите сами, — воскликнул он, указывая на лежащего.

То, что увидел Мезенцов, и тогда и после казалась ему сном, так это было необычно и в то же время потрясающе реально. Толпа отхлынула от лавки, старухи — охая и причитая, старики — крестясь. Больной приподнялся и схватился обеими руками за сердце, лицо его стало зеленоватого цвета, как у мертвеца. Казалось, его поддерживает только неизмеримость его муки. А изо рта его, зажимая [разжимая?] стиснутые зубы, [ползло?][6] что-то отвратительное стального цвета в большой палец толщиной. На конце, как две бисеринки, светились маленькие глазки. На мгновение оно заколебалось, словно осматриваясь, потом медленно согнулось, и конец скрылся в уже несчастного.

— Рви, рви! — взвизгнул Митя и, схватив одной рукой червя, другой уперся в висок больного. Его мускулы натянулись под тонкой рубашкой, губы сжались от натуги, но червь волнообразными движениями продолжал двигаться в его руке, как будто она была из воздуха. Больной ревел нечеловеческим ревом, зубы его хрустели, но вдруг он со страшным усилием ударил Митю прямо под ложечку. Митя отскочил, ахнув. А червь высвободил хвост, причем он оказался слегка раздвоенным, и скрылся в ухе. Как заметил Мезенцов, он был немногим больше аршина.

— Видели, видели? — зашептали кругом старики. Митя с искаженным от боли и злобы лицом держался за живот.

— А вы причащать пробовали? — спросил бледный Ваня.

— Можно ли? — усомнился дядя Анисим. — Ведь его не отысповедуешь, кричит.

— А вы глухую! — предложил Ваня.

— Разве что так, — зашептали кругом. — Тетка Лукерья, ну-ка, сигани за попам.

— А вы до сих пор и попа не позвали? — с оттенком презрения над их темнотой спросил Ваня.

— Был попот, в первый день был! Говорит, лихманка у него, оттого и жар. Молебен, говорит, за здоровье отслужить можно бы, да придется подождать — все свечи, какие были, Павел Александрович, инженер наш, забрали. С тем и ушел.

— А шут с ними, — озлился Митя. — Свечи поотдавали, червя в человека впустили, а мы расхлебывай. Айда, ребята, в поле спать, а то и рассветет скоро.

Они вышли среди недовольного ропота толпы, по дороге своротили, чтобы не встретиться с попом, шедшим к больному — дурная примета — и, дойдя до канавы, растянулись вповалку. Уже потянуло холодком, восток светлел, издали слышалось густое мычанье, и засыпающий Мезенцов представил себе землю огромной ласковой коровой, а себя теленком, припадающим к ее плотным, теплым сосцам.

*

С каждым днем все ясней и ясней синели горы, покрывались темными пятнами лесов, перерезывались серебряными нитями потоков, и по утрам восточный ветер приносил чужие и веселые запахи Азии. Давно Мезенцов докурил все свои папиросы, потерял вконец истрепавшегося Ницше и сломал зубную щетку, но ему радостно было, подобно странствующему рыцарю, идти от чуда к чуду. Раскрыть секрет беленького старика — ведь это же задача достойная сэра Галаада и самого неистового Роланда. И вдруг пошел дождь.

Дождь в этой стране безмерностей, где бураны засыпают целые деревни, где грозы вытаптывают леса, как табун лужайку, подлинное стихийное бедствие. Стало холодно и душно, как в погребе. Трава, словно сделавшись ядовитой, приобрела нездоровый, яркий блеск. И вода зажурчала по колеям, унося жуков и бабочек, которых, нагибаясь [?], старался вылавливать Ваня, любивший всякую тварь. Митя поглядывал на тучи с видом Ноя, предчувствующего всемирный потоп,

— Надо прятаться, — объявил он, — через два часа будет не пройти, не проехать.

Невдалеке виднелась деревня.

— В нее не пойдём, — решил Митя. — что нам в избе делать, клопов кормить, что ли? Тут есть чайная, там по крайней мере сладенького выпьем, да граммофон слушаем.

Чайная стояла за деревней, на краю большой дороги. Была она низенькая и закопченная, но внутри чистая и пахнувшая особым приветливым и свежим запахом, так свойственным хорошо вымытым деревянным домам. Хозяин, степенный, бородатый мужик, заметив на Мезенцове остатки городского костюма, указал путникам на господскую половину, отделенную от черной только разорванной ситцевой занавеской. Но Ваня, увидав там диван и пару кресел, оробел и замялся у входа. Митя, заслыша в задней комнате женские голоса, конечно, направился туда, и Мезенцов один, с наслаждением растянувшись на диване, погрузился в ставшее для него теперь обычным занятие, которое с каждым днем он ценил все выше — лежать и ни о чем не думать. Ему нравилось открывать в этой области новые, как ему казалось, приемы и возможности. Смотреть на какую-нибудь вещь, случайно оказавшуюся перед глазами, и уверять себя, что она и есть самая драгоценная а мирозданий и что ради нее и только благодаря ей и существует все остальное. Вообразить, что он уже умер, распался на атомы и теперь цветист какой-нибудь араукарией в Мексике, стоит розовым облаком над Пекином, бродит белым медведем в Ледовитом Океане — и все это одновременно. На этот раз он принялся повторять Бог знает почему припомнившееся ему слово «мяч» и уже через несколько минут почувствовал, что этот мяч, сперва только отвлеченный, стал воплощаться с неистовой стремительностью. Вот он заслонил Митю и Ваню, чайную, всю Россию и на мгновение заколебался на земле, как злоеца ее опухоль. Но мгновение прошло, и уже земля стала его опухолью, а потом пригорком, песчинкой, пылинкой на его буйно растущей поверхности. Уже нет ни времени, ни пространства, ни вечности, ни бесконечности, а только один мяч и один закон его головокружительного возрастания, Когда Мезенцов очнулся от этого кошмара, уже смерклось, и хозяин, зажигая всяческую керосиновую лампу, бормотал под нос, как бы не обращаясь к Мезенцову: «Бог знает, что там на дороге, лошадь не лошадь, медведь не медведь. Ваши товарищи глядят, пошли бы и вы».

Мезенцов вышел на крытое крыльцо. Шел тот же свинцово-серый дождь, и дорога блестела, как широкая река. Все попряталось: собаки, куры, коровы, и в этом унылом запустении по дороге со стороны Урала медленно и неуклонно двигалась какая-то темная туша, действительно похожая на вставшего на дыбы медведя.

— Мужик, — сказал долгозоркий Митя. — Это Баня тут нивесть что придумал, а я сначала говорил, что мужик.

— Да, но какой, — оправдывался Ваня, — пожалуй, хуже иного прочего. Ты погляди, как он идет.

Мезенцов осознал справедливость этого замечания, когда путник поравнялся с чайной. Действительно, он с каждым шагом уходил выше колена в топкую грязь и с каждым шагом вырывал ногу словно молодое деревцо. и несмотря на это пел задорно, громко и невнятно — Мезенцов разобрал только фразу: «Ой, други, мои милые, кистеньком помахивая». Огромный рост и черная курчавая борода, закрывавшая до половины его грудь, делали его похожим на крылатых полулюдей полубыков Ассирии. Он не удостоил взглядом ни чайную, ни стоящую перед ней группу и уже прошел, когда Митя крикнул ему:

— Зайди, дядя, что тебе по грязи шлепать, посушись.

— А для ча? — повернулся тот, и Мезенцов увидел чрезмерно [?] светлые глаза, как у полководца в решительный час генерального сражения. — Что я, баба, чтобы дождя бояться?

— На бабу ты действительно не похож, — критически Оглядывал его, сказал Митя, — а так, зайдешь, расскажешь что.

— Некогда мне со всякой шущерой язык трепать, — последовал грубый ответ, и прохожий, увязнувший благодаря остановке почти по пояс, рванулся словно лошадь от каленого железа и действительно вырвался.

— Водки выпьешь. — крикнул ему вдогонку Митя, который не любил отказываться от своих прихотей.

— Ставишь?

— Ставлю,

— Четверть?

— Куда тебе, облопаешься.

— Не твоя печаль.

И прохожий, не обтерев ног, похожих от налипшей грязи на слоновьи, вошел в чайную[7].

Глава третья

— Куда мы, собственно, идем? — спросил однажды утром Мезенцов.

Митя подмигнул:

— Куда мы идем, мы знаем, а вот куда ваша милость идет — сие есть тайна великая.

Мезенцов вспыхнул и закусил губу.

— Иду я туда же, куда и вы, а почему, это вы, Митя, отлично знаете, а не знаете, то я объясню еще раз.

— Не ссорьтесь, — вступился лениво Ваня, без всякого подозрения, — право, не ссорьтесь, скучно.

Митя смирился:

— Ну, хорошо, расскажу на этот раз. Идем мы все трое в богатое и славное село Огуречное, вот что лежит промеж трех больших дорог, и не одна-то в него не заходит. А ждут нас там два франгуза.

— Как, два франгуза? — опешил Мезенцов.

— Они, правда, не франгузы, а дьячковы дети, Филострат и Евменид, сыновья Сладкопевцевы. чо это все одно, потому что они по французскому мастаки и идут сейчас из самого большого французского города По.

— Париж самый большой у них, — заметил Мезенцов.

— Нет, не Париж, что Париж, а По. Это я знаю доподлинно, мне старые люди сказывали.

— А далеко ли до Огуречного?

— Да версты три.

Он остановился и прислушался. В воздухе сквозь пронзительный звон пичуг и шорох ветра слышался легкий свист.

— Что это? — спросил Мезенцов.

— Идем, идем, — заторопился Ваня. — Да говорите поменьше, а то такое станется!

— Да что станется?

— Время-то какое, к полудню.

— Ну и что?

— А про беса полуденного не знаешь, кто ли? Эх ты... ученый.

— Нет, братцы, — сказал вдруг Митя, — я знаю что это такое. Это наши французы, — и он зашагал в чащу орешника [нрзб.] над обмелевшей речонкой.

Мезенцов и Ваня последовали за ним и, пройдя десяток-шагов, замерли в изумлении перед вытоптанной небольшой площадкой, полной объедками и тряпьем, как воронье гнездо. И посреди этой площадки, тоже напоминая чету ворон, сидели два долговязых человека в дырявых ботинках и лоснящихся от жира длиннопольных сюртуках. Их прыщавые, угреватые и безбородые лица казались совсем молодыми, и лишь скорбные, кроткие глаза выдавали, что им обоим уже за тридцать. Большая недоеденная кость, подозрительно похожая на лошадиную, лежала между ними. Это и были Филострат и Евменид, братья Сладкопевцевы.

— Что это вы так запрятались? — весело закричал им Митя. — В Огуречном надо было ждать.

— В Огуречном и ждали, — дружно ответили братья, — только там притеснять нас стали, вот мы сюда. и ушли.

— Да кто притеснял-то?

— Староста. Как мы, значит, работали с усердием, в нас и влюбилась дочка старосты, ну и мы в нее, конечно. Отец и пристаёт — женись. А как мы женимся оба сразу на одной? Так и ушли.

— Так что, она в вас обоих влюбилась, что ли?

— А как же иначе? Говорит, что ей Евменид нравится, только мы на это не согласны. мы двойня, у нас с детства все общее.

— Так как же вы любите? Как устраиваетесь?

Братья сокрушенно вздохнули.

— Да никак! Всякая наша любовь бывала несчастная, по этому самому. Оно конечно, какая-нибудь и с огласилась бы, только мы так не можем, мы только в законном браке. А иной раз, особенно после сна. тек хоть в петлю.

— Вам бы в Тибет поехать, — вмешался Мезенцов, — там полиандрия, одна женщина за многих выходит сразу.

— Ну? — обрадовались братья. — Нам бы хоть какую-нибудь, хоть черную, только чтоб вдвоем. А как туда проехать? — Через Индию можно или через Китай. — И сколько стоит дорога?

Мезенцов прикинул в уме цену второго класса на пароходе — он не представлял себе, чтобы можно было ехать в третьем.

— Тысячи по две на каждого.

— А пешком нельзя?

— Куда же? Через пустыню придется идти, сквозь разбойничьи народы.

— Это ничего! За своим счастьем и через ад пройдешь.

— Нечего вам зря языки трепать, — нетерпеливо оборвал их Митя, — вот еще тибетцы какие выискались. Подставляй лучше карманы, я вам деньги принес, триста рублей, рады небось, теперь месяц не протрезвитесь.

— Это так, на радостях кто не выпьет, нечистый один, — довольные ответили братья. — И бумаги вот, с ними отправитесь в Казань, к профессору Филимонову, а что ему скажете, это сами прочтете, я разобрал, да что-то мудрено для меня.

— Дай, дай, — и Филострат торопливо принялся разворачивать объемистый сверток, который Митя достал из своей котомки.

Евменид склонился над его плечом, полный самого живого интереса.

— Ну да, как мы и думали, чукотская грамматика с фонетикой и примерами — ну и забавники же, — и оба покатались со смеху, не выпуская однако из рук свертка.

— Вы лучше о Франции расскажите, а то нам идти надо будет, — не вытерпев, попросил Ваня.

— Да, да расскажите, — поддержал его Митя. — После начитаетесь, эка невидаль — писаная бумага.

Братья неохотно оторвались от работы.

— Да что Франция, — начал Филострат. — Стоит себе на месте, никто ее не унес. Народ там только очень дурашливый, своего языка не знают. Мы говорим им правильно, как в книжке написано, а они не понимают и такое лопочут, что не разберешь. Намаялись мы с ними.

— А вы хорошо говорите по-французски? — поинтересовался Мезенцов.

— Сертенемент ноус парлонс трес биен, — с обидой ответил Евменид.

Митя посмотрел на Мезенцова, видимо гордясь своими приятелями.

— Как же вы ехали? Ведь больших денег стоит дорога? — спросил Ваня. — Деньги были нам дадены, только мы на билеты их не гораздо тратили, вино уж там очень хорошо, а ехали больше зайцами. Подойдешь к кондуктору, скажешь ему, что, мол, русский, союзник, да бутылку из под полы покажешь, он и устроит либо в товарном, либо в служебном отделении, а потом и сам придет вина попить, да о России потолковать, почему, дескать, у нас царь, да как лошадь по-русски называется. Любят они это.

— Ну, а в Тарбе дело устроили? — перебил Митя.

— А зачем же мы и ехали? Прибыли мы это в Тарб, у французского мужика остановились, богатый мужик, ему велено было нас принять. А потом и братья подъехали, они в пиринейских горах живут, на манер как наши на Урале.

— О французских ты рассказывай, а о наших ни-ни, — предупредил Митя, покосившись на Мезенцова.

— Я что? Я ничего, — оробел Филострат, — я и совсем говорить не стану!

— Ну, ну! — крикнул Митя, и Филострат покорно открыл рот, ожидая вопросов.

— Какую же работу вы с ними делали? — спросил Мезенцов.

— Можно, — позволил Митя.

— Работу хорошую, — начал Филострат, — совсем хорошую работу. В давние времена за ихнего короля русская княгиня замуж вышла, Анна Ярославна. Так вот и понадобилось документики новые об ее царствовании составить, и что по-французски, так это они сами, а что по-русски — это мы.

— Вы что же, так хорошо историю знаете?

Филострат вздохнул.

— Где там. На медные деньги учены. Из головы больше. Язык тогдашний знаем, да и письмо. Старой бумаги сколько угодно. Да только мало кто ее знает. историю-то. Все ученые больше по таким документикам работают, как наши.

— Неужто все? — усомнился Мезенцов.

— Все! Был в Париже один переплетчик, с веселыми братьями переписывался, так он один сто слишком документов академии передал, деньги взял огромные да попался потом. Или Чаттертон в Англии? Замечательный мальчик был. Да тоже не повезло ему, напутал-напутал, с нашими поспорил и отравился. А иные нарочно попадают. Ганка чех, что Краледворскую рукопись сочинил, сам приписал в конце по-латински «Ганка fecit», или Псалманазар.

— А это кто? — спросил с жадным интересом Митя. — А это мне во Франции рассказали. Появился в Лондоне человек, немолодой уже, и говорит, что двадцать лет прожил посреди океана на острове Формозе среди тамошних диких племен. Говорит, что народ добрый и честный, только людоеды, потому что некрещеные. Миссионеров им надо. А это англичане любят. Сейчас деньги собрали, и начал этот самый, назвавшийся Псалманазаром, миссионеров формозскому языку учить. Учит-учит, все успехами их недоволен. Грамматику составил, словарь, трудный язык, ох трудный. Долго он это так забавлялся, а как умер, нашли у него завещание, что он и из Англии никуда не выезжал, а язык сам выдумал.

— Ловко, — захохотал Митя, — вот удружил.

— Сознаться не надо, — сентенциозно заметил Евменид, — а то пользы для дела не будет. — А есть такие, что не признаются? — спросил Мезенцов. — А как же. Я вам расскажу, потому что вы все равно не поверите. Возьмем к примеру «Слово о полку Игореве»: кто его сочинил, певец древний? Оно-то и правда, что певец, да только не древний, а Семен Салазкин, сын купеческий, что всего полтора года тому назад жил. Мальчиком он убежал из дому, да так и жил, под крышу не заходя, то на Волге бурлачил, то на Дону траву косил, а зимой в Сибири ел куницу да соболя. И все песни пел, такие все забавные да унылые [?], сам придумывал. Один барин хотел его даже в столицу везти, в Академию представить, едва он убежать мог. Встретили его братья. Зря говорят, болтаешься, к делу тебя приставить надо. Приставили к нему человека, чтобы ходил за ним, летописи старые ему читал, да что он сочиняет записывал. Через год «Слово» и готово. Длиннее оно должно было быть, да только Сенцо медведь задавил [?], на спор с одним топором пошел против зверя. Переписали наши-то уставом да и всучили через разных людей господину Бобрищеву-Пушкину, а там история известная.

Мезенцов задумался. Он сопоставил рассказ Филострата с разговором, который он слышал под окном, и вдруг ему стало ясно, что действительно существует тайное международное общество, поставившее себе целью скомпрометировать всю европейскую науку, последовательно вводя в нее неверные данные. Но для чего, он не решился спросить в присутствии Мити, очевидно игравшего в этом обществе особую роль. Между тем Филострат подтолкнул локтем Евменида.

— Откройся им, они ведь братья, что скрывать.

Евменид покраснел и потупился.

— Что такое? — настороженно спросил Митя — он всегда все замечал.

— Так, ничего... — начал Евменид.

Но Филострат решился.

— Не надо больше нашего общества, — торжественно объявил он, — и братьев можно распустить.

— Да вы что, ополоумели? — озирая то того, то другого, воскликнул Митя.

— Евменид Сладкопевцев доказал существование Бога, он величайший философ, — продолжал Филострат и остановился, наблюдая произведенное впечатление.

— Только-то, — с облегчением вздохнул Митя, — вот напугали! Ну, что там у тебя? — обратился он к Евмениду, комкавшему в руках какую-то бумажку. — Выкладывай, может быть и пригодится.

— Прочти, прочти, Евменид, — ободрил брата филострат. — Митя, он всегда зря зубы скалит, а другие поймут наверно. Да как и не понять, правда такая, что глаза режет.

— Это я уже тут на полянке составил, — извиняясь, произнес Евменид, — Брат птицу ловит на обед, а я картошку чищу да сочиняю. Как будто что и вышло: вот посудите сами.

И он начал:

— Не с того дня человек пошел, как говорить научился, а с того, как Бога в себе открыл. Потому что язык что? И птица по-своему щебечет, и муравей усиками все, что хочет, может объяснить товарищу. А вот как Бога познала тварь, так и родилась заново и стала уже твореньем. Зверю открыты три измерения пространства. Возьмите к примеру лошадь на узком мостике через канаву. Видит она, что канава глубокая, и боится, видит, что мостик узенький, ступает осторожно, а когда берег близко, идет скорее. Значит длину, глубину и ширину чувствует. А человеку открыта еще внутренина. Внутрь себя духовными очами проникать он может и тоже без конца, как по земным измерениям. Это и есть четвертое измерение, или лучше первое нового порядка, которое и есть Бог. И узнал тогда человек о новых существах, что одно другого диковиннее. Львы крылатые, сфинксы, колеса из глаз светящихся, всего и не перечесать. Где он их открыл, как не в себе самом, во внутренине своей божественной? И рисовал их, и лепил, и описывал, да так хорошо, как с живыми зверьми, что вокруг него ходят, не вышло бы. Только мало одного измерения, призраки от него рождаются, да и то маловероятные. Затосковал человек по истине непреложной, и явил ему Господь наш Иисус Христос второе измерение иного мира, которое есть любовь. То-то радость пошла по всей земле. С двумя-то измерениями куда способнее. И цветочки иначе запахли, и птицы запели по-новому, а человек стал на земле как добрый хозяин. Чудеса совершаться начали заместо появленья призраков. Только что чудеса, когда хочет душа незыблемого. Опять затосковал человек, и начал ему открываться Дух Святой, третье измерение, слово которого еще не сказано, и неведомо, какое оно будет. А как откроется, так и станет человек жить в новых трех измерениях, а о старых забудет, как о сне полуденном. И ничто из того, что его прежде томило и заботило, уже не затомит и не озаботит. Потому что это и есть истина. Вот как бы вступление, а дальше я подробно обо всем рассказываю.

И Евменид остановился, ожидая одобрения. Ванино лицо покраснелось от волнения, как лицо отрока в огненной печи. Мезенцов тщетно ломал голову, стараясь вспомнить источники, из которых выросла эта странная теория. Филострат захлебывался от благоговейного обожания перед братом.

— Много, поди, картошки перепортил, такую ерунду сочиняя? — воскликнул Митя и зевнул.

— Почему ерунду? — в один голос спросили оба брата и Ваня.

— А что, дело разве? Ну, пойдёмте, товарищи, не век же нам с длиннополыми сидеть.

— Нет, ты погоди, ты объясни сначала, а то обляял да ушел.

— Да чего объяснять-то? Вот вы на счете здесь все основываете, а не чувствуете, что счет — грех великий, сатанинские разделения. Как посмотришь на травку, на облачко, на девушку, да на самого себя, так и увидишь, что это все единое всегда было и всегда будет, потому что Бог засмеялся. А с вашим счетом до такого дойдешь, что лучше не говорить.

— А до чего, к примеру?

— Фу ты, ироды! И какой же дурак вас в общество взял, вам бы сапоги шить да в колокола звонить. Бога из цифр вывели, так за Богом еще что-нибудь выводить начнете. Цифрам-то конца нет. Вот вы все три да три. Так пожалуйста и три мира подавайте, земной, божеский и еще какой. Когда люди умнее были, так жгли за такие шулки. Ересь это, и злейшая.

— Выходит, что так, — убитым голосом простонал Евменид. — Что же теперь делать?

— Да вот, в Казань пойдете, выпьете по дороге, может влюбитесь опять. Много человеку дела и без выдумок разных. Потому голова зря наверху, она самое что ни на есть глупое в человеке.

— А сочинение порвать?

— Зачем рвать может пригодиться. Перепиши его как надо, да и выдай за чье-нибудь.

— И то, — обрадовался Евменид, — может, как паскалевскую рукопись, вновь найденную, пустить? Он же и математик. Другим слогом изложить, и пойдет.

— Нет, брат, — оживленно ответил Филострат, — это скорее Лактанцием пахнет, он такие размышления любил. Скажем, на Афоне нашли список.

— Ну, уж и там не знаю, кому, да и некогда мне, — объявил Митя. — Разбирайтесь сами. Идем, идем, товарищи, путь не малый. А вам спасибо, что повеселили.

[На этом обрывается гумилевская рукопись «Веселых братьев»]

Примечания

1 беседы (фр.)

2 владелица замка (фр.)

3 Аба-Данья — господин Даньи (имя лошади); абиссинцы в песнях определяют своих вождей, как хозяев принадлежащих им любимых лошадей.

4 Следующих за этим местом страниц до конца первой главы нет почему-то в рукописи. Часть текста, заключенная нами в квадратные скобки, переведена с английского перевода, Последний, однако, сделан весьма вольно, и потому о восстановлении, более или менее точном, гумилевского текста, нельзя было и думать. Русский текст дается здесь лишь для того, чтобы не нарушать связности повествования.

5 Здесь в рукописи Гумилева пропуск — очевидно для названия, долженствовавшего быть вставленным позднее.

6 Глагол пропущен в рукописи Гумилева.

7 На этом глава вторая как будто обрывается; возможно, что она не была дописана Гумилевым. Но возможно также, что место этому эпизоду, начиная со слов: «С каждым днем все ясней и ясней синели горы...», после третьей главы.